



СЕМЕН ЛАСКИН
ВОКРУГ
ДУЭЛИ



СЕМЕН ЛАСКИН

ВОКРУГ ДУЭЛИ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Санкт-Петербург
Отделение издательства «Просвещение»
1993

Ласкин С.
Л26 Вокруг дуэли: Документальная повесть.—
СПб: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1993.—
255 с.: ил.— ISBN 5-09-002221-6

Документальная повесть С. Ласкина «Вокруг дуэли» построена на основе новейших историко-архивных материалов, связанных с гибелью А. С. Пушкина.

Автор — писатель и драматург — лично изучил документы, хранящиеся в семейном архиве Дантесов (Париж), в архиве графини Э. К. Музиной-Пушкиной (Москва) и в архивах Санкт-Петербурга.

В ходе исследования выявилась особая, зловещая роль в этой трагедии семьи графа Григория Александровича Строганова, считавшегося опекуном и благодетелем вдовы Пушкина Натальи Николаевны.

Книга Семена Ласкина читается как литературный детектив. Она может быть адресована самому широкому кругу читателей, интересующихся отечественной литературой и культурой XIX столетия.

Л 4702010201—056 без объявл.
103(03)—93

ББК 84.Р7

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

...Когда я открываю пожелтевшие страницы своих дневников или отыскиваю тетради, на листах которых стоят архивные номера, а ниже — выписки из документов, то невольно думаю, что работа моя затянулась на годы и годы, многое личное переплелось в ней.

Сколько же лет назад я поразился первому факту? Двадцать? Двадцать пять? Пожалуй, не меньше.

Конечно, Пушкин был всегда, с раннего детства. Сначала, как у всех, в сказках. Пряли под окном три девицы, старик ловил неводом рыбу, жил поп — толконный лоб. Что касается «сваты бабы Бабарихи», то это было нечто особенное, вроде бабы Яги, один ряд.

И все же главным оставалось солнечное ощущение, шедшее от его стихов, «чистый цвет». Море, у которого жили старик со старухой, могло быть только ярко-синим, и из этой синевы выплывала золотая рыбка. Полутонов не было. Рисовать море можно было одним карандашом. Позднее, когда настоящее море встретило меня серой муťou, я все же сохранял для него синий карандаш собственного детства.

Были и другие встречи с Пушкиным, с его поэзией. Но особó запомнилось тоже давнее, студенческое, встреча с ним, с *живым*.

Необычайно нервный, с вибрирующим, высоким, словно бы ввинчивающимся в душу голосом, тот Пушкин мгновенно овладевал зрительным залом. Это было театральное событие, зрительский шок.

Первая секунда: не он!

Невысокое стремительное существо, мечущийся человек в камер-юнкерском мундире, рыжие бакенбарды, черные вьющиеся волосы, то хохочущий, то едва сдерживающий слезы, но всегда наступающий: реплика —

выпад, шаг — укол, ответ — удар, наотмашь, наповал, навсегда.

Он, он! И уже не отвлекают меня рыжие бакенбарды, все ладно и гармонично, все гениально в нем.

Через несколько лет я увидел в Москве, в музее портрет юного Пушкина, бесценный дар артисту Якуту от потрясенного зрителя.

Какую же благодарность должен был испытать человек, чтобы снять со стены семейную реликвию?! И отдать не в хранилище, не в мемориальную квартиру, а частному лицу, *артисту*. Это уже позднее от Якута — в музей.

Театральное оцепенение длилось и длилось. И в трамвае, и дома все еще звучал крик умирающего Пушкина:

— Выше!.. Выше!..

И измученное лицо вставало в глазах. И желание подняться — напряжение ослабевшей руки. И слезы Жуковского.

Как же у Цветаевой? «Этой пулей нас всех в живот ранило».

И все же многое в той дуэльной истории было неясным. Хотелось разобраться, связать несвязанное...

Да, оставалась поэзия, проза, драматургия, статьи, но рядом, как упрек, такая короткая жизнь — тридцать семь лет! Сколько планов не осуществилось! Несчастливая страна, бедный Пушкин!

В середине шестидесятых я попытался написать рассказ о последних днях Пушкина. Читал номера «Русского архива», выписывал в Публичной библиотеке редкие неперепечатывавшиеся книги...

Встречались необъяснимые факты. Вернее, объясненные неуверенно. Вопрос, поставленный чуть иначе, легко обнаруживал несостоятельность толкований.

Толчком к поиску, первым серьезным шагом оказались для меня страницы из непереведенной книги французского академика и писателя Анри Труайя «Пушкин».

В сороковые годы нынешнего столетия Труайя работал в архиве Дантесов, ему было позволено сделать выписки из нескольких писем ближайшего друга Жоржа, светской красавицы Идалии Полетики.

Но не только! Труайя получил разрешение опубликовать два неизвестных ранее письма Дантеса к Геккерну,

уехавшему в середине 1835-го из Петербурга в Париж почти на год.

Дантес признавался Геккерну в том, что не только полюбил некую (имя зашифровано!) замужнюю красавицу, но и попытался склонить ее к измене.

Публикация Труайя произвела впечатление разорвавшейся бомбы — внешне признаки «дамы» сходились с образом Натальи Николаевны.

И русская эмиграция, и отечественные пушкинисты с горечью констатировали этот факт.

«Пушкин стал ясен теперь,— писала Нина Берберова,— после опубликования геккерновского архива стало ясно наконец, что Наталья Николаевна не любила его, а любила Дантеса. На «пламени», «разделенном поневоле», Пушкин строил свою жизнь, не подозревая, что такой «пламень» не есть истинный пламень и что в его время уже не может быть верности только потому, что женщина кому-то «отдана».

Пушкин кончил свою жизнь из-за женщины, не понимая, что такое женщина! А уж он ли не знал ее! Так Татьяна Ларина жестоко отомстила ему!»

Более ста лет прошло со смерти Пушкина, а Н. Берберова восклицает: «...стало известно наконец». Отчего же «наконец»? Что было известно до письма Дантеса? Слухи, сплетни, рассуждения, разговоры, «шепот» светской толпы, а факты?.. Все ли так однозначно?

А вдруг не Н. Берберова окажется права, обвиняя Пушкина в непонимании женской души, а прав все-таки Пушкин в потрясающей, рыцарской уверенности в чистоте жены?!

Как хочется, чтобы правым оказался Пушкин!..

Случай, господин Случай привел в мой дом respectable господина, вице-президента крупной французской фирмы.

Господин, как выяснилось, мог все. Нет, он не сразу сообразил, кто же такой академик и писатель Анри Труайя, но, поняв, задумался.

— Труайя?! О, это очень трудно... Впрочем, у фирмы в парламенте есть друзья, кажется, они смогут... Вы напишите.

И я написал Труайя.

Я спрашивал, не сохранилось ли у него копии полных

писем Идалии Полетики, мне хотелось посмотреть тексты.

Вице-президент выполнил просьбу. Через месяц я получил от Труайя любезное письмо, он сожалел, что не может удовлетворить моей просьбы, сорок лет назад он возвратил все документы владельцам.

«Старый барон де Геккern,— писал Труайя,— с которым я имел дело, умер. Но жив его сын, молодой барон, он, вероятно, мог бы помочь».

В письме сообщался адрес Дантесов-Геккернов, что означало рекомендацию в семью.

Я написал письмо,— имя Труайя совершало чудо! — правнук Жоржа — Клод де Геккern д'Антес интересовался целью моих разысканий.

Как это ни странно, меня интересовала *любовь*, да, да, не дуэль, это было уже привычно для семьи Дантесов, а нечто иное: любовь Полетики и Жоржа, даже в отрывках из писем, опубликованных Труайя, как мне показалось, читалось не совсем обычное расположение этих людей друг к другу.

Клод ответил утвердительно. Да, письма, которые и поныне существовали в его архиве, бесспорно подтверждают любовь Полетики и Дантеса.

«Впрочем,— с французской широтой понимания вопроса утверждал Клод,— разве не могло быть, что мой прадед любил сразу трех женщин: Идалию Полетику, Екатерину Гончарову и Натали Пушкину? Если вы сомневаетесь в такой возможности настоящего мужчины, я очень этому удивлюсь».

В 1978 году из Парижа пришли фотокопии писем Идалии Полетики, адресованные Жоржу или Екатерине и Жоржу. В 1980 году я опубликовал начало моей версии в журнале «Вопросы литературы».

Я пытался доказать сомнительность имени Натальи Николаевны в двух (заново переведенных замечательной переводчицей Александрой Львовой Андрес) названных раньше письмах Жоржа Дантеса к Геккernу. Мне казалось, что имя Полетики больше подходит к известному тексту.

В многочисленной литературе о пушкинской дуэли действовали масштабные злодеи типа Николая I, шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа и посланника Луи Геккерна, я же выпускал на кровавую сцену микроскопиче-

кую фигурку — Идалию Полетику, жену кавалергардского офицера, незаконнорожденную дочь графа Г. А. Строганова, а значит, троюродную сестру Натальи Николаевны Пушкиной.

История могла показаться (да и показалась!) пустяком. Большинство не допускали, что светская шалость, а правильное светская подлость превратится в игру смерти.

В «Вопросах литературы» В. С. Непомнящий, редактировавший «„Дело“ Идалии Полетики», теперь ставшее главой этой повести, написал осторожное предупреждение, — приведу целиком его небольшой текст.

«Работ, прямо или косвенно затрагивающих тему «Дуэль и смерть Пушкина», существует — и продолжает появляться — такое количество, что они уже составляют особую отрасль пушкиноведения. Тема обросла таким количеством толкований, версий, догадок и предположений и при этом во многом остается столь непроясненной, что порой на первый план в читательском восприятии выходит не суть дела, а его детективно-сенсационная сторона, что, разумеется, плохо вяжется с подлинной глубиной и масштабом проблемы, с нашим отношением к гибели величайшего национального гения.

Отдавая себе отчет в указанном, мы все же решимся пополнить существующую литературу еще одной работой. Не становясь ни в апологетическую, ни в резко скептическую позицию по отношению к статье «„Дело“ Идалии Полетики», думаем, что, несмотря на безусловность ряда аргументов, а иногда их нехватку, сама гипотеза (сопровождаяемая новыми материалами) заслуживает внимания. Она указывает на малоизвестную и, вероятно, очень существенную сторону грязной светской интриги; она побуждает усомниться в бесспорности ставшего традиционным толкования роли Н. Н. Пушкиной (а эта роль — момент чрезвычайно важный для уяснения как фактического, так и нравственного содержания трагедии); она, наконец, дает теме то новое, непривычное освещение, которое играет в науке творческую, стимулирующую роль и тем самым способствует ее дальнейшему движению».

К сожалению, в работе я допустил неточности, о чем буду подробно говорить дальше, это позволило моим оппонентам поставить под сомнение версию, оборвать нить, которой предстояло еще тянуться и тянуться.

Фактически главой об Идалии Полетике мной был сделан только первый шаг. Действия дочери (хотя и незаконнорожденной) Строгановых заставляли меня искать объяснений вроде бы не совсем логичных поступков ее отца графа Григория Александровича, матери Юлии Павловны, сводного брата Александра Григорьевича...

И все же помимо возражений я получил и немало доброжелательных отзывов и писем. Наиболее дорогими оказались отклики правнука Пушкина Георгия Михайловича Воронцова-Вельяминова и его дочери Анны Тури.

Письмо Георгия Михайловича было адресовано моим друзьям. Он писал: «Статью Ласкина я знаю, и она, конечно, представляет собой большой интерес. Обязательно напишем ему вместе с Аней, когда она будет в Париже. У него много метких наблюдений, и я знаю, что статья вызвала среди пушкинистов много споров».

Анна Георгиевна Тури написала непосредственно мне: «По-моему, приведенные Вами доводы о роли Полетики в дуэли Пушкина очень убедительны. Вашу работу я прочла с большим интересом...»

Вынужден признать, что ошибки, допущенные в историческом исследовании (а это касается и главы о Полетике, и главы о князе А. В. Трубецком), оказались результатом не только моей увлеченности, но и неспособности к холодному рассуждению на первых этапах работы. Критика остудила мой пыл и... явную самоуверенность. Лишь спустя долгое время я смог найти, как мне кажется, более основательные аргументы для своих утверждений.

Переписка с Клодом де Геккерном не прекращалась все эти годы.

В одном из писем Клод сообщал об имеющемся архиве, перечислял документы, которые хранятся в семье полтора столетия.

Назывались письма Натальи Ивановны Гончаровой, письма братьев Дмитрия и Ивана, письма Александрины и, главное, письмо Натальи Николаевны Пушкиной, что, как мне показалось, представляло особый интерес.

Кстати, уже само по себе сообщение Дантеса о существовании письма Натальи Николаевны в семейном архиве было сенсацией,— среди пушкинистов бытовало

мнение (и это ставилось в особую заслугу жене Пушкина!) о ее полном разрыве со старшей сестрой. И вдруг такой факт!

Во многих письмах я умолял Клода прислать текст, однако его ответы постоянно носили характер светского вежливого отказа.

Впрочем, он никогда не говорил «нет», скорее будто бы не прочитывал моих вопросов, спрашивал о некоей Лили Ласкиной, моей однофамилице и французской органистке, о перспективах в политике после смерти «старика» Брежнева, рассказывал о дочери, названной в честь «пратетушки Натали», о собственных переводах «из Пушкина», о сыне Акселе, но только не о том, чего я от него ожидал.

Становилось ясно: получить письмо никогда не удастся.

Моя печальная уверенность подкреплалась еще одной неудачей. В Париж, для чтения лекций, выехал московский профессор-физик Владимир Михайлович Фридкин, известный своими статьями по русской культуре, не раз публиковавшимися и «Новым миром», и «Наукой и жизнью», а теперь уже собранными в книгу: «Пропавший дневник Пушкина». В этот раз рекомендателем в семью Дантесов оказался я.

Из поездки Фридкин вернулся обескураженным. Результат от состоявшейся встречи был даже не нулевым, а скорее отрицательным. Впрочем, лучше об этом расскажет сам В. Фридкин:

«...Я еще раз представился (Клоду.— *С. Л.*) и объяснил, что, будучи физиком, интересуюсь историей семьи как пушкинист. Мне известно из литературы, что в семье сохранился большой архив, в котором есть подлинное письмо Пушкина (речь, вероятно, о дуэльном письме.— *С. Л.*), письмо к Екатерине Николаевне Гончаровой и, возможно, другие интересные документы. Не мог бы мсье Клод хотя бы рассказать о них?

— К сожалению, должен Вас огорчить. Никаких бумаг у меня не осталось. Жена моего покойного брата Марка выбросила целый ящик со старыми документами и письмами, их больше не существует.

— Как, ни письма Пушкина, ни писем из России, ни, наконец, семейных портретов и фотографий, ничего этого не осталось?!

Я оторопело смотрел на Клода...»

Разговор профессора-физика и Дантеса на том не

закончился, чуть дальше Владимир Михайлович снова попытался вернуться к желаемым документам.

«— Но писатель Ласкин, ваш корреспондент, писал, что часть архива у вас сохранилась. Из своего собрания Вы прислали ему копии пяти писем Идалии Полетики к супругам Дантесам и фотографию работы известного русского художника Петра Соколова.

— Да, это была красивая женщина.— Клод явно уходил от ответа».

Должен признаться, что после встречи Фридкина я получил из Парижа упрек — Клод просил не давать больше его координат. Вопрос был исчерпан.

И опять господин Случай предоставлял новый шанс на удачу! Я ехал во Францию, в Париж! Перечеркнутое и словно бы несуществующее вспыхнуло с удвоенной силой, я понимал: нужно встретиться с Клодом!

В аэропорт «Шарль де Голль» мы прилетели ночью, пронеслись сквозь заснувший Париж в Фонтенбло, а следующим вечером я после одиннадцати позвонил Клоду, нарушив негласные правила добропорядочных французов рано ложиться спать.

Я все еще жил ленинградским полуночным ритмом.

Супруга Клода с вежливым интересом расспросила о моем приезде, выяснила, где я остановлюсь в столице, и обрадованно заверила:

— «Принцесса Каролина», это совсем рядом! Клод непременно найдет вас!

Не стану перегружать рассказ подробностями собственных опасений,— портье при вселении передал мне карточку: господин Клод де Геккерн обещал быть в «Каролине» завтра в восемь утра.

Чуть свет я уже расхаживал по улице. «Каролина» размещалась в ста метрах от Триумфальной арки, в центре Парижа. Мимо меня на роликах мчались школьники, спешили цветочницы на Елисейские поля,— город проснулся.

Рядом остановился старенький лимузин, распахнулась дверца, и оттуда, слегка пригнувшись, вышел высокий элегантный мужчина, седой, с короткой стрижкой и будто знакомый по многим давним портретам. Мужчина держал под мышкой зеленую папку.

«Он!» — понял я, мгновенно узнав сходные черты с печально известным прашуром.

Приехавший осмотрелся, шагнул ко мне:

— Мсье Симон?

— Мсье Клод! — на чистом французском ответил я, сразу исчерпав весь свой лингвистический запас.

В ресторанчике нас ждала переводчица. Что-то неправдоподобное чудилось в этой встрече: «Пушкин», «Натали», «Жорж», — время будто бы потекло вспять.

Я неотрывно глядел на зеленую папку. Что там?

Клод наконец распахнул альбом.

Страницы альбома были составлены из парных целлофановых пластин, между которыми легко просматривались пожелтевшие за полтора столетия письма.

Почерки менялись. Французские тексты чередовались русскими.

— Наталья Ивановна, Александрина, Иван, Дмитрий...

И наконец, полудетский почерк! Раньше я никогда не встречал руки Натали.

Исчез гарсон, только что подливавший кофе, пропали голоса сидевших рядом, — как я был далек от всего сиюминутного, будничного.

Текст оказался на русском, и я мгновенно прочитал первое:

«Мы точно очень очень виноваты перед тобой, душа моя...»

Кольнуло, заставило похолодеть это «душа моя». Чему я радуюсь?! Зачем мы стремимся к правде?! Что кроме новых сплетен может принести такой пустяк?! Окончательно затоптать Натали, еще основательнее подтвердить близорукость Пушкина, непонимание женской души, — права, выходит, Берберова?!

Видимо, я побледнел. Мираж таял. Клод что-то говорил, переводчица кивала и улыбалась. Оказалось, Клод вечером обещал заехать за мной. Значит, я еще раз смогу рассмотреть письмо Пушкиной...

Теперь меня сопровождала Ирэна Менье, Ирина Владимировна Менье, приятельница Клода, жена известного пушкиниста Андре Менье, умершего несколько лет назад.

Ирина Владимировна была эмигранткой «первой волны», прекрасно писала по-русски, но в разговоре чувствовала себя неуверенно, а иногда и беспомощно.

Не могу не упомянуть о своем удивлении библиоте-

кой Менье — мы ненадолго заезжали к ней, — прижизненные издания Пушкина, полный «Современник», уникальные книги прошлого века — все это стояло здесь, в парижской квартире.

Кстати, Ирина Владимировна не оставила любимого дела мужа; она работала в группе Ефима Григорьевича Эткинда, готовили первое на французском полное собрание сочинений поэта.

После любезных церемоний я пересел за отдельный стол, и Клод снова положил желанную папку. Я вооружился лупой, но... даже русский, слегка выцветший текст целиком не давался. Я не мог с ходу прочитать некоторых слов почти в каждой фразе. Смысл письма искажался. Сказывалось волнение, ограниченность времени, в моем распоряжении все-таки были минуты...

— Не огорчайтесь, — утешала Менье. — Все равно вам потребуется фотокопия. Клод обещает выслать...

Прошло еще месяца полтора, и пухлое письмо из Парижа поступило на мой адрес.

Я разрезал конверт и с долгим удивлением разглядывал почерк — в моих руках было... письмо Александрины. Тех страничек, написанных Натальей Николаевной, в письме не оказалось.

Я был потрясен: Что это — оплошность или умысел?!

Нет, и это событие оказалось игрой Случая.

Новое письмо, пришедшее через неделю, дышало самоиронией, листочки Натали, как выяснилось, остались случайно неотправленными, лежали еще неделю в газетах на письменном столе Клода. Я чувствовал себя счастливым!

Письмо было датировано 3 октября 1838 года, кончались два года траура по Пушкину, время, достаточное для осознания прошлого.

Теперь я прочитал письмо с ходу, без особых трудностей; дома, как известно, помогают и стены.¹

Конечно, я не сразу оценил до конца значение полученного документа и скорее почувствовал, чем понял удивительную важность и немалый смысл присланных строк. Письмо собственным подтекстом было обращено к Пушкину, к его памяти.

Мне предстоял новый этап, — в книге И. Ободовской

¹ В тексте письма Натали Николаевны, как и в других документах, публикуемых впервые, сохранена старая орфография. — С. Л.

и М. Дементьева «После смерти Пушкина» были опубликованы несколько писем Екатерины, найденных в архиве Гончаровых. Отсутствие ответа Натальи Николаевны не давало авторам понять многое в отношениях сестер.

Начав несколько лет назад с Идалии Полетики, я чувствовал, что история не завершена, открывались «странности» в семействе Строгановых...

Глава первая

СТРОГАНОВЫ И ПУШКИН

Бытует давно сложившееся представление об отношении Григория Александровича Строганова к Пушкину. Как правило, упоминая графа, тут же говорят о его добровольном щедром участии в похоронах поэта, а затем и многолетней помощи вдове и детям Пушкина.

И действительно, Строганов, будучи всего лишь двоюродным дядей Натальи Николаевны, не только сразу же после гибели Пушкина возглавил дела Опекы, но и принял на себя все расходы по похоронам, поразив общество небывалым размахом.

Да что общество! Больше всего была удивлена тайная полиция,— столь грандиозные и шумные приготовления показались Бенкендорфу настолько подозрительными и скрывающими опасность, что В. А. Жуковскому и П. А. Вяземскому пришлось давать подробные письменные объяснения, фактически оправдываться перед властями.

Еще менее ясно отношение к Пушкину жены графа, Юлии Павловны Строгановой, португальской графини. Это она, Юлия Павловна, почти неотлучно дежурила в квартире умирающего поэта и, казалось бы, искренне разделяла общее горе.

Впрочем, некоторые факты заставляют не торопиться с окончательными выводами.

Что касается детей графа Григория Александровича Строганова, его сына Александра Григорьевича, бывшего товарища министра внутренних дел, а затем генерал-губернатора Харькова и Новороссийска, почетного гражданина Одессы, а также дочери Идалии Григорьевны Полетики, то здесь ответ однозначный: это лютые, непримиримые враги Пушкина, их едва ли не патологи-

ческая ненависть к поэту прослеживается в течение более пятидесяти лет после его смерти, всю долгую жизнь этих людей.

И все же вернемся к общественному мнению, к оценкам Строгановых, возникшим после того трагического января 1837 года.

«Пушкин считал старика Строганова своим другом,— словно бы обобщал некий Н. М. Колмаков в 1891 году в «Русском архиве» существующие мнения,— каковым граф себя и считал и на деле выказал впоследствии, когда Пушкин умер. Известно, что граф Григорий был опекуном над детьми поэта и его имуществом. Через его ходатайство семья Пушкиных получила 150 тысяч рублей серебром от Государя».

И еще более позднее свидетельство — 1908 год! — П. А. Бартенева, редактора «Русского архива»: «Граф Строганов взял на себя хлопоты по похоронам и уломал престарелого митрополита Серафима, воспротивившего церковные похороны самоубийцы» (дуэлянт по церковному канону считался самоубийцей, что исключало христианский обряд захоронения).

Но среди прочих свидетельств особенно важны письма Василия Андреевича Жуковского и Петра Андреевича Вяземского, написанные А. Х. Бенкендорфу в те трагические дни — это был их отчет на запрос полиции.

Подробный рассказ друзей Пушкина, скрупулезное растолковывание сложившейся ситуации достаточно выразительно говорят о полной растерянности властей, об их непонимании происходящего, вызванном отсутствием достоверной информации. И Жуковский, и Вяземский не только разъясняют события, но и опротестовывают нелепейшую активность жандармерии.

«Начавши с ложной идеи, необходимо дойдешь и до заключений ложных; они произведут и ложные меры,— писал В. А. Жуковский (привожу текст второй редакции) Бенкендорфу.— Так здесь и случилось. [Первая ложная идея [уже отвергнутая мной выше] была та]. Основываясь на ложной идее [опровергнутой выше], что Пушкин, глава демагогической партии, [и первое ложное следствие этой идеи было то, что и друзья его принадлежат к той же демагогической партии], произвели друзей его в демагоги. Друзья не отходили от его постели, и в то же время разные толки бродили по городу и по улицам [толки, не имеющие между собою связи]. Из этого сделали заговор, увидели какую-то

тайную нить, связывающую эти толки, ничем не связанную, и эту нить дали в руки друзьям его. Под влиянием этого непостижимого предубеждения все, самое простое и обыкновенное, представлялось в каком-то таинственном и враждебном свете. Граф Строганов, которого уже нельзя обвинить ни в легкомыслии, ни в демагогии, как родственник, *взял на себя все издержки похорон Пушкина; он призвал своего поверенного человека и ему поручил все устроить.*¹ И оттого именно, что граф Строганов взял на себя все издержки похорон, произошло то, что они произведены были самым блистательным образом, *согласно с благородным характером графа.* Он приглашал архиерея, и как скоро тот отказался от совершения обряда, пригласил трех архимандритов. Он назначил для отпевания Исаакиевский собор, и причина назначения была самая простая, ему сказали, что дом Пушкина принадлежал к приходу Исаакиевского собора; следовательно, иной церкви назначить было не можно; о Конюшенной же церкви было нельзя и подумать, она придворная. На отпевание в ней надлежало получить особое позволение, в коем и нужды не было, ибо имели в виду приходскую церковь... Вдруг полиция [узнает, что] *догадывается*, что должен существовать [т. существовал] *заговор*, что министр Геккерн, что жена Пушкина в опасности, что во время перевоза тела в Исаакиевскую церковь лошадей отпрягут и гроб понесут на руках, что в церкви будут депутаты от купечества, от Университета, что над гробом будут говорены речи (обо всем этом узнал я уже после [из разных слухов] по слухам). Что же надлежало бы сделать полиции, если бы и действительно она могла предвидеть что-нибудь подобное? Взять с большею бдительностью те же предосторожности, какие наблюдаются при всяком обыкновенном погребении, а не признаваться перед целым обществом, что [что против правительства есть заговор] правительство боится заговора, не оскорблять своими нелепыми обвинениями людей, не заслуживающих и подозрения, одним словом, не производить самой [беспорядка] того волнения, которое она предупредить хотела неуместными своими мерами. Вместо того назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, *с какою-то тайною*, всех поразившею, без факелов, почти без проводников;

¹ Здесь и дальше курсив мой.— С. Л.

и в минуту выноса, на которую собрались *не более десяти ближайших друзей Пушкина*, жандармы наводнили горницу, где молились об умершем, *нас оцепили*, и мы, так сказать, под стражей [отнесли] проводили тело до церкви.

Какое намерение могли в нас предполагать? Чего могли от нас бояться? Этого [ни] я [никто] изъяснить не берусь. И признаться, будучи наполнен главным своим чувством, печалью о конце Пушкина, я в минуту выноса и не заметил того, что вокруг нас происходило; уже после это пришло мне в голову и жестоко меня обидело».

Не стану пока останавливаться на выделенных мною словах в письме Жуковского, ко всему этому придется вернуться, а пока продолжу цитирование других писем, касающихся того же печального события, но теперь написанных не менее авторитетным свидетелем князем П. А. Вяземским.

«...После смерти Пушкина нашли только триста рублей денег во всем доме. Старый граф Строганов, родственник госпожи Пушкиной, *поспешил объявить*, что он берет на себя все издержки по похоронам. Он призвал своего управляющего и поручил ему все устроить и расплатиться. Он хотел, чтобы похороны были *насколько возможно торжественнее*, так как он их устраивал *на свой счет* <...>. Могли ли мы вмешиваться в распоряжение графа Строганова?»

В черновике того же письма есть разночтения.

«Если в намерении графа было *придать погребению некоторую внешность*, то очень естественно, что, приняв на себя издержки, *он хотел быть щедрым, даже расточительным*».

Как и Жуковский, поражается Вяземский действию жандармерии:

«Приказали перенести тело ночью без факелов и поставить в Конюшенной церкви. Объявили, что мера эта была принята в видах обеспечения общественной безопасности, так как толпа будто бы намеревалась разбить оконные стекла в домах вдовы и Геккерн. Друзей покойного вперед уже заподозрили самым оскорбительным образом; осмелились, со всей подлостью, на которую были способны, приписать им намерение учинить скандал, навязали им чувства, враждебные властям, утверждая, что не друга, не поэта оплакивали они, а политического деятеля... В доме, где собралось чело-

век десять друзей и близких Пушкина, чтобы отдать ему последний долг, в маленькой гостиной, где мы находились все, *очутился целый корпус жандармов*. Без преувеличения можно сказать, что у гроба собрались в большем количестве *не друзья, а жандармы!*»

И в черновике: «...против кого была эта военная сила, наполнившая собою дом покойника?.. Против кого эти переодетые, но всеми узнанные шпионы?..»

Оставим временно Бенкендорфа и вернемся к действиям Строганова.

Итак, если Жуковский говорит о графе, объявляющем, «согласно своему благородному характеру», о желании взять все «издержки (и немалые!— С. Л.) похорон» на себя, для чего призывает «доверенного человека» и ему поручает провести акцию как можно пышнее, в Исаакиевской церкви с архимандритом, а когда не вышло из-за формальностей и отказа высшего священнослужителя, в Конюшенной церкви с тремя архиереями, то князь П. А. Вяземский, пожалуй, более подчеркивает свое собственное удивление, говоря, что Строганов «поспешил объявить» о принятии на себя расходов и провел похороны «насколько возможно торжественнее», придав «погребению некоторую внешность», поразив всех «расточительностью».

Ни Жуковский, ни Вяземский не усомнились в искренности графа, по их мнению, его действия проще всего объяснить *причудами богача*. Авторы писем и к царю и к Бенкендорфу даже подчеркивают, что с их стороны было бы бестактно и невозможно вмешиваться в желание (им-то понятное!) Строганова.

И все же, как говорится, причуды причудами, но попробуем посмотреть, могли ли возникнуть у Строганова другие побудительные причины к действиям, скажем, родственная любовь к Пушкину или давнее почитание его удивительного таланта.

Что касается родства с Натальей Николаевной (двоюродный дядя и, соответственно, двоюродная племянница), то у Гончаровых была более близкая и тоже богатая родственница Екатерина Ивановна Загряжская, не просто родная и бездетная тетка Натали, но как бы ее вторая мать, называвшая племянницу «дочерью своего сердца». Трудно сомневаться, что при необходимости тетка не приняла бы участия в похоронах, отношении ее к Пушкину известно.

Нет, ни о каких родственных чувствах или об особом

преклонении перед талантом поэта со стороны Строгановых нам неизвестно.

Итак, с одной стороны, *поспешное* объявление о похоронах «на свой счет», вызывающая, широко обсуждаемая в обществе, расточительность в пользу семьи погибшего личным другом Николая Павловича и Александры Федоровны, обер-шенком двора графом Г. А. Строгановым, с другой — ожидание жандармерией антиправительственных эксцессов во время отпевания, возможные акции против дипломата Геккерна, существование некоего «заговора», захоронение тела покойного вне Петербурга. Главное же, готовность полиции к санкциям, к подавлению бунта.

Дела вроде бы несовместные, совершенно различные, однако нельзя ли и между ними поискать невидимую, по крайней мере Жуковскому и Вяземскому, некую связь?

Вспомним некоторые события, происходившие в те дни.

Пушкин посылает Дантесу вызов.

30 января Геккерн отправляет подробное письмо о произошедших трагических событиях своему министру.

«Мы в семье наслаждались полным счастьем, мы жили обласканные любовью и уважением всего общества, которое наперерыв старалось осыпать нас многочисленными тому доказательствами... — пишет он. — Не знаю, чему следует приписать нижеследующее обстоятельство: необъяснимой ли ко всему свету вообще и ко мне в частности зависти или какому-то другому неведомому побуждению, — но только в прошлый вторник (сегодня у нас суббота), в ту минуту, когда мы собирались на обед к графу Строганову, без всякой видимой причины, я получаю письмо от господина Пушкина. Мое перо отказывается воспроизвести все оскорбления, которыми наполнено было это подлое письмо <...>.

Что же мне оставалось делать? Вызвать его самому? Но, во-первых, общественное звание, которым королю было угодно меня облечь, препятствовало этому, кроме того, тем дело не кончилось бы. Если бы я остался победителем, то обесчестил бы своего сына; недоброжелатели всюду бы говорили, что я сам вызвался, так как уже сам улаживал подобное дело, в котором сын обнаружил недостаток храбрости, а если бы я пал жертвой, то его жена осталась бы без поддержки, так как мой сын неми-

нуемо выступил бы мстителем. *Однако, я не хотел опереться только на мое личное мнение и посоветовался с графом Строгановым, моим другом.* Так как он согласился со мною, то я показал письмо сыну, и вызов господину Пушкину был послан».

Имеется еще более выразительный рассказ Данзаса (цитирую по Щеголеву): «Говорят, что, получив это письмо, Геккерн бросился за советом к графу Строганову и что граф, прочитав письмо, *дал совет Геккерну*, чтобы его сын, барон Дантес, *вызвал Пушкина* на дуэль, так как после подобной обиды, по мнению графа, дуэль была единственным исходом».

Легко представить возможную последовательность событий.

25 января вечером или 26 января утром Пушкин пишет письмо Геккерну.

Днем Геккерн читает оскорбляющее его честь послание, явно провоцирующее поединок, спешит «посоветоваться» со своим другом графом Строгановым.

Решение — драться.

Вечером вызов направляется Пушкину.

Других советчиков у Геккерна, вероятно, не могло и быть — оскорбление касалось дипломата и его «семьи».

Понимал ли Строганов, чем грозит дипломату Геккерну дуэль его «сына» с Пушкиным? Я, естественно, говорю не только о возможном убийстве одного из дуэлянтов, но и о дальнейших административных мерах со стороны правительства? Несомненно. Строганов сам был долгое время послом в Испании и имел личный дипломатический опыт.

Не могу не согласиться с теми, кто считает, что бесчестье, которое пало бы на отказавшегося от дуэли Дантеса, означало бы его «моральную смерть» в обществе. Допускаю, что Строганов в сложившейся ситуации рассуждал именно так.

Конечно, у него оставался еще путь, которым он воспользуется после убийства Пушкина, — попросить помощи у Бенкендорфа.

Любая просочившаяся информация в жандармерию, бесспорно, заставила бы активизироваться противодействующие силы. Сорванная дуэль, даже высылка Пушкина из Петербурга, как и Дантеса, могли изменить многое.

Впрочем, я уже вижу скептический взгляд критика:

Строганов так действовать не захотел, возможно, ему мешало данное Геккерну слово.

Трагическая развязка произошла на следующий день, 27 января.

В цитированном выше письме Геккерна от 30 января министру Верстолку есть и подробности о первых часах после произошедшей дуэли:

«...если что-нибудь может облегчить мое горе, то только знаки внимания и сочувствия, которые я получаю от всего петербургского общества. В самый день катастрофы граф и графиня Нессельроде, так же, как граф и графиня Строгановы, оставили мой дом только в час пополудни».

Итак, сочувствие Геккернам в день катастрофы, не только обсуждение с Геккерном произошедшего события, но и полная поддержка (вместе с Нессельроде) этого «семейства», а на следующий день резкая смена поведения, «поспешное» объявление 29 января о «насколько возможно» более пышных похоронах «на свой счет», широта графа, вызвавшая такое удивление в кругу пушкинских друзей, что в конечном итоге и послужило Строганову бесценной индульгенцией на полтора века, не исключая и нашего времени.

И все же не является ли характеристика, данная графу, как своему ближайшему «другу», неким субъективным преувеличением со стороны Луи Геккерна?

Давно известен поразительный документ — письмо Григория Александровича Строганова Геккерну, оно не оставляет сомнений в истинных симпатиях графа.

«Я только что вернулся домой и нашел у себя на письменном столе старинный бокал и при нем любезную записку. Первый, несмотря на свою хрупкость, пережил века и стал памятником, соблазнительным лишь для антиквария, а вторая, носящая отпечаток современности, *побуждает недавние воспоминания и укрепляет будущие симпатии*. С этой точки зрения и тот и другая для меня очаровательны, драгоценны, и я испытываю, барон, потребность принести Вам мою благодарность. Когда Ваш сын Жорж узнает, что этот бокал находится у меня, скажите ему, что дядя его Строганов хранит его как память о благородном и лояльном поведении, которым отмечены последние месяцы его пребывания в России. Если наказанный преступник является примером

для толпы, то *невинно осужденный*, без нужды на восстановление имени, имеет право на сочувствие всех честных людей.

Примите, прошу Вас, уверения в моей искренней привязанности и совершенном моем уважении.

Строганов.

Среда, утром».

Первая среда после дуэли была 3 февраля, могли быть и другие среды — Дантес на гауптвахте оставался до 19 марта.

Ясно одно, теперь «дядя» сочувствует убийце, называет его поведение в «последние месяцы пребывания в России» «благородным и лояльным», а решение суда несправедливым. Сомнений нет, Строганов во всем видит вину одного Пушкина, который, кстати, как муж двоюродной племянницы, находится со Строгановыми в таких же родственных связях.

И это пишется в те же дни, когда по Петербургу ходят по рукам стихи Лермонтова с беспощадным отношением и к Дантесу и ко всей дворцовой камарилье.

Сколько раз я ни перечитываю письмо Строганова — оно меня потрясает.

Какие же «недавние воспоминания» побуждают графа Григория Александровича к «укреплению будущих симпатий»?

Известно не очень-то много. Из недавнего, это участие семьи Строгановых в свадьбе Дантеса и Екатерины Гончаровой:

«10/22 января брак был совершен в обеих церквях в присутствии всей семьи. Граф Григорий Строганов с супругой, родные дядя и тетка молодой девушки, были посаженными отцом и матерью, а с моей стороны графиня Нессельроде была посаженной матерью, а князь и княгиня Бутера свидетелями». Это из того же письма Геккерн Верстолку.

Имеется выписка из метрической книги о бракосочетающихся молодых Геккернах. Среди свидетелей назван «действительный тайный советник граф Григорий Строганов».

Подробная запись сделана и в метрической книге Исаакиевского собора за 1837 год: поручителями со стороны жениха записаны его друзья ротмистр Бетанкур и виконт д'Аршиак, со стороны невесты — граф

Строганов, полковник А. М. Полетика, Иван Гончаров и барон Геккерн.

Венчание происходило в двух церквях: православной и католической. Выходит, свадьба, тянувшаяся весь день, сопровождалась семейством Строгановых — самим графом Григорием Александровичем, его супругой Юлией Павловной, а также их дочерью Идалией Григорьевной Полетикой и ее мужем штаб-ротмистром Александром Михайловичем Полетикой.

Как же объяснить столь близкую дружбу с Геккерном, благословение на дуэль Дантесу и... одновременно тысячные затраты на похороны Пушкина, приобщение к сонму сочувствующих, почти неотлучное дежурство Юлии Павловны в доме умирающего поэта, а позднее — добровольное опекуновство? Что это, внезапно вспыхнувшая любовь к двоюродной племяннице? Порыв, запоздалое проявление родственного чувства? Осознание своей предыдущей неправоты?

Нет, не получается ни порыв, ни осознание. Да и племянница все дальнейшие годы остро чувствовала холодную неискренность графа.

Напомню событие, произошедшее в трагические дни, записанное Жуковским в его конспективных дневниках и письмах.

«Разбор сделан. Расположение. Протестую. *Донос на меня.* Что буду делать с ним. Что же оказалось мое положение. Его смерть. Слухи — студенты мещане купцы речи. Граф Строганов...»

Это, по сути, конспект письма к Бенкендорфу, оказавшийся в собрании А. Ф. Онегина. Приведу большую выдержку из письма (вариант).

«Генерал Дубельт донес, и я со своей стороны почитаю своей обязанностью донести также Вашему сиятельству, что мы кончили дело, на нас возложенное, и что бумаги Пушкина все разобраны <...>.

Хотя я теперь после [строгого] внимательного разбора вполне *убежден, что между сими [бумагами] рукописями ничего предосудительного памяти Пушкина и вредного [читателю] обществу не находится*, но для собственной безопасности наперед протестую перед Вашим сиятельством против всего, что может со временем, как то бывало часто и прежде, распущено быть в манускриптах под именем Пушкина. Если бы паче чаяния

и нашлось в бумагах его что-нибудь предосудительное, то я разносчиком [исправлено: раздавателем] такого рода сочинений не буду и списка их никому не дам. В этом уверяю [Это объявляю] один раз навсегда, а все противное этому в один раз навсегда отвергаю.

Такую предосторожность почитаю необходимою тем более, что на меня был сделан нелепый донос. (Вам) Было сказано, что три пакета были вынесены мною из горницы Пушкина.

(В копии: «Хотя я это уже и объяснил словесно Вашему сиятельству, но почитаю нелишним то же самое повторить и письменно». — С. Л.)

При малейшем рассмотрении обстоятельств такое обвинение должно было бы оказаться невероятным [и недостойным внимания].

Пушкин был [ранен в 5 ч.], привезен в шесть часов после обеда домой, 27 числа Генваря. 28-го в десять утра Государь Император благоволил поручить мне запечатать кабинет Пушкина (предоставив мне самому сжечь все, что найду предосудительного в бумагах).

Итак, похищение могло произойти только в промежуток между 6 часов 27 числа и 10 часов 28 числа. С той же поры, то есть с той минуты как на меня возложено было сбережение бумаг, всякая утрата их сделалась невозможною. Или мне самому надлежало сделаться похитителем, вопреки повелению Государя и моей совести. Но и это, во-первых, было бы не нужно, ибо все вверено было мне и я имел позволение сжечь все то, что нашел бы предосудительным: на что же похищать то, что мне уже отдано, во-вторых, невозможно (если бы, впрочем, я был бы на то способен), ибо, чтобы взять бумаги, надобно знать, где они лежат, это мог сказать только один Пушкин, а Пушкин умирал.

Замечу здесь, что я бы первым, однако, исполнил его желание, если бы он (прежде нежели я получил повеление, данное Государем, опечатать бумаги) сам поручил мне отыскать какую бы то ни было бумагу, уничтожить ее или кому-то доставить. Кто же подобных поручений умирающего не исполнит свято, как завещание?

Это даже случилось: он велел доктору Спасскому вынуть какую-то его рукою написанную бумагу из ближайшего ящика, и ее сожгли перед его глазами, а Данзасу велел найти какой-то ящик и взять из него находившуюся в нем цепочку. Более никаких распоряжений он не делал и не был в состоянии делать. Итак, какие

бумаги где лежали, узнать было невозможно и некогда.

Но я услышал от генерала Дубельта, что Ваше Сиятельство получили известие о похищении трех пакетов от лица доверенного.

Я тотчас догадался, в чем дело.

Это доверенное лицо могло подсмотреть за мною только в гостиной, а не в передней, в которую вела запечатанная дверь из кабинета Пушкина, где стоял гроб его и где мне трудно было действовать без свидетелей.

В гостиной же точно в шляпе моей можно было подметить не три пакета, а пять; жаль только, что неизвестное доверенное лицо [предположив наперед похищение, не спросило меня самого] не подумало, что если объясниться со мной лично, что, конечно, не в его роли, то хотя бы для себя узнать какие-либо подробности, а поспешило так жадно убедиться в похищении и обрадовалось случаю выставить перед правительством свою зоркую наблюдательность за счет моей чести и совести.

[Жаль, что неизвестный мой обвинитель вместо того, чтобы с такой жадностью признать меня похитителем, не спросил меня просто: что в шляпе? Он бы узнал от меня, что эти пять пакетов.] Эти пять пакетов были просто оригинальные письма Пушкина, писанные им к жене [с самой первой минуты его с нею знакомства, запечатанные по годам пакеты], которые она вызвалась дать мне почитать [сперва дала мне пять пакетов, потом еще два]; я их привел в порядок, сшил тетради и возвратил ей. Пакетов же [надписанных ее рукою], к счастью, не разорвал, и они могут теперь служить [мне доказательством] убедительными свидетелями всего сказанного мною».

Повторю суть письма. Император разрешает Жуковскому запечатать кабинет Пушкина и самому решить судьбу всех оставшихся бумаг погибшего поэта. Теперь Жуковский сам свободен решить участь любого, даже самого предосудительного, документа. Он может и уничтожить бумагу, и скрыть ее, спрятать. Он пишет: «все вверено было мне», но «ничего предосудительного памяти Пушкина и вредного обществу» там не было.

Однако свобода действий Жуковского оказывается мнимой. За ним следят. Некое «доверенное лицо» отсылает в полицию записку, — «был сделан нелепый донос», — Жуковского обвиняют в похищении «трех конвертов».

Все дальнейшее, рассказанное Жуковским, застав-

ляет предположить, что Василий Андреевич легко догадывается, *кто* это «доверенное лицо». И не только догадывается, но и объясняет «технология» слежки, подробно чертит словесную схему, где стояло «лицо», где лежали «пять» (не три) пакета, и даже не без иронии сочувственно говорит, что мог бы, коль его попросили, показать «лицу» эту шляпу с пакетами.

Как и в письме Вяземского, сказавшего о графе Строганове, что он, граф, «поспешил» объявить о своей щедрости, так и у Жуковского неназванное лицо «поспешило» «обрадоваться случаю», «жадно» убедившись в похищении опасного (для правительства или для собственной репутации) некоего предосудительного документа. Конечно, совпадение слова «поспешил» — случайность, однако это такая случайность, которую можно объяснить сутью происходящих событий, оба лица действительно по какой-то причине *поспешали* проявить себя.

Выходит, не названное Жуковским «лицо» было начеку, ожидая возможных акций со стороны друзей Пушкина, допущенных к его бумагам. Само «лицо» присутствовать при разборе документов не могло, многое оставалось там, за дверями, но и стороннее наблюдение, вероятно, имело некий смысл.

Жуковский определяет время написания доноса: «промежуток между 6 часов 27 числа и 10 часов 28 числа», именно тогда он вынес в гостиную пять пакетов писем Натальи Николаевны. Кстати, «лицо» продемонстрировало собственную слабую профессиональность в шпионаже, — в шляпе, сообщалось, лежало три пакета. И что это за пакеты, лицо не знало.

Конечно, несколько странно, что Жуковский, получивший от царя полную свободу при разборе документов, какие-то из них все же вынес и беззаботно положил в шляпу, однако «лицо», видимо, было крайне насторожено, что-то это «лицо» беспокоило, волновало, иначе не было бы такого срочного послания.

Кого же имел в виду Жуковский под словами «доверенное лицо»?

Запись в дневнике Александра Ивановича Тургенева, мне кажется, дает возможность ответить на этот вопрос.

«17 февраля... Вечер у Бравуры с Жук. и к. Гагар., оттуда к Валуевой, там Велгур. Жук. о шпионах, о графине Струг., о 3—5 пакетах, вынесенных из кабинета

П. Жук-м. Подозрения. Графиня Нессельроде: Спор с Блуд. и о пр. с Жук-м.

Выделим часть записи: «Там Велгур[скому] Жук[овский] о шпионах, о графине Строг[ановой], о 3—5 пакетах, вынесенных из кабинета П[ушкина] Жук[овским]».

Можно допустить: уведомителем, на которого намекает в письме Жуковский, была графиня Юлия Павловна Строганова, ее неотлучное «дежурство» в доме умирающего Пушкина известно. Новопроясненная функция Юлии Павловны заставляет иначе осмыслить и причины ее участия в траурном окружении поэта.

Петр Иванович Бартенев записал со слов Петра Андреевича и Веры Федоровны Вяземских текст той записки, встревожившей полицию и графа Григория Александровича Строганова, находившегося в тот момент у Бенкендорфа. Вот содержание: «*Venez m'aider à faire réserve de l'appartement d'une venuve*» (Приезжайте помочь мне оградить квартиру некоей вдовы). Эти слова графиня Юлия Строганова повторяла неоднократно и даже написала о том мужу в записке, отправленной в III Отделение, где он находился по распоряжению о похоронах.

Как реагирует на записку Строганов? Он видит в предупреждении необходимость кардинальных и быстрых действий, их может выполнить только полиция, люди Бенкендорфа.

Видимо, Строганов чего-то боится. Вынесенные бумаги — кто знает, как происходит все в общей суете! — явно вызывали тревогу.

Действия Бенкендорфа, направленный в дом Пушкина отряд жандармов — акция политическая.

Что касается самого Строганова, то, думаю, его действия могли побуждаться двумя причинами.

Первое — Строганов мог опасаться за «партию Геккернов». Вынос неведомых документов, о которых сигнализировала жена, имел бы для осужденного Дантеса и для дипломата и друга Геккерна особую опасность. Действия «партии Пушкина» были непредугадываемыми.

Второе, чем, мне кажется, ни в коем случае мы не имеем права пренебрегать, — это личная заинтересованность Строгановых, их собственные опасения.

Допустим, вынесенные Жуковским бумаги из кабинета Пушкина могли бы иметь компрометирующее

значение для графа, каким-то образом бросить тень если не на него самого, то хотя бы на одного из членов его семьи, предположим, дочь. Нетрудно представить, что после гибели Пушкина для Строганова «открылись» неожиданные подробности разгоревшегося конфликта. Вовлечение в скандал имени графа было бы более чем нежелательным и опасным. И тогда умный и опытный дипломат принимает решение перевернуть ситуацию в свою пользу, потрясает общество щедростью и размахом.

И все же настороженность остается. Граф явно напряжен. Юлия Павловна не покидает покоев умирающего Пушкина, дежурит в доме и после смерти поэта. Ее просьба «помочь... оградить квартиру некоей вдовы», записка в ведомство Александра Христофоровича Бенкендорфа, где в эти часы находится граф, воспринимается как сигнал. У Григория Александровича нет иного выхода, как просить начальника III Отделения под любым, даже политическим предлогом просить изъять «украденные» документы, а это можно сделать лишь при участии жандармерии. Другого пути задержать, вернуть «3—5 пакетов», вероятно, не было.

Писатель-пушкинист Н. А. Раевский, в широко известной книге «Портреты заговорили», рассказывая о редко до того времени упоминаемой Юлии Павловне Строгановой, так объясняет молву: «В год смерти Пушкина Строгановой было пятьдесят пять лет. По-видимому, и за границей и в России ходили слухи о том, что в период связи с наполеоновским генералом Жюно (было такое в жизни графини до встречи со Строгановым.— *С. Л.*) она имела отношение к шпионажу. По крайней мере, в дневнике А. И. Тургенева ее фамилия упоминается в таком контексте (далее известная, приведенная выше записка.— *С. Л.*). Сомнительное прошлое графини не мешало ей принимать на балах лиц императорской фамилии, а позднее получить звание статс-дамы».

В том же комментарии есть и еще сведения о Строгановой:

«В русских источниках, помимо этого издания (Раевский говорит о своей книге.— *С. Л.*), о графине Юлии Павловне Строгановой (1782—1864 гг.) имеются только отрывочные сведения. Обычно отмечается только ее национальность и присутствие Строгановой на квартире Пушкина, когда он умирал. Между тем, несмотря на огромную разницу в возрасте (тридцать лет!), она,

несомненно, была близкой приятельницей Натальи Николаевны.

Следует коснуться двух аспектов комментария Н. А. Раевского.

Первое — это обвинение в пресловутом «шпионаже», подтвержденном известной цитатой А. И. Тургенева. Я уже писал раньше, о каком «шпионаже» Тургенев вел речь, больше к этому вопросу, думаю, возвращаться не стоит. О другом шпионаже никаких данных в литературе никому привести не удалось. Раевский, скорее всего, переписывает известную ошибку из других работ.

Что касается второго, «дружбы» Юлии Павловны Строгановой с Натальей Николаевной Пушкиной, то и здесь подтверждений мы в литературе не встретим, наоборот, Наталья Николаевна на долгие годы будет избегать общения с женой двоюродного дяди, об этом подробнее я расскажу в следующих главах.

Выходит, если первая позиция — шпионаж — касалась друзей (и бумаг) Пушкина, а дружбы между Юлией Павловной и Натальей Николаевной никогда не было, то не правильнее ли говорить не о преданности графини Строгановой поэту, не об искреннем почитании его гения (Строганова почти не знала русского языка), а совсем о другом «посыле» ее пребывания у смертного одра, о чем я говорил чуть раньше.

И если это так, то вполне было бы логично полуторазековую благодарность Строгановой, как друга семьи Пушкина, считать, мягко говоря, недостаточно достоверной.

...Оставим на время графиню и поглядим на некоторые события, произошедшие после похорон Пушкина.

Как было замечено, граф Г. А. Строганов, проявив, по определению Вяземского, «поспешность», добивается на правах родственника своего признания как руководителя Опеки и, что подтверждается всем дальнейшим, ставит вдову поэта в полную зависимость от своей воли, а иногда позволяя себе даже прямое ее унижение.

Думаю, не случайно выбирает Строганов на роль члена Опеки Наркиза Ивановича Тарасенко-Отрешкова, человека малокомпетентного и не очень-то добросовестного, «двуличного О.〈трешко〉в〈а〉», как однажды называет его Пушкин, а затем повторит П. А. Плетнев.

Известно, что Пушкин с 1832 года искал сотрудника для своей литературной и политической газеты, тогда же

доверенность на «редактирование» и была выдана журналисту и издателю Отрешкову.

Однако вскоре отношение Пушкина к Отрешкову изменилось, существует предположение, что поэту стало известно сотрудничество Отреškова с III Отделением. В 1836 году Пушкин неодобрительно отзывался о брошюре Отреškова.

Назначение Строгановым Отреškова, данные ему огромные права в Опекѣ мне кажутся далеко не случайными. «Двойной», легко управляемый человек и нужен графу.

Унижаемая теперь уже Отрешковым Наталья Николаевна неоднократно сетует на наглость члена опекунского совета.

А вот как вспоминает об Отрешкове младшая дочь Пушкина Наталья Александровна Меренберг: «Опекуном над нами назначили графа Григория Строганова, старика самолюбивого, который, однако, ни во что не входил, а предоставлял всем распоряжаться Отрешкову, который действовал весьма недобросовестно. Издание сочинений отца вышло небрежное (1838—1842 гг.), значительную часть библиотеки отца он расхитил и продал, небольшая лишь часть перешла к моему брату Александру, время, удобное для последующих изданий отца, пропустил... Мать мою не хотел слушать и не позволял ей мешаться в дела Опекѣ, и только когда мать вышла замуж за Ланского, ей удалось добиться удаления от Опекѣ Отреškова».

С. А. Соболевский словно бы подтверждает непрофессиональность Отреškова как издателя Пушкина, говоря, что первое издание собрания сочинений «скверно по милости Отреškова».

Б. Л. Модзалевский в статье о библиотеке Пушкина писал, что Отрешков как член Опекѣ играл в ней значительную роль. А после отъезда Натальи Николаевны на Полотняный завод в феврале 1837 года стал полновластно распоряжаться в кабинете Пушкина, «где проводилась организованная Отрешковым опись». Любопытно, что даже личные вещи Александра Сергеевича не стали для Отреškова священными. Известно, что он «подарил» перо Пушкина своему знакомому Калашникову. Замечательно остроумна характеристика П. В. Анненкова, данная Наркизу Ивановичу, который «заслужил репутацию серьезного ученого и литератора по салонам, гостиним и кабинетам влиятельных лиц, не имея никако-

го имени и авторитета ни в ученом, ни в литературном мире».

Не стану подробнее останавливаться на этой одиозной фигуре, разгаданной Пушкиным, но даже одно свидетельство Н. А. Меренберг подтверждает особые полномочия Отрешкова, вплоть до права устранения Натальи Николаевны от вмешательства в дела Опекы, унижения ее достоинства, напоминания о ее тягостной и безвыходной зависимости от произвола графа.

Сочувствие семье погибшего Пушкина обеспечило Строганову благодарное доверие в обществе. Широта его акций воспринималась как естественное веление доброго сердца, что и читается в известных письмах В. А. Жуковского и П. А. Вяземского. Эти же чувства распространились и на принятую графом Опеку, что давало Строганову право на абсолютный контроль за действиями Натальи Николаевны, полное подчинение ее воли, лишение самостоятельности.

Мало того! Вдова Пушкина должна была теперь на любое барственное снисхождение опекуна отвечать ему благодарственным признанием,— это ясно прочитывается во многих отчаянных письмах Натальи Николаевны в годы ее вдовства.

Вот, скажем, выдержки из двух писем Дмитрию, первая от 1 октября 1841 года: «...дошло до того, что сегодня у нас не было ни чаю, ни свечей, и нам не на что было их купить. Чтобы скрыть свою бедность перед князем Вяземским, который приехал погостить к нам на несколько дней, я была вынуждена идти просить милостыню у дверей моей соседки г-жи Осиповой. Ей спасибо, она по крайней мере не отказала чайку и несколько свечей...»

«Последние дни, что мы провели в деревне,— через месяц пишет она брату,— были что-то ужасное, мы буквально замерзали. Граф Строганов, узнав о моем печальном положении, великодушно пришел мне на помощь и прислал необходимые *деньги на дорогу*».

Думаю, «нечистую» игру Строганова умная и остро чувствующая унижительные ситуации Наталья Николаевна хорошо понимала,— об этом осталось достаточно свидетельств в ее письмах. Вот отчего каждый раз буквально преодолевая себя, собственное нежелание, она едет «к тетушке Строгановой», сопротивляется настоящим требованиям Юлии Павловны «развлекаться» в свете, а не вести такой затворнический образ жизни.

Даже присутствие на обедах у Строгановых — это несказанная для нее мука.

Приведу выдержки из писем дочери Строгановых Идалии Полетики своей подруге Екатерине Дантес в Париж в июле 1839 года.

«Натали выглядит очень скверно и чувствует себя совсем больной; например, два дня назад я обедала с ней и Местрами у Строгановых, у нее были стеснения в груди, и она казалась очень раздражительной, и когда я стала спрашивать ее об этом состоянии, она мне ответила, что с ней это часто бывает».

И в конце того же письма:

«Натали нигде не бывает, она стала такой дикаркой, что чувствует себя несчастной, увидев лицо человека, к которому не привыкла».

Думаю, и «нежелание» говорить с Полетикой, и «раздражительность» в окружении Полетики и Строгановых не случайны, за всем есть определенный фон, пережитое.

Что касается самого графа Строганова, то его отношение к Наталье Николаевне ярко характеризует эпизод, произошедший после смерти Екатерины Ивановны Загрязской, описанный А. П. Араповой, дочью Натальи Николаевны от второго брака.

Будучи набожной и боясь накликать собственную смерть, Екатерина Ивановна не оставила завещания, а понадеялась на исполнительность сестры Софьи Ивановны де Местр,— ей устно Екатерина Ивановна распорядилась о передаче после собственной смерти Наталье Николаевне деревни Степанково с пятьюстами душами.

На похоронах сестры Софья Ивановна «в сердцах» сообщила Наталье Николаевне об этом, но дальше сказанного дело не пошло.

«Софья Ивановна, видимо, стеснялась говорить о произошедшей перемене, <...> и она предоставила слово графу Григорию Строганову, который холодным, напыщенным тоном объявил Наталье Николаевне, что ему удалось убедить графиню не поддаваться влечению ее доброго сердца. Было бы безрассудно доверять целое состояние такой молодой, неопытной в делах женщине, до сих пор она всегда подчинялась признанному авторитету Екатерины Ивановны, служившей ей опытной руководительницей, но кто может поручиться, что с сознанием независимости в ней не пробудится жажда полной свободы.

В заключение нравоучительной проповеди объявлялось, что графиня, не оспаривая ее прав в будущем на завещанное наследство, решила в настоящем не оформлять их и сохранить имение в своих руках, а доходами распоряжаться по своему усмотрению и из них уделять Наталье Николаевне столько, сколько ей покажется нужным для ее поощрения.

Из всего высказанного, — продолжает Арапова, — последнее показалось матери самой горькой обидой. Легко было Строганову с высоты своих миллионов относиться к ее стесненному положению, простительно престарелой тетушке считать ее еще девчонкой, не смотря на тридцатилетний возраст, но предполагать, что она способна перед ней унижаться, заискивать ее расположения ради денег — этого не могла она снести.

С необычайной для нее твердостью она ответила, что графиня вольна поступить как ей заблагорассудится, что она напрасно думает, что, удержав имение, она приобретет на нее большее влияние, по выражению графа, «может забрать ее в руки». Напротив, всякое желание проявить ласку, оказать предупредительность будет отныне скivano мыслью навлечь на себя подозрение в корыстной цели. Не денежную помощь ценила она в Екатерине Ивановне, а ту материнскую заботу, которой она постоянно ее окружала. И столько искренности, горячего чувства было в ее отповеди, что они хотя и не отступили от намеченного плана, но нравственная победа осталась не за седовласыми богачами, а за обездоленной ими молодой женщиной.

Несмотря на все лишения, усугубившиеся в последние годы ее вдовства, она никогда не упрекала тетку в несправедливости и корысти и убежденно повторяла, что, не вмешайся граф Строганов со своими советами и внушениями, она не преминула бы исполнить последнюю волю умершей сестры».

Это ощущение злой недоброжелательности графа, как и его жены и детей, Наталья Николаевна пронесла через многие годы. Уже будучи Ланской, она продолжала сторониться этого семейства, уклонялась от встреч с ними, а если такое не удавалось, то испытывала в их кругу крайнее неудобство.

Что касается дочери Строгановых — Идалии Полетики, то о ней я подробно расскажу в следующей главе. Есть удивительные факты, характеризующие отношение к Пушкину и к его памяти и со стороны сына Григория

Александровича Строганова — Александра Григорьевича, приведу запись редактора «Русского архива» П. А. Бартенева:

«Граф Строганов, полувтора сестре, которая им командует, отзывался о Пушкине как о рифмоплете. Он говорит, что после поединка ездил в дом раненого Пушкина и увидел там такие разбойничьи лица и такую сволочь, что предупредил отца туда больше не ездить».

А вот еще более выразительный эпизод, случившийся в 1887 году, когда одесситы решили начать сборы средств на памятник поэту. Городская депутация направилась к А. Г. Строганову, известному богачу, чтобы подключить и его, лицо просвещенное, к участию в таком серьезном благотворительном мероприятии.

Автор статьи и участник «похода» М. В. Шимановский описывает произошедшее:

«Портьера дверей соседней комнаты поднялась, вошел граф без палки, но держась прямо, в генеральской тужурке серого цвета.

〈...〉 Не успел я кончить, как раздался резкий, громкий, отрывистый, с нотой повелительного характера, голос графа:

— Я кинжалщикам памятников не ставлю! Я до этого еще не дошел!.. Вы читали это гениальное произведение?!.

Несколько секунд длилось молчание. Наконец я, придя в себя, сказал:

— Нет, Ваше сиятельство, я произведение Пушкина «Кинжал» не знаю и не читал.

— Не читали, так прочтите! Советую... Памятник?!

И граф вновь остановился.

— Мы... к вам, как к вечному гражданину Одессы...

— Это хорошо... Но спрашиваю я вас, что полиция смотрит?.. Что она делает? Что же это такое, памятник Пушкину?! А?!

〈...〉 Когда мы вышли на улицу, я 〈...〉 сказал: «Ведь это исторический факт. Я не знаю, что за причина такого взгляда Строганова на Пушкина, чем Пушкин его против себя вооружил, но, по всей вероятности, здесь что-либо скрывается, но что именно, я положительно не знаю».

Многим я рассказывал этот эпизод из жизни графа Строганова, но никто не мог дать мне более или менее ясного и точного объяснения поведения графа Строганова. Все, что я слышал, были одни лишь предположе-

ния чисто личного характера и мне ровно ничего не разъяснило. Очень может быть, что сообщаемому мною факту со временем и придадут надлежащее значение и должным образом его оценят».

Но, может, Строгановы были недоброжелательны ко всем своим знакомым?

Нет, это не так. Об их отношении к Геккернам я уже писал. Письма Полетики к Дантесу наполнены душевными излияниями, уверениями в вечной любви и дружбе. Что касается старых графа и графини, то приведу, кстати, не единственное свидетельство их расположения и участия к другой двоюродной племяннице, Екатерине Дантес.

Письмо Екатерины к Жоржу в Тильзит отправлено 20 марта 1837 года, на следующий день после высылки Дантеса из России. Об общественном мнении в это время можно не говорить.

«Вчера, после твоего отъезда, графиня Строганова оставалась еще несколько времени с нами, как всегда, она была добра и нежна со мной; заставила меня раздеться, снять корсет и надеть капот; потом меня уложили на диван и послали за Раухом, который прописал мне какую-то гадость и велел сегодня не вставать, чтобы побережь маленького... Барон окружает меня всевозможным вниманием, и вчера мы весь вечер смеялись и болтали. Граф меня вчера навестил, я нахожу, что он действительно сильно опустился; он в отчаянии от всего случившегося с тобой и возмущен до бешенства глупым поведением моей тетушки и не сделал ни шага к сближению с ней; я ему сказала, что думаю даже, что это было бы и бесполезно...»

Так что же стояло все-таки за очевидным двоедушием семьи Строгановых? Чем можно объяснить такое, с одной стороны, устойчиво-негативное отношение целого клана к Пушкину и к его семье, а с другой — ту стремительную благотворительность, развернутую буквально в первые часы после трагической дуэли?

Думаю, следует перенестись назад, к тому злополучному эпизоду, который случился в квартире Полетики.

Повторю две существующие, оспаривающие друг друга версии, принципиально важные для биографии поэта, касающиеся даты той встречи, а значит, и *исхода* пушкинской жизни.

П. Е. Шеголев называет январь 1837 года, последние дни, и считает, что именно встреча у Полетики и оказалась поводом к дуэли.

М. А. Яшин пытается уточнить дату. По его мнению, встреча произошла 22 января, во время дежурства Дантеса по полку. (Квартира Полетики, как известно, была в кавалергардских казармах.) Нетрудно согласиться с противниками Яшина, с меньшим основанием предлагающими любое другое число, когда Дантес дежурным по полку не был.

Вторая версия, мгновенно принятая большинством биографов Пушкина, предложена С. Абрамович.

Вразрез со всеми С. Абрамович называет 2 ноября 1836 года: канун злополучного анонимного письма.

Повторю аргументы исследователя.

Исходным документом для С. Абрамович стало письмо барона Фризенгофа, мужа Александры Николаевны Гончаровой, полученное Араповой в 1887 году, вероятно, в ответ на ее запрос. Письмо было опубликовано в 1929 году Леонидом Гроссманом и, конечно же, не раз комментировалось.

Фризенгоф пишет со слов жены. Пишет подробно. Затем записанное показывает Александре Николаевне, та подтверждает сообщаемые мужем факты.

Любопытно, что Арапова не называет источник, не цитирует письмо (хотя, казалось бы, это ей выгодно!), а придумывает романную историю с Ланским, чем, кстати, окончательно хоронит подлинное и очень ценное в своем рассказе. Правда и вымысел, грубо перемешанные Араповой, заставляют исследователей относиться к сказанному с большой осторожностью. Впрочем, свои записки Арапова печатает в 1908 году, то есть через двадцать один год, а на два десятка лет раньше, в 1888 году, редактор «Русского архива» Павел Иванович Бартенев публикует рассказ Веры Федоровны Вяземской об этой встрече у Полетики. Впрочем, Вяземская имени не открывает, а называет Полетику «мадам NN».

Приведу тексты трех известных источников.

Арапова:

«Года за три перед смертью Наталья Николаевна рассказала во всех подробностях разыгравшуюся драму нашей воспитательнице, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю свою жизнь... С ее слов я узнала, что, дойдя до этого эпизода, мать со слезами на глазах

сказала: «Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это согласие на роковое свидание... за которое муж заплатил своей кровью, а я — счастьем и покоем своей жизни...

Местом свидания была избрана квартира Идалии Григорьевны Полетики, в кавалергардских казармах, так как муж ее состоял офицером этого полка».

Вяземская:

«Мадам NN, по настоянию Геккерна, пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала <...>, что когда она осталась с глазу на глаз с Геккерном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от настояний; она ломала руки себе и стала говорить как можно громче. По счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостя бросилась к ней».

Бартенев, пересказывая ту же историю со слов Вяземской, уточняет, что Наталья Николаевна «однажды приехала... вся в слезах и с негодованием рассказала, как ей удалось избежать настойчивого преследования Дантеса».

Фризенгоф:

«Что касается свидания, Ваша мать получила однажды от г-жи Полетики приглашение посетить ее, и когда она прибыла туда, то застала там Геккерна вместо хозяйки дома; бросившись перед ней на колени, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме. Она сказала жене моей, что это свидание длилось несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас же уехала».

Итак, Вяземская зашифровывает Полетику, и только в 1908 году, незадолго до публикации Араповой, П. И. Бартенев раскрывает подлинное имя.

Не стал я цитировать многое «сочиненное» Араповой в ее пространных воспоминаниях: второе анонимное письмо, охрану свидания Г. Ланским, выяснение отношений Пушкина с женой.

Источник, письмо Густава Фризенгофа, открывает фактический уровень знаний Араповой.

И все же зададимся вопросом: была ли в действительности Констанция, рассказавшая Араповой удивительную, неведомую другим исповедь Натальи Никола-

евны о роковом свидании, «за которое муж запла- тил своей кровью», а она «счастьем и покоем своей жизни».

Пересказ фразы неведомой Констанции уже содер- жит дату свидания у Полетики. *Роковая* встреча могла произойти только в январе, накануне дуэли.

Ответ, мне кажется, может быть единственным: разговор с воспитательницей у Араповой был, однако ничего конкретного, кроме факта свидания, детская память дочери не сохранила. Видимо, это и заставило Арапову искать подтверждения, обратиться к престаре- лой свидетельнице — собственной тетке Александре Ни- колаевне.

На поставленный конкретный вопрос мог быть и кон- кретный ответ.

Предположить, что Александра Николаевна по со- бственному легкомыслию так легко расстанется с тай- ной, которую она хранила пятьдесят лет, трудно. Мало того! Видимо, Арапова гарантирует умолчание,— не случайно же записки публикуются еще через два деся- тилетия.

Этим же, думаю, следует объяснить и другое «просо- чившееся» через полвека после смерти Пушкина воспо- минание. И опять же напечатанное без конкретного имени виновного: «Мадам NN». Вяземская рассказы- вает Бартеневу правду, называет Полетику, но, видимо, просит не писать имя.

С. Абрамович как главное логическое доказатель- ство свидания у Полетики в ноябре берет *форму* письма Фризенгофа, настаивая на его скрупулезной пунктуаль- ности. «И что для нас особенно важно,— подчеркивает исследовательница,— он (Фризенгоф.— С. Л.) ведет рассказ настолько это возможно, в *хронологической последовательности* (курсив С. Абрамовича.— С. Л.). Там, где Фризенгоф отступает от этого принципа, мы находим специальную оговорку».

И все же одну оговорку, касающуюся всего письма, С. Абрамович не приводит.

«Я запоздал на несколько дней, дорогая Азинька, с отправкой сведений *по интересующей вас трагедии*,— пишет барон, подчеркивая, что его письмо является ответом на сделанный запрос Араповой,— подробности которой Ваша тетушка *разыскивала* в своей памяти: их было мало, и я предполагал, что, быть может, найдутся еще другие. Но так как это предположение не оправда-

лось, я напишу Вам последовательно то, что сообщила мне моя жена».

Фризенгоф говорит о последовательных ответах Александры Николаевны на поставленные вопросы, достаточно перечитать последние слова этой фразы. Но даже если Фризенгоф и пытается действительно *последовательно* передать преддуэльные события, то можно ли его изложение воспринимать как некую математическую формулу, как таблицу истинного развития событий? Другими словами, можно ли выводить уравнение из столь «нечистого опыта», как говорят о научном эксперименте.

Напомню, что Густав Фризенгоф женился на Александре Николаевне Гончаровой в 1852 году, то есть через пятнадцать лет после трагической дуэли. Письмо Александре Араповой написано в 1887 году, то есть через пятьдесят (!) лет, человеком, знающим подробности со слов жены. Историю он и восстанавливает, правильно излагая факты, а Александра Николаевна, перечитав письмо мужа, с фактами соглашается. И уж если какая-то хронология не соблюдена, то не заставляя же восьмидесятилетнего старика все переписывать. Сведения не для печати, это оговорено.

Арапова получает подтверждение того, что ей доверенно говорила Констанция, видимо, это для нее и было наиболее важным.

Думаю, логично представить и другое: во всем письме Фризенгофа факт свидания у Полетики — единственная *новость*, остальное широкоизвестно и много раз оговорено. Вероятно, задавая вопросы тетке, Арапова именно этот вопрос ставила, как основной, первым, тогда и ответ должен был быть первым, то есть написан в том порядке, в каком писалось исходное письмо.

Начав пространное послание, барон спохватывается и возвращается к тому главному, чего настойчиво домогается племянница.

Конечно, за истекшие пятьдесят лет много воды утекло, многое перемешалось: и слухи, и факты, трудно разобраться барону. Он общался с Геккерном, имел какие-то объяснения от него, повторяет сплетню о Гагарине, называет князя автором анонимного письма, уверен, что Геккерн уговаривал Наталью Николаевну, имеющую четырех детей, бежать с его сыном в Париж, правда, и здесь уточняет, подчеркивая давность собы-

тий: «Александрина... уже не помнит, было ли это сделано устно или письменно».

С. Абрамович пишет: «Материалы, которыми мы располагаем в настоящее время, свидетельствуют прежде всего о том, что никто из людей пушкинского круга не связывал инцидент на квартире у Полетики с последней дуэлью, хотя о нем знали многие».

Сказано категорично, но так ли это?

Если отвести как недостоверное признание самой Натали (Констанции, воспитательнице детей) о свидании (хотя факт свидания подтвердился Александриной) как о *роковом*, то есть стоившем Пушкину жизни, если допустить, что признания Вяземских и Александрины дату свидания не уточняют, то проследим *поведенческие* линии других людей, близких к драме. Может, косвенные доказательства окажут нам определенную услугу.

Первой, знавшей о произошедшем, следует считать тетку Загряжскую.

Известно, что в ноябре и декабре Дантес видится с Екатериной по утрам у Загряжской, он перестает посещать дома Карамзиных и Вяземских. Тетка присутствует и на свадьбе старшей племянницы в январе 1837 года.

Думаю, ничем иным, кроме *знания* о свидании, нельзя объяснить слова Полетики из письма к Екатерине Дантес от 3 октября 1837 года.

«Позавчера я имела счастье обедать с Вашей тетушкой,— со злой иронией признается она подруге,— удивительно, до чего эта женщина меня любит: она просто зубами скрежещет, когда ей надо сказать мне — здравствуйте. Что до меня, то я проявляю к ней полнейшее безразличие, это единственная дань уважения, которую я способна ей принести».

Признание Полетики словно бы перекликается со словами Екатерины, сказанными раньше, в уже приведенном мартовском письме: «Граф (Строганов.— С. Л.) <...> возмущен до бешенства глупым поведением моей тетушки и не сделал ни шага к сближению с ней».

Кстати, отношение Загряжской, не простившей Екатерину и Полетику, не изменилось до конца ее жизни, достаточно взглянуть письма Екатерины к Дмитрию из Франции.

Конечно же, поведение Загряжской еще не устанавливает для нас точную дату свидания, однако ненависть, возникшая *именно после убийства Пушкина*,—

далее я приведу письмо Александрины от 24 января 1837 года, подтверждающее этот факт,— противоречит ноябрьской версии.

Думаю, не только откровенность Идалии Полетики с Екатериной, касающаяся поведения тетки, но и слова Пушкина, прочитанные в одном из последних, близких к окончательному тексту черновиков дуэльного письма Геккерну («Вы играли втроем одну роль...», «Наконец Мад[ам] Геккерн...») говорят о посвящении в произошедшее самой Екатерины.

Логично ли это? Мне кажется, да.

Екатерина не только могла знать о свидании, но, вероятно, получила какое-то, устроившее ее, объяснение от Дантеса, идущего на эту встречу или, по крайней мере, вернувшегося с нее. Пушкин мог допустить возможное соучастие Екатерины в этом безобразном поступке.

Думаю, вести о свидании через Вяземских просочились к Тургеневу, об этом говорят неоднократные намеки Александра Ивановича на какое-то тайное знание относительно Пушкиных (и в дневниках, и в записных книжках).

«24 марта. Москва. Отправился к Дмитриеву, за ним послал к Севериной. Прибежал задыхаясь. Разговор о Пушкине».

12 апреля, через неделю после того как Вяземский послал письмо княгине О. А. Долгоруковой, в котором сообщал, что «предмет щекотлив» и что надо-де говорить «об участии других лиц в этой драме», Тургенев спрашивает у него: «Скажешь ли только правду о том, о чем я почти никому не сказывал».

24 февраля Тургенев писал Осиповой в Тригорское: «Посылаю Вам письмо князя Вяземского Булгакову, не получив полного моего прежнего письма, жаловался ему на половину моего отчета о последних днях поэта. Как бы многое хотелось мне поведать отсюда, но, вопреки пословице, бумага не все терпит».

Вероятно, можно допустить, что о свидании знала Евпраксия Николаевна Вревская, видевшая Пушкина накануне дуэли. Тот же Александр Иванович Тургенев пишет своему брату Николаю Ивановичу 28 февраля 1837 года письмо.

«Теперь узнаем, что Пушкин накануне открылся одной даме, дочери той Осиповой, у коей я был в Тригорском, что он будет драться. Она не умела или не могла помешать, и теперь упрек жены, которая узнала об этом, на них падет».

Конечно, в письме говорится о дуэли, а не о встрече у Полетики, однако трудно представить, что, «открываясь» приятельнице, Пушкин не стал ей объяснять причины, вынуждавшие его поступить так.

И еще одно свидетельство, письмо от 24 февраля 1837 года Осиповой:

«Умоляю Вас написать мне все, что Вы умолчали и о чем только намекнули в Вашем письме,— восклицает Тургенев,— это важно для истории *последних* дней Пушкина. Он говорил с Вашей милой дочерью почти накануне дуэли, передайте мне верно и обстоятельно слова его, их можно сообразить с тем, что он говорил другим, и правда объяснится...»

Итак, события последних дней, а не события ноября тревожат друзей Пушкина.

С. Абрамович в систему собственных доказательств привлекает и тот факт, что Фризенгоф не вспоминает Екатерину. «Конечно,— заявляет исследователь,— это объясняется тем, что в тот момент Дантес не был еще женат».

Странное заключение! Если идти путем подобных доказательств, то у Фризенгофа в его письме нет многих проверенных фактов. Выходит, всего этого не было в жизни?!

Письмо как документ можно принимать по тому, что в нем *есть*, а не по тому, чего *нет*. Разве нельзя допустить, что Арапову просто не интересовало участие в событиях старшей тетки?!

Посмотрим «неясные недомолвки» в письме Александра Карамзина от 13 марта 1837 года брату в Париж, а также в обрывках дуэльного письма Пушкина, реставрированного Казанским.

Приведу без купюр процитированный с некоторыми сокращениями в работе С. Абрамович отрывок письма.

«...Геккерн, будучи умным человеком и утонченнейшим, какие только бывали под солнцем, без труда овладел совершенно умом и душой Дантеса, у которого первого было много меньше, нежели у Геккерна, а второго не было, может быть, и вовсе. Эти два человека, не знаю, с какими дьявольскими намерениями стали пре-

следовать госпожу Пушкину с таким упорством и настойчивостью, что, пользуясь недалекостью ума этой женщины и ужасной глупостью ее сестры Екатерины, в один год достигли того, что почти свели ее с ума и повредили ее репутации во всеобщем мнении. Дантес в то время был болен грудью и худел на глазах. Старик Геккерн сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына, потом стал грозить мстостью; два дня спустя появились анонимные письма. (Если Геккерн — автор этих писем, то это с его стороны была бы жестокая и непонятная *нелепость*, тем не менее люди, которые должны об этом кое-что знать, говорят, что теперь почти доказано, что это именно он!) За этим последовала исповедь госпожи П[ушкиной] своему мужу, вызов, а затем женитьба Геккерна; та, которая так долго играла роль посредницы, стала, в свою очередь, возлюбленной, а затем и супругой. Конечно, она от этого выиграла, потому-то она — единственная, кто торжествует до сего времени, и так поглупела от счастья, что, погубив репутацию, а может быть, и душу своей сестры, госпожи П[ушкиной], и вызвав смерть ее мужа, она в день отъезда этой последней послала сказать ей, что готова забыть прошлое и все ей простить!!!»

Во-первых, в этих путаных, смешавших подлинные и вымышленные события словах А. Карамзина нет никакого намека на свидание у Полетики.

Александр Карамзин перечисляет сменяющие друг друга известные ситуации: а) Геккерн разговаривает с Натальей Николаевной, б) «два дня спустя» после этого разговора Пушкин получает анонимные письма, в) Наталья Николаевна объясняет Пушкину случившееся, говорит о наглом поведении Геккерна, о его ходатайстве в пользу «сына». Затем естественно возникший гнев Пушкина, вызов на дуэль, неожиданная женитьба Дантеса.

Карамзины много напраслины пересказывали друг другу, сообщалось все ходившее вокруг, вплоть до нелепиц (достаточно вспомнить слух о любви Пушкина и Александрины), их трактовки известных событий более чем сомнительны, но и тут, в приведенном письме, нельзя найти никакого даже намека на произошедшее 2 ноября свидание у Полетики. «Исповедь госпожи П[ушкиной]» мужу касается разговора с Геккерном и поставлена Карамзиным вслед за появившимися анонимными письмами.

Такое же происходит и с пушкинским черновиком, восстановленным Казанским, в котором Абрамович хочет видеть скрытое доказательство встречи в квартире Идалии. Конечно, обрывки слов, даже неясные, взволнованные объяснения Пушкина, нежелание упоминать собственную жену — все это вселяет тревогу, но... Полетика, свидание за два дня до анонимных писем, это уже совсем другое.

Повторю черновую редакцию этого отрывка в уточненном чтении Измайлова.

«2 ноября у вас был [от] с вашим сыном [новость] [.....] доставила большое удовольствие. Он сказал вам [после одного] вследствие одного разговора [... решен], что моя жена опас[ается] анонимное письмо [... что она теряет голову] [.....] наносит решительный удар [...] составленное вами и [экземп] [ляра] [ано] [нимного письма] [.....] были разосланы [.....] было сфабриковано с [.....] был уверен, что найду моего [.....] не беспокоился больше. В самом деле, после менее чем трехдневных розысков я уже знал, как мне поступить».

Конечно, если бы С. Абрамович с такой категоричностью не заявила об «окончательном решении проблемы», а предложила рассмотреть свою догадку как одну из возможных версий, то это было бы вполне понятным правом исследователя. Но текст наводнен однозначными утверждениями: «Теперь мы определили истинную последовательность событий», «Так разрешается загадка» и прочее.

Так же воспринимают «открытие» и комментатор последних изданий В. Вересаева — В. Сайтанов, и автор примечаний к книге П. Щеголева Я. Левкович.

«Согласно недавним разысканиям встреча Дантеса с Натальей Николаевной у Полетики произошла 2 ноября 1836 года и послужила одной из причин первого — ноябрьского, а не последнего — январского вызова» — это у В. Сайтанова.

Почти дословно повторяет предыдущее Я. Левкович.

Вопрос, как говорится, исчерпан!

С. Абрамович пишет: «Свидание у Полетики обмануло надежды Дантеса».

Какие «надежды»? Неужели всерьез можно предполагать, что Дантес, находясь в квартире Полетики, собирался соблазнить Наталью Николаевну? Неужели его выходку, угрозу «покончить жизнь самоубийством» — вынул пистолет, приставил к виску, но... не

успел выстрелить, так как в комнату вбежала двухлетняя дочь Полетики,— можно объяснять чем-либо иным, кроме подстроенного театрального розыгрыша? Нет, ничего кроме издевки и оскорбления человеческого достоинства замужней женщины тут не было. «Вбежавшая вся впопыхах» к Вяземским Наталья Николаевна, и она же, перепуганная и не сумевшая скрыть от мужа произошедшее в тот злополучный вечер, мне кажется, это так понятно...

Все события, связанные со Строгановыми, говорят о том, что исследователями не были серьезно осмыслены многие известные, но вроде бы малозначительные факты.

Вернемся к началу истории.

«...Похороны были насколько возможно торжественнее... на свой счет... Могли ли мы вмешиваться в распоряжение графа...» — спрашивал в приведенном письме В. А. Жуковский.

Конечно, ни Василий Андреевич Жуковский, ни Петр Андреевич Вяземский не могли представить возможных причин, которыми руководствовался в своих широких и шумных деяниях граф Строганов. Сами они действовали от чистого сердца, такой же представляли и удивительную пышность приготовлений, исходящую от старого графа.

Если допустить, что дуэль происходила после свидания у Полетики, то нужно принять и то, что Идалия рассказала отцу о произошедшем в ее квартире.

Дипломат Строганов мгновенно должен был оценить все возможные последствия огласки не только для Идалии, но и для всей их семьи.

Какие задачи решал Строганов, взяв в свои руки организацию «траурных торжеств»?

Мне думается, все.

Скрывался, становился необъяснимым,— что выгодно,— истинный повод к дуэли; предостерегалась возможная огласка, касающаяся Идалии с другой, враждебной Геккернам и Строгановым, стороны; «сторона Пушкина», его семья повязывались нравственной зависимостью, широта, даже расточительность графа были грандиозными, теперь он мог диктовать собственные условия; невозможность ответить на добро злом, чув-

ство благодарности гарантировали семье графа защищенное спокойствие.

Мне кажется, инициатива полутайного, ночного, топропного вывоза в Михайловское тела Пушкина скорее всего принадлежала Строганову, как руководителю опеки. Граф больше других был заинтересован в скорейшем прекращении разговоров вокруг дуэли. Известны и переговоры Строганова с Бенкендорфом по условиям захоронения, — именно тогда и была направлена записка Юлии Павловны о выносимых Жуковским документах.

Вероятно, как одну из предохранительных акций Строганова можно рассматривать и «шпионаж» Юлии Павловны. На всякий случай, с целью контроля за складывающейся ситуацией, следовало иметь в квартире умирающего своего верного и неподозреваемого человека: Строганову нужно было знать все, о чем говорит и что думает «партия Пушкина». И в этом смысле «лицо» лучше графини Ю. П. Строгановой найти было трудно.

Напомню события последних двух недель.

10 января: свадьба Екатерины и Жоржа, на которой в качестве посаженных отца и матери выступают старшие Строгановы, а как свидетели — Строгановы-младшие, чета Полетик.

Пушкин на свадьбу не является, но присылает жену.

14 января: обед у Строгановых в честь новобрачных. Геккерт пытается вступить в контакт с Пушкиным, просит его позабыть обиды, изменить «настоящее отношение к нему на более родственные. Пушкин отвечает сухо...»

15 января бал у Барантов, где опять встречаются Дантесы и Пушкины.

Вяземский отправляет большое и подробное письмо Эмили Карловне Мусиной-Пушкиной, только что оставившей Петербург и вот уже три дня находившейся в дороге. Как обычно, Петр Андреевич пересыпает текст шутками и каламбурами, никаких намеков на трагедию в тексте найти нельзя.

«...Бал (поскольку совершенно необходимо рассказать Вам о бале) был блестящим, многолюдным, элегантным, оживленным. Отношения развивались своим путем... Красные (группа кавалергардов, интересующих Мусину-Пушкину. — *С. Л.*), хотя на этом вечере и были зелеными (игра слов, «бодрыми». — *фр.*), блистали более чем всегда. Одним словом, все шло как обычно.

В пестрой, движущейся толпе, в приливах и отливах движения и кокетства и разговоров был один человек, который, как обломок, выброшенный на песок, как жертва кораблекрушения, был не на месте (Вяземский о себе, о своей печали.—С. Л.).

У меня была беседа с графиней Натальей Строгановой, она сказала, что Вы более красивы, чем госпожа Пушкина, и что она чувствует неодолимое влечение к Вам. Вы понимаете, что, как воспитанный человек, я не позволил себе ей противоречить, и мы остались довольны друг другом.

Мадам Геккерн выглядела счастливой, что делало ее на десять лет моложе и придавало ей вид новобрачной, так что можно было обмануться. Я не могу скрыть от Вас, что муж ее был любезен и очень весел, и черты лица его, столь красивые и выразительные, не хранили следов меланхолии после брачной ночи...

Затем известны еще балы в Петербурге: у Вяземских — 16 января, у Люцерида — 18 января, у Фикельмонов — 21 января, где о Наталье Николаевне сказано, что она как «прекрасная камея».

Свет словно бы успокаивается и совершенно забывает о Пушкине. Даже Софья Николаевна Карамзина все свое внимание переключает на чету Дантесов, восторженно рассказывает брату об уюте их комнат, о «безмятежности и веселости» их лиц.

Все тихо.

24 января, за три дня до дуэли, Вяземский направляет очередное шутовское послание Э. К. Мусиной-Пушкиной, а 26 января, накануне поединка, фактически за несколько часов до него,— еще письмо, целый фейерверк блестящих остроумий, Александру Яковлевичу Булгакову в Москву.

Однако наиболее удивительным выглядит письмо Александры Николаевны Гончаровой своему брату, отправленное 24 января.

«Все кажется довольно спокойным,— пишет Александра Николаевна.— Жизнь молодоженов идет своим чередом; Катя у нас не бывает, она видится с Ташей у Тетушки и в свете. Что касается меня, то я иногда хожу к ней, я даже там один раз обедала, но признаюсь тебе откровенно, я бываю там не без довольно тягостного чувства. Прежде всего я знаю, что это неприятно тому дому, где я живу, а во-вторых, мои отношения с дядей и племянником не из близких; с обеих сторон смотрят

друг на друга несколько косо, и это не очень-то побуждает меня часто ходить туда.

Катя выиграла, я нахожу, в отношении приличия, она чувствует себя лучше в доме, чем в первые дни: более спокойна, но, мне кажется, скорее печальна иногда. Она слишком умна, чтобы показывать, и слишком самолюбива тоже; поэтому она старается ввести меня в заблуждение, но у меня, я считаю, взгляд слишком проницательный, чтобы этого не заметить. В этом мне нельзя отказать, как уверяла всегда меня маминька, и тут она была совершенно права, так как ничто от меня не скроется.

...В день вашего отъезда был обед у Строгановых...

...Таша просит передать тебе, что твое поручение она исполнила (я подразумеваю покупку набойки¹), но так как у ее горничной было много работы в последнее время, она не могла начать шить; она это сделает непременно. Что касается иностранного журнала, то Таша рассчитывает подписаться на него сегодня.

Пушкин просит передать, что если ты можешь достать для него денег, ты окажешь ему большую услугу.

Итак, прощай, дорогой и добрый братец, я уже не знаю о чем больше писать и поэтому кончаю до следующего раза, когда соберу побольше сплетен...»

«Слишком проницательная» Александрина явно чувствует сомнительность счастья старшей сестры, что делает честь ее «проницательности». И тогда особенно любопытно, что Александрина, живущая с Натальей Николаевной, ничего подозрительного, — а этого, видимо, и нет! — не замечает в семье Пушкина.

Поражает почти сонное спокойствие, отсутствие даже намек на притаившееся волнение.

Строгановы дают обед в честь новобрачных. Тетушка Загряжская продолжает принимать племянниц. Александрина захаживает к Геккернам...

Жизнь молодоженов идет своим чередом.

Наталья Николаевна обеспокоена покупкой «набойки» для брата, что же касается подписки на журнал, то она обещает провести ее сегодня, двадцать четвертого января. Все это жизнь, привычная скука.

За недостатком сплетен Александрина откладывает

¹ Ткань с рисунком.

перо до лучших времен. Она надеется, что ей еще повезет и что-то обязательно случится забавного в обществе.

По всей вероятности, письмо брату написано днем, перед очередным балом. Сегодня принимают Мещерские.

Ночью, возвратившись с бала, сестра Екатерины Николаевны — Софья Николаевна Карамзина запишет свои удивительные впечатления от увиденного:

«В воскресенье (24 января) у Катрин было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккерны, которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает всегдашнее выражение тигра, Натали опускает глаза и краснеет под жарким взглядом своего зятя, — это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин направляет на обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует жену из принципа, то свояченицу — по чувству. В общем все это очень страшно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных».

Цитата известная, бесчисленное количество раз прокомментированная разными исследователями, но никогда не поставленная рядом с письмом Александрины, написанным на полдня раньше.

Рискну предположить, что свидание у Полетики и происходило именно в этом коротком промежутке времени.

Вернувшись от Вяземских Наталья Николаевна, вероятнее всего, сразу же призналась в произошедшем Пушкину, да и он сам бы заметил случившееся, прочитал бы испуг в ее глазах.

Если все это так, то дальнейшая реакция Пушкина очевидна.

Моментально зреет решение. Не пойти на бал — значит открыть свои планы, заставить Натали поднять тревогу.

Пушкин идет на бал.

Общество мгновенно реагирует на его взвинченность и странную неадекватность. Вроде бы ничего не произошло, все так хорошо улаживалось, затихало, и тут

опять он... Нет, это уже невозможно терпеть, это невыносимо!

Близорукая Екатерина направляет на Пушкина удивленный (нет, не ревнивый!) лорнет. Растерянная, ничего не понимающая Александрина пытается смягчить ситуацию, отвлекает Пушкина, это, конечно же, не кокетство, а беспокойство, испуг, слабость, возможно, неуклюжая попытка исправить положение.

Хуже всех Натали, она-то понимает все, ей стыдно и страшно, тем более что Дантес весело балаганит, нагло разглядывает ее, издевается над взбешенным Пушкиным.

Никто не в состоянии ничего пока объяснить. И «дядюшка Вяземский... закрывает свое лицо» — все это «моветон»! — и «отвращает его от дома Пушкиных».

Дантес явно выигрывает в глазах света: Мещерские, Карамзины, Вяземские, Валуевы осуждают поэта.

Впрочем, не пройдет и суток, как Геккерн получит оскорбительное послание, а еще через день потрясенный Вяземский будет горько рыдать над умирающим другом.

27 января все изменится в этом пляшущем, веселящемся мире.

Загряжская сразу же разорвет отношения и с Екатериной, и с Геккернами, вызывающее поведение старой фрейлины станет бесить Строганова. Но особую ненависть Загряжская испытает к Полетике, этих чувств ей хватит на все оставшиеся годы...

В траурные дни император Николай Павлович напишет брату:

«Последний повод к дуэли, которого никто не постигнет и заключенный в самом дерзком письме Пушкина к Геккерну, сделал Дантеса *правым* в самом деле».

Дальнейшее поведение Строганова по отношению к Наталье Николаевне, холодное безразличие графа к нуждам семьи Пушкина, унижающая вдову материальная зависимость — все это, думаю, дополнительное подтверждение сказанного ранее. Даже наглость и разнузданность Отрешкова, разбазаривание им пушкинских раритетов, явная нечистоплотность в ведении дел Опеки, отмеченная очевидцами, возможны только при молчаливом безразличии, а то и поощрении самого

Строганова, его негативном отношении и к Пушкину и к его вдове.

Выходит, все, что случается, — случается после 24-го и кончается 27 января.

Если допустить, что встреча у Полетики произошёл 22 января, как предполагал Михаил Яшин, мог ли Пушкин, оскорбленный Дантесом, ждать еще неделю?

Взрывной характер поэта, обостренное чувство чести и личного достоинства, о чем так прекрасно говорил он сам в «Моей родословной», решительно противоречат этому.

Обида, нанесенная в ноябре 1836 года анонимными письмами, была только притушена, но забытой не была.

Появилось еще одно серьезнейшее обстоятельство: если вызов в ноябре мог показаться немотивированным, авторство писем все же оставалось анонимным, то теперь, в январе, виновник нарушенной договоренности оказался конкретным лицом.

Но вернемся к Строгановым.

Логично допустить, что Г. А. Строганов, к которому Геккерн направился на званый обед, был не готов к такой неожиданной вести, как оскорбительное письмо Пушкина. Ничего он не знал и о встрече на квартире его дочери.

Давая совет драться, Строганов поступал согласно принятому в своем кругу кодексу, удивительного в этом нет.

Другое дело, как начинает действовать граф, узнав подлинные причины, неведомые еще Петербургу.

Впрочем, знал ли он то, о чем не подозревали друзья Пушкина? Могла ли Полетика поделиться с отцом?

Думаю, в сложившейся ситуации у Идалии просто не оставалось другого выхода, как признаться отцу, просить его совета. Умнее, доброжелательнее к ней и опытнее графа Строганова в ее окружении никого не было.

Опасность нависла над всем кланом графа, над репутацией его семьи, а значит, и его самого.

Опытный дипломат Строганов, мастер интриги, мгновенно оценивает произошедшее. Теперь он сам советуется со своим коллегой Геккерном. Оба заинтересованы в полной дезинформации общества. Опасность для личной репутации, моральные издержки, грозившие «дому», были очевидными.

Уяснив опасность, Строганов находит единственный выход эту опасность устранить. Нужно использовать вину Натальи Николаевны, запугать ее совершенной ошибкой, — в конце-то концов, жена Пушкина сама пошла на эту встречу с Дантесом. И по сравнению с виной Натали вина Идалии — сущий пустяк. Несомненно, похороны придется взять на себя, расходы окупятся благодарностью общества, превратят противника в друга. Главное, не жалеть средств, совершить обряд прощания с неимоверной щедростью, молчание «партии Пушкина», людей, столь ненавистных графу, даже если слух просочится в их стан, должно быть обеспечено именно этой щедростью и широтой, которые будут рассматриваться как понятное благородство родственника...

Так и произошло. Свидание у Полетики, о котором узнали и Александра Николаевна, и Вяземские, и Тургенев, и, вероятно, Дмитриев, и Загряжская, оказалось достоянием биографов Пушкина только на рубеже двадцатого века.

Строганова пугала и раздражала одна Загряжская, наиболее независимая и поэтому неуправляемая. Ее поведение, как известно, «бесило графа».

В 1887 году Арапова, задумавшая написать воспоминания о матери, решает проверить собственное детское впечатление, ей помнится рассказ воспитательницы о произошедшем перед дуэлью свидании у Полетики. Арапова пишет тетке, а получив ответ, еще двадцать лет не решается опубликовать услышанное.

Что движет ее молчанием? Растерянность? Боязнь очернить мать? Невозможность найти объяснение всему произошедшему?

Скорее, все вместе.

В 1907 году Арапова придумывает хитрый литературный ход. Она оставляет «на часах», «охранником» происходящего в квартире Полетики непредосудительного свидания с Дантесом, будущего мужа Натальи Николаевны, своего отца. Ланской должен подтвердить в истории невинность опрометчивого поступка Натали.

Вероятно, Арапова поэтому и не ссылается на письмо Густава Фризенгофа, документ особого значения.

Стоит сказать, что сообщение Араповой было легко проверено и опровергнуто, — Ланского в названные дни просто не было в Петербурге.

В 1929 году Леонид Гроссман обнаруживает в архи-

ве Араповой рассказ Александры Николаевны Гончаровой-Фризенгоф, в записи ее мужа.

История полностью совпадает с рассказом В. Ф. Вяземской, записанным в то же время П. И. Бартеневым.

Обвинение, павшее на Наталью Николаевну, поставило под сомнение ее нравственность. Некоторые биографы испытали чувство, похожее на облегчение: взамен слухов и сплетен наконец-то появился неоспоримый факт.

Впрочем, второй не менее сильный удар по репутации Натальи Николаевны был нанесен еще через двадцать лет, в конце сороковых нашего века.

Как я упоминал, французский писатель Анри Труайя опубликовал два письма Жоржа Дантеса (из семейного архива Геккернов), датированных январем и февралем 1836 года. Именно в эти месяцы свет начинает отмечать вызывающее, едва ли не разнузданное поведение Дантеса по отношению к жене Александра Сергеевича Пушкина. Впрочем, это уже материал следующей главы...

Глава вторая

«ДЕЛО» ИДАЛИИ ПОЛЕТИКИ

В воспоминаниях артиста Художественного театра Л. М. Леонидова есть рассказ об одном из ярких впечатлений его детства.

В конце восьмидесятых годов Леонидов жил в Одессе и хорошо запомнил, как ежедневно с четырех до шести на Николаевском бульваре появлялись три странные фигуры. Это были вроде бы тени прошлого: два старика — граф Александр Григорьевич Строганов, мелкий, худенький князь Александр Васильевич Трубецкой и сестра графа Идалия Полетика. Шаг у старухи был твердым, руки она держала по-мужски, за спиной. Иногда все трое останавливались, спорили по-французски и шли дальше.

В девяностые годы переживший Полетику полуслепой столетний граф Строганов, бывший генерал-губернатор Одессы, вызвал к себе представителей пароходства и приказал вывезти в море его личный архив и... утопить. «Для перевозки архива потребовалось несколько телег. Чем объяснить такой поступок, сказать трудно. Но что погиб большой, интересный архив, говорить не

приходится,— писал Леонидов.— Строганов был министром внутренних дел, у него могли быть бумаги, относящиеся к Пушкину, к декабристам».

Несколько лет назад, читая документы о пушкинской дуэли, я был поражен одной догадкой, касающейся Идалии Полетики. Не предполагая, что может выявиться, я все же завел папку и в нее стал собирать все упоминания об этой особе. Находок было не много. Даже в Пушкинском Доме в картотеке Модзалевского оказалось менее десятка карточек на это имя.

Полетикой, как правило, пренебрегают. Проходят мимо, как часто в быту не здороваются с человеком явно безнравственным. Каждый, прикоснувшийся к биографии Пушкина, хорошо знает, что именно у Полетики происходила последняя встреча Натали и Дантеса, а известие об этом, полученное каким-то образом поэтом, стало для него роковым.

Помнят и другое: Полетика всю свою жизнь за что-то ненавидела Пушкина. Эта ненависть продолжает удивлять всех, потому что с годами она не только не затухала и не стиралась, а становилась глубже. В записных книжках одного из первых биографов Пушкина П. И. Бартенева есть, например, такая запись, относящаяся к концу XIX века: «В Одессе проживает у брата своего Александра Григорьевича Строганова Идалия Григорьевна Полетика, левая дочь известного сластолюбца<...> Полетика сводила Геккерн с Натальей Николаевной. Смешно и для Пушкина позорно, что ее оскорбляет воздвигаемая в Одессе статуя Пушкина, она намерена поехать и плюнуть на нее».

Памятник Пушкину в Одессе был открыт в 1888 году, через пятьдесят один год после гибели поэта, «постоянство» Полетики по меньшей мере удивительно.

Пожалуй, важно и то, что мы можем приблизительно датировать начало «злости» Полетики по двум пушкинским высказываниям о ней. Первое относится к октябрю 1833 года — это письмо к Наталье Николаевне, в нем слышится только расположение, даже симпатия поэта к Идалии: «Полетике скажи, что за ее пацелуем явлюсь лично, а что-де на почте не принимают».

Второе письмо тоже к Наталье Николаевне, оно написано 6 мая 1836 года из Москвы,— ниже я приведу отрывок. Надо сказать, что и в нем никакого негативного отношения Пушкина к Полетике увидеть нельзя. Весна и лето 1836 года — время родов и болезни На-

талы Николаевны, так что если и произошел конфликт между Полетикой и семьей Пушкиных, то это можно отнести только на осень 1836 года, до января 1837 года.

Можно сказать, что «тайна» ненависти Полетики так и осталась одной из загадок, казалось бы самых незначительных в дуэльной истории. Почему? Чем объяснить такую незатухающую злобу?

Предположений было несколько.

Анна Андреевна Ахматова писала, что Полетика была «неравнодушна к Дантесу». Все остальное, рассказанное о Полетике, как правило, похоже на анекдот. П. И. Бартенев записал, что Пушкин якобы обидел как-то Полетику в карете, когда они втроем — Наталья Николаевна, Идалия и он — ехали на бал. Существует и другая история, услышанная В. П. Горчаковым, будто бы Пушкин написал в альбом некоей дамы (подозревают Идалию) любовное стихотворение, польстил ей этим, но внизу пометил первое апреля. О шутке услышали в свете, Полетика (?) уже никогда не могла простить Пушкину такой насмешки.

В 1966 году И. С. Зильберштейн возродил интерес к Полетике, опубликовав в «Огоньке» свои сенсационные парижские находки.

Отец Идалии граф Строганов был блестящий человек, светский волокита, пользовавшийся колоссальным успехом у женщин. Его считали прообразом Дон-Жуана Байрона. Будучи послом в Испании, Строганов влюбился в португальскую графиню д'Эга, жену камергера королевы Марии I. Графиня оставила мужа и вместе с возлюбленным уехала в Россию. В 1826 году, после смерти жены Строганова, им удалось обвенчаться. Дочь Идалия — редкостное для нас имя! — родилась задолго до брака.

Как известно, граф Григорий Александрович Строганов был двоюродным братом Натальи Ивановны Гончаровой, матери Натальи Николаевны. Таким образом, Наталья, Александра и Екатерина приходились Идалии троюродными сестрами.

Незаконнорожденная Идалия до конца жизни считалась «воспитанницей» графа Строганова, — этого она не могла простить свету. Особенно достается менее родовитым, чем она, Натали и Александрина, провинциальным барышням, ставшим в силу случая такими заметными в обществе. А почему? Разве в жилах Идалии не течет кровь древних вестфальских графов?! Разве ее бабка

маркиза д'Алорна, шесть томов сочинений которой стоят на полках просвещенных людей Европы, не более знаменита, чем Пушкин?! И почему у своего отца и у своей матери приходится ей бывать дома на менее законном положении, чем далекие родственники?! «Я обедала... у Строгановых», «Ваших сестер вижу у Строгановых», — несколько раз напишет она.

У Строгановых! Не у отца, не дома!

В 1829 году Идалия выходит замуж за пожилого, как пишут, а в действительности двадцатидевятилетнего кавалергарда, штаб-ротмистра А. М. Полетику, «божью коровку», — свадьба как бы узаконивает ее права. Вот документ, программа бала-маскарада в Михайловском дворце, опубликованная в «Русском архиве», — первые страницы пестрят именитостями, и лишь в последних строчках придворного кордебалета мелькает имя Полетики.

Наиболее серьезная публикация о Полетике — выдержки из ее писем к Дантесу и Екатерине — была сделана в 1951 году М. А. Цявловским в альманахе «Звенья». Первым же публикатором этих отрывков оказался французский писатель Анри Труайя, получивший в сороковые годы доступ в семейный архив Геккернов, а в 1946 году выпустивший в Париже двухтомник «Пушкин».

Отрывки из писем Полетики были так любопытны, что я, не находя другой возможности, решил обратиться к Труайя с вопросом: не сохранилось ли у него полных текстов?

Труайя сожалел, что вынужден мне отказать: документы он возвратил семье, если письма меня так интересуют, то он рекомендует написать нынешним владельцам архива.

Я послал письмо правнуку Дантеса. Когда-то П. Е. Щеголев, работая над книгой «Дуэль и смерть Пушкина», обращался к Луи Метману. Чувство исторической причастности, неискупаемой вины заставило потомков Дантеса помочь русскому исследователю.

Из Парижа пришли два первых письма. В объемистом фамильном конверте лежала фотокопия статьи Клода де Геккерна д'Антеса «Белый человек, или Кто убил Пушкина?», опубликованной во французском журнале. В этой статье пересказывалась известная история о разговоре Пушкина с гадалкой, которая будто бы предсказала поэту смерть в тридцать семь лет от руки

«белого человека». И раз это рок, то Дантес всего лишь невольник судьбы, фигура по меньшей мере трагическая. Автор пытался рассказать о страданиях Дантеса, стоящего «под жерлом пушкинского пистолета». Молодой кавалергард, «прекрасный, как Персей», в этот момент вспоминает удивительную свою жизнь, мысленно прощается с самым для него дорогим.

«За тысячи километров от этой *странной* земли,— писал Клод,— он воскрешал в уме покату ю крышу старого эльзасского дома, которую так уютно украсил *декабрьский* снежок. Он покинул эту землю несколько лет назад, как д'Артаньян, чтобы побродить по дорогам и поступить наконец куда *угодно*, только бы не служить королю-гражданину (Луи-Филиппу.— *С. Л.*)» и т. д.

Но было в этой статье и другое, то, что, несомненно, мог прочитать правнук Дантеса «в пожелтевших архивах, записках, письмах с сургучными печатями»,— это доброе слово Полетике.

«Благодаря женщине, которая его любила и любит,— писал Клод,— Жорж мог увидеть в последний раз предмет своей безграничной страсти. Как странно это свидание, устроительница которого смогла замолчать свою собственную любовь, чтобы дать свободу действий другой!»

А в сноске объяснено: «Идалия Полетика, так несправедливо очерненная большинством пушкинистов, действительно оставалась другом семьи Дантеса и после драмы».

Именно любовь Полетики и Дантеса, любовь, которая так прочитывалась в отрывках из ее писем, и была причиной моей первой догадки. Любовь Полетики (если любовь была!) совпадала по времени с ухаживанием Дантеса за Натальей Николаевной. Опубликованные отрывки из писем давали право предполагать и ответное со стороны Дантеса чувство.

Во втором конверте было письмо Клода.

«Я испытываю величайшее восхищение перед Пушкиным,— писал он,— но это, однако, никак не мешает мне исповедовать настоящий культ по отношению к памяти моего прадеда, Катрин и нашей тетушки Натали. Немного таинственная личность Полетики меня всегда завораживала, как и ее несравненная красота, о которой я могу судить по фотографии с акварели Петра Соколова. Я знаю о Полетике мало, но письма, которые у меня есть, говорят о женщине умной, с тонкими чув-

ствами. Одно интриговало меня всегда: какова причина ненависти, которая разделяла ее и Пушкина? Была ли она для Жоржа больше чем друг? И в какой момент? Я этого не знаю. Во всяком случае, она оставалась другом семьи Дантеса и после его высылки из России».

Так началась переписка. Но прошло немало времени, прежде чем Клод написал мне об имеющихся у него пяти письмах Полетики¹, которые «очень милы и могут прекрасно трактоваться как письма женщины любящей и по-прежнему любимой...».

Даже при первом их чтении возникает ощущение характера, натуры Полетики, человека желчного не только к тем, кого она откровенно не любит, но и к тем, кто принимает ее в собственном доме, с кем она проводит светские вечера.

В письмах к Екатерине и к Дантесу в Париж Полетике не нужно скрывать своих чувств, она не скупится на оценки и характеристики. Иногда факты, которые сообщает Полетика, кажутся невинными, это скорее светские сплетни, забавные истории, произошедшие в их среде.

«По части сплетен,— так и напишет она в письме от 3 октября 1837 года,— ничего особенного, если не считать госпожу Меллер-Закомельскую², которая позволила себя похитить графу Мечиславу Потоцкому».

Иногда Идалия все же высказывается более определенно, так или иначе оценивая описываемый ею поступок, характеризуя людей.

Некий кавалергард, сослуживец мужа, «вынужден оставить полк за содеянные им подлости. Он уродливее чем когда-либо и почти ничего не видит».

А вот приятельница поближе, некая «croque-mort» («гробовщица», «могильщица»), из клана Бутера,— возможно, прозвище связано с тем, что дача князя находилась в Парголове, неподалеку от кладбища.

«Что касается croque-mort,— пишет Полетика 18/30 июля 1839 года,— то она все такая же, и мы по-прежнему любим друг друга так же нежно, мы даже обмениваемся иудиными поцелуями, след от которых я как можно быстрее спешу стереть». Будучи небогатой, «гробовщица» живет полуприживалкой у именитых род-

¹ Фотокопии писем Идалии Полетики — архив автора. Все переводы из архива Клода де Геккерна д'Антеса сделаны А. Л. Андрес.

² Соседка Полетики по Тамбовскому уезду.

ственников, пользуется их приютом, но... «надо сказать ей в похвалу... ими немного пренебрегает».

В письме от 8 октября 1841 года, написанном из Милана, во время длительного путешествия по Италии, где Полетика, «как затравленная крыса» — так Идалия оценивает свое состояние,— бегаёт по кладбищам, театрам и церквям, её сопровождает подруга. «Я уже считаю дни до конца своего путешествия,— сообщает Идалия,— оно мне страшно надоело по причинам, которые Вы знаете. Она невыносима более чем когда-либо. Каждая лишняя морщинка прибавляет ей худого настроения. Ничего не пишите о ней, ибо может случиться, что она попросит прочесть Ваши письма: если Вы захотите сказать мне что-нибудь личное, пишите на отдельном листочке, для меня одной».

Впрочем, ни сама Идалия, ни её характер не тревожили бы исследователей, если бы рядом с ней или другими забытыми именами не возникло имени Натальи Николаевны Пушкиной. Отвечая Екатерине и делая невероятные усилия, чтобы казаться объективной, Полетика не способна скрыть своего отношения к Натали. Её ненависть к Пушкину, к его жене и детям, к прозорливой Загряжской прорывается в каждой строчке.

«Позавчера я имела счастье обедать с Вашей тетусшкой,— сообщает она в письме к Екатерине от 3 октября 1837 года,— удивительно, до чего эта женщина меня любит: она просто зубами скрежешет, когда ей надо сказать мне «здравствуйте». Что до меня, то я проявляю к ней полнейшее безразличие, это единственная дань уважения, которое я способна ей оказать».

Неудачи в семье Пушкина вызывают у Полетики явное злорадство. «Пламенное усердие, с которым покупались произведения покойного (подчеркнуто Полетикой.— С. Л.), чрезвычайно ослабело, вместо пятисот тысяч им не удастся выручить и двухсот, так всегда бывает».

Особенно знаменательно отношение Полетики к Натали.

«Дабы писать только о том, что Вам может быть интересно, отвечу прежде на все Ваши вопросы,— продолжает она в том же письме.— Я лишь очень немного могу сказать о том, что касается Натали. В настоящее время она находится у Вашей матери, затем вернется к Вашему брату. Ваша тетя собирается через несколько недель отправиться туда, чтобы провести с ней часть

зимы. Говорят, будто Натали по-прежнему очень подавлена. Я хотела бы верить этому, ибо другие говорят, будто она просто скучает и ей не терпится уехать из деревни,— словом, это одно из тысячи «говорят», а им доверять не следует в Петербурге более чем где-либо».

По прошествии двух лет, в письме от 18/30 июля 1839 года, Идалия напишет Екатерине: «Ваших сестер я вижу довольно часто у Строгановых, но не у меня, у Натали не хватает мужества ходить ко мне. Мы очень милы друг с другом, но она никогда не говорит о прошлом, его в наших разговорах не существует. Так что, держась весьма дружелюбно, мы много говорим о погоде, которая, как вы знаете, в Петербурге редко бывает хорошей». И дальше: «Натали по-прежнему хороша собой, хотя и очень похудела... Дети милы, особенно мальчишки; они похожи на нее, но старшая дочь — вылитый отец, а это очень жаль».

Несколько иначе прочитывается в письмах Идалии ее отношение к Дантесу и к их общим друзьям. Конечно, чувства Идалии тщательно зашифрованы, она адресует (да и должна адресоваться) к Екатерине, и все же каждая строчка говорит больше, словно явно рассчитана на то, что их будет читать не только она.

«Скажите мне, моя дорогая, моя добрая Катрин,— начинает она письмо от 3 октября 1837 года,— как быть, когда ты провинился, чувствуешь это и хотел бы сразу же и признать свою вину, и получить прощение. Скажите мне, существуют ли еще на этом свете великодушные и снисходительные друзья. Словом, скажите мне, что Вы не слишком на меня сердитесь. Не подумайте только, что я Вас забыла. Нет, конечно. Каждый день я принимаю решение написать Вам и каждый вечер не могу выполнить своего намерения. Что сказать Вам в свое оправдание? В начале лета — балы, празднества, прогулки, затем весьма серьезная болезнь моей дочери, которую я чуть было не потеряла<...>. Все это явилось причиной того, что я кажусь Вам неблагодарной, ведь Вы, должно быть, очень часто обвиняли меня в этом. Наконец, Ваше доброе письмо довело до предела угрызения моей совести, и вот я припадаю к Вашим стопам, и посыпаю пеплом главу, и приношу вечное покаяние.

Ваше письмо доставило мне большую радость. Вы счастливы, мой друг, и за это слава Богу. Я-то, которая хорошо знаю Вашего доброго Жоржа и умею его ценить, никогда ни минуты в нем не сомневалась, ибо все, что

только может быть доброго и благородного, свойственно ему». А ниже: «Скажите от меня Вашему мужу все самые ласковые слова, какие придут Вам в голову, и даже поцелуйте его, — если у него еще осталось ко мне немного нежных чувств».

В том же тоне пишет Полетика и в письме от 18 июля 1839 года:

«Ваше письмо, дорогая Катрин, доставило мне искреннее удовольствие, и я бы тотчас на него ответила, когда бы не была в то время в разъездах. Это было как раз в момент сборов на дачу, затем началось летнее таскание в Петергоф, затем свадебные празднества в городе, затем снова Петергоф, а теперь в Красное Село, все это мешало мне ответить Вам раньше. Вот причины, и в них мое оправдание. Теперь я предоставляю Вашей дружбе снять с меня этот грех, потому что сердце мое к нему непричастно, я по-прежнему люблю Вас, Вашего [нрзб.] мужа, и тот день, когда я смогу вновь увидеть Вас, будет самым счастливым в моей жизни». И еще: «Прощайте, моя милая Катрин, обнимите за меня Вашего мужа и скажите ему, чтобы он в свой черед передал для меня нежный поцелуй».

В письме от 8 октября 1841 года Идалия пишет: «Передайте тысячи добрых слов барону и поцелуйте за меня Вашего мужа. На этом расстоянии Вы не можете ревновать, не правда ли, мой друг?»

Кроме приведенных писем Полетики, заполненных многозначительными намеками и недосказанностями по отношению к Дантесу, в архиве де Геккернов существовали еще две записки Полетики, недатированные, неподписанные, как бы не имеющие начала и конца. Впрочем, и дата, и адресат, и автор легко определяются. Так же как позднее в письме к Екатерине, где Полетика советует писать ей на отдельном листочке, чтобы сохранять тайну от нежелательного лица, так и здесь Полетика вкладывает записку в общее письмо от 3 октября 1837 года. Другая записка послана через друзей на гауптвахту Дантесу еще в России, в феврале 1837 года.

Выдержки из записки в свое время цитировались Труайя и Цявловским, приведу их полностью в новом переводе.

«Бедный друг мой!

Ваше тюремное заключение заставляет кровоточить мое сердце. Не знаю, что бы я дала за возможность

прийти и немного поболтать с Вами. Мне кажется, что все то, что произошло,— это сон, дурной сон, если не сказать кошмар, в результате которого я лишена возможности Вас видеть.

У нас никаких новостей. Все эти дни была подготовка парада, который происходит в данный момент. Там присутствует много дам — Трубецкая, Барятинская, Раух.

Что касается меня, то я там не была, потому что мне нездоровится, и Вы будете смеяться, когда я Вам скажу, что я больна от страха.

Катрин Вам расскажет о моих «подвигах». Милую Катрин мне ужасно жаль, потому что образ жизни, который она ведет, ужасен. Она вполне заслуживает того, чтобы Вы заставили ее забыть все это, когда уедете и когда ее медовый месяц возобновится.

Прощайте, мой прекрасный и добрый узник. Меня не покидает надежда увидеть Вас перед Вашим отъездом.

Ваша всем сердцем».

А вот текст двух листочков Дантесу, по-видимому вложенных в общее письмо,— это благодарные слова Идалии в ответ на присланный Жоржем подарок.

«Вы по-прежнему обладаете способностью заставлять меня плакать, но на этот раз это слезы благотворные, ибо Ваш подарок на память меня как нельзя больше растрогал и я не сниму его больше с руки; однако таким образом я рискую поддержать в Вас мысль, что после Вашего отъезда я позабуду о Вашем существовании, но это доказывает, что вы плохо меня знаете, ибо если я кого люблю, то люблю крепко и навсегда.

Итак, спасибо за Ваш добрый и красивый подарок на память — он проникает мне в душу.

Мой муж почивает на лаврах. Парад прошел великолепно; он имел полный успех. На параде присутствовали Императрица и множество дам.

До свидания, я пишу «до свидания», так как не могу поверить, что не увижу Вас снова. Так что надеюсь — «до свидания».

Прощайте. Не смею поцеловать Вас, разве что Ваша жена возьмет это на себя. Передайте ей тысячу нежных слов.

Сердечно Ваша».

«Подарок на память», который Полетика обещает не снимать с руки, вряд ли был безделушкой; по всей вероятности, Дантес послал значительную, дорогую вещь. Подстрочный перевод фразы — «не покинет моего запястья» — говорит о том, что это, скорее всего, был браслет.

Хочу отметить еще одну особенность писем Полетики. Наряду со щедрыми комплиментами Дантесу Идалия как бы «забывает» передать приветы от собственного мужа или пишет о нем иронически («Мой муж почивает на лаврах»), хотя Александр Михайлович Полетика, как и она, был вернейшим другом семьи Геккернов.

Оставим временно Идалию и предоставим слово Дантесу. В мае 1835 года барон Луи Борхард де Геккери выехал из Петербурга в Париж и находился там до середины 1836 года. Через сто десять лет, в 1946 году, два письма Дантеса к Геккерну, полученные из семейного архива, как я уже упоминал, были опубликованы Анри Труайя в его двухтомнике «Пушкин». В русском переводе эти письма напечатаны М. А. Цявловским в «Звеньях» вместе с выдержками из приводимых мною писем Полетики.

Поскольку в переводах писем Дантеса, сделанных М. А. Цявловским, оказались отдельные неточности, привожу их в переводах А. Л. Андрес, любезно согласившейся перевести их заново.

В отдельных случаях мне придется сопоставить оба текста.

«Петербург, 20 января 1836 года.

Я поистине виноват, что не сразу ответил на два дружественных и забавных твоих письма, но, понимаешь, — ночи танцуешь, утро проводишь в манеже, а после обеда спишь — вот тебе моя жизнь за последние две недели, и мне предстоит вынести ее еще по крайней мере столько же, а хуже всего то, что я влюблен, как безумный.

Да, как безумный, ибо просто не знаю, куда от этого деться, имени ее тебе не называю, потому что письмо может до тебя не дойти, но ты припомни самое очаровательное создание Петербурга, и ты поймешь, кто это.

А всего ужаснее в моем положении то, что она тоже меня любит, видется же нам до сих пор было невозможно, ибо ее муж безобразно ревнив. Вверяюсь тебе, дорогой мой, как лучшему своему другу, знаю, что ты посочувствуешь мне в моей беде, но, ради Бога, ни слова никому, и не вздумай кого-либо расспрашивать, за кем я ухаживаю, не то, сам того не желая, ты можешь ее погубить, и тогда я буду безутешен. Потому что, понимаешь, я ради нее готов на все, только бы ей угодить, ведь жизнь, которую я веду последнее время, это какая-то невероятная пытка. Это ужасно — любить и не иметь возможности сказать об этом друг другу иначе, как между двумя ритурнелями в контрдансе; может, напрасно я поверяю все это тебе, и ты назовешь это глупостями, но сердце мое до того переполнено, что мне необходимо хоть немного излить свои чувства. Я уверен, что ты простишь мне это безумство, я согласен, что это безрассудно, но я не могу внять голосу рассудка, хотя мне это очень было бы нужно, ибо любовь эта отравляет мне жизнь; но не беспокойся, я веду себя благоразумно и был до сих пор столь осторожен, что тайна эта известна только мне и ей (она носит ту же фамилию, что та дама, которая писала тебе по поводу меня, что ей очень жаль, но мор и голод разорили ее деревни); теперь ты понимаешь, что от такой женщины можно потерять голову, особенно если она тебя любит.

Еще раз — ни слова Брожу (Бражу?), ведь он переписывается с Петербургом, и достаточно малейшего упоминания в письме к его супруге, чтобы мы оба погибли. Ибо Бог знает, что может случиться, вот почему, дражайший друг мой, мне вечностью покажутся те четыре месяца, что предстоит нам с тобой провести в отдалении друг от друга, ибо в моем положении так необходим человек, которого любишь, кому можешь открыть свое сердце, у кого можешь просить поддержки. Вот потому-то я плохо выгляжу, а не будь этого, никогда я не чувствовал себя здоровее телом, чем теперь, но я до того взбудоражен, что уже ни днем, ни ночью не знаю покоя, именно из-за того, а вовсе не из-за нездоровья, у меня болезненный и печальный вид.

Прощай, дражайший друг, отнесись снисходительно к моей новой страсти, ибо и тебя я тоже всем сердцем люблю».

Второе письмо Жоржа Дантеса Луи Геккерну в Париж:

«Петербург, 14 февраля 1836 года.

Дорогой друг мой, вот и масленица миновала, а с ней и часть моих мучений, право же, мне кажется, что я несколько спокойнее с тех пор, как уже не вижу ее каждый день и всякий уже не вправе брать ее за руку, касаться ее талии, танцевать и беседовать с ней так же, как и я, но другим это было бы просто, потому что у них более спокойная совесть. Глупо говорить, но я и сам бы не поверил в это прежде, но ведь то состояние раздражения, в котором я все время находился и которое делало меня таким несчастным, оказывается, объясняется попросту ревностью. А затем у нас с ней произошло объяснение в последний раз, когда я ее видел, ужасно тяжелое, но после мне стало легче. Эта женщина, которую считают не слишком умной, уж не знаю, может быть, любовь прибавляет ума, но невозможно проявить больше такта, очарования и ума, чем проявила она в этом разговоре, а ведь он был труден, потому что речь шла не больше и не меньше, как о том, чтобы отказать любимому и обожающему ее человеку нарушить ради него свой супружеский долг; она обрисовала мне свое положение с такой искренностью, она так простодушно просила пожалеть ее, что я поистине был обезоружен и ни слова не мог найти в ответ.

Знал бы ты, как она меня утешала, ибо она видела, как я задыхаюсь, в каком я был ужасном состоянии после того, как она мне сказала: я люблю Вас так, как никогда не любила, но никогда ничего не требуйте от меня, кроме моего сердца, потому что все другое принадлежит не мне, и я не могу быть счастлива иначе, как выполняя то, что мне велит долг, пощадите меня и любите меня всегда так, как любите сейчас, и да будет Вам наградой моя любовь.

Ты понимаешь, я готов был пасть к ее ногам и лобызать их, когда был бы один, и, уверяю тебя, с этого дня моя любовь стала еще сильнее, только теперь я люблю ее иначе, я благоговею, я почитаю ее, как почитают того, с кем ты связан всем своим существованием.

Но прости, дражайший друг, что письмо свое я начинаю с разговора о ней, но она и я нечто единое, и, говоря о ней, я говорю о себе, а ты во всех своих письмах коришь меня, что я недостаточно подробно о себе пишу.

А я, как уже говорил, чувствую себя лучше, гораздо

лучше, я, слава Богу, вновь начал свободно дышать, ведь это же была просто невыносимая пытка — выглядеть оживленным, веселым на людях, перед теми, кто видит тебя ежедневно, в то время как душа твоя полна отчаяния,— ужасное положение, которого я и врагу не пожелаю».

Можно без преувеличения сказать, письма Дантеса, если в них говорится о Наталье Николаевне Пушкиной, самый тягостный обвинительный документ для нее.

М. А. Цявловский так комментировал свою публикацию: «В двух неотосланных ноябрьских письмах, а также в своем знаменитом письме от 25 января 1837 года к Геккерну, послужившему поводом к роковой дуэли, Пушкин между прочим писал о «великой и возвышенной страсти» (*cette grande et sublime passion*) Дантеса к Наталье Николаевне. Теперь эти слова имеют документальное подтверждение. В искренности, глубине чувства Дантеса к Наталье Николаевне на основании приведенных писем, конечно, нельзя сомневаться».

В первой главе я приводил подобное же мнение Берберовой.

Бесспорно, называя страсть Дантеса «великой и возвышенной», Пушкин вкладывал в эти слова злую иронию. Не мог он так высоко оценивать настойчивые ухаживания кавалергарда. В последнее время появились исследователи, которые стали отмечать несоответствия многих фактов, сообщенных Дантесом в приведенных письмах, тому, что известно о Натали. Вернемся к текстам.

...Итак, Дантес сообщил Геккерну сведения о своей «новой страсти». Зашифровывая, уточняя и педалируя, он сумел передать «старому барону» имя любимой женщины, чрезвычайно, конечно же, тайное. Во втором письме, от 14 февраля 1836 года, Дантес пишет Геккерну уже так, словно эта женщина хорошо известна его «дражайшему другу». Изучавшие письма в этих намеках Дантеса признали Натали: «Припомни самое очаровательное создание в Петербурге...» и «Муж безобразно ревнив...» (письмо от 20 января 1836 года), «Эта женщина, которую считают не очень умной» (письмо от 14 февраля 1836 года).

И все.

Впрочем, Натали действительно красива, а муж ее

ревнив. Только достаточно ли этих «опознавательных намеков» Геккерну? Разве мало в Петербурге самых «очаровательных» дам? Разве бы их мужья остались безразличными к ухаживаниям блестящего кавалергарда? Кстати, в мае 1835 года, когда старый барон покинул Петербург, о ревнивом характере Пушкина еще не шло разговоров. Ахматова предполагает, что об этом Дантесу рассказала Натали, но что тогда могли дать Геккерну не объясненные Дантесом намеки?

В конце мая 1835 года Наталья Николаевна родила сына и долго не появлялась в свете, таким образом, ко времени январского письма Геккерн не мог слышать о Пушкиной около года. Нельзя забывать и о другом: письма Дантеса написаны в январе и феврале, когда Наталья Николаевна снова была на шестом месяце беременности. Ахматова пишет, что Наталья Николаевна, по всей вероятности, «последние два месяца в свете не появлялась».

Я посмотрел записи камер-фурьерского журнала с ноября 1835 года по июнь 1836-го. Последний раз на дворцовом приеме «камер-юнкер Пушкин с супругою, урожденной Гончаровой» упоминается только 27 декабря 1835 года, в дальнейшем имя Пушкина не встречается. Приглашали во дворец по «списку», и в этот последний для Пушкиных прием Дантес приглашен не был. Единственное совпадение приглашений было 24 ноября, в день тезоименитства великой княжны Екатерины Михайловны.

Конечно, в эти же месяцы в Петербурге было бесчисленное количество балов, но Наталья Николаевна, вероятно, появлялась на них не часто, так как уже в конце ноября ее беременность протекала тяжело, с явлениями токсикоза. Ценным свидетельством тому является письмо Александрины брату от 1 декабря 1835 года, то есть за полтора-два месяца до публикуемых писем Дантеса:

«...послезавтра у нас будет большая карусель: молодые люди самые модные и молодые особы самые красивые и самые очаровательные. Хочешь знать, кто это? Я тебе их назову. Начнем с дам, это вежливее. Прежде всего, твои две прекрасные сестрицы или две сестрицы красавицы, потому что третья... кое-как *ковыляет*, затем Мария Вяземская и Софи Карамзина; Валуев — примерный молодой человек, Дантес — кавалергард, А. Го-

лицын — артиллерист, А. Карамзин — артиллерист; это будет просто красота».

«Кое-как ковыляет» относится к беременной, чувствующей себя худо Наталье Николаевне. «Карусель», то есть конные состязания, естественно, не для нее. Что касается упоминаемого в письмах «не слишком» большого ума дамы, то и это качество далеко не индивидуальное. И хотя такое мнение о Натали бытовало в свете, оно никак не может быть решающим. К этому мы еще вернемся.

Поищем признаки, которые могли бы с большей определенностью сообщить Геккерну единственное имя женщины.

В первом письме от 20 января 1836 года имеется многозначная фраза, которая, конечно же, и является *кодовой* для Геккерна:

«... (elle porte le même nom que la dame qui t'écrivait à mon sujet qu'elle était au désespoir mais que, la peste et la famine avaient ruiné ses villages); tu dois comprendre maintenant s'il est possible de perdre la raison pour une pareille créature, surtout lorsqu'elle vous aime!»

Фраза по-разному переводится М. А. Цявловским и А. Л. Андрес.

Привожу перевод М. А. Цявловского: «... (она носит то же имя, как та дама, которая писала тебе обо мне, что она была в отчаянии, потому что чума и голод разорили ее деревни); ты должен теперь понять, что можно потерять рассудок от подобного существа, особенно когда она тебя любит».

А. Л. Андрес считает, что «elle porte le même nom» скорее может означать «она носит то же родовое имя», то есть фамилию, ибо в отношении «крестного имени», вероятно, было бы сказано «elle s'appelle».

Впрочем, дело не только в этом. Сама фраза переведена неверно. В оригинале нет никакого «потому что», а есть «но» («mais»), так что причинной связи между «отчаянием» и «разорением» здесь нет, да нет и никакого «отчаяния», так как «je suis au désespoir» обычная, обиходная формула, означающая: «мне очень жаль, но...»

И звучит эта фраза так:

«...она носит ту же фамилию (у нее та же фамилия), что та дама (что у той дамы), которая писала тебе по поводу меня, что ей очень жаль, но мор и голод разорили ее деревни».

Выходит, «дама» была расстроена не тем, что мор и голод разорили ее деревни, а ей просто было очень жаль, что по этой причине пришлось, по-видимому, отказывать Геккерну в какой-то просьбе, касающейся Дантеса, возможно, дать взаймы. Значит, следуя логике письма, в свете должны были существовать две дамы с одной фамилией.

Допустим, одну даму, хорошо известную Геккерну, — это ей он писал о необходимости займа, и она вынужденно из-за мора и голода ему отказала, — зовут Пушкина, и тогда старый барон, читая письмо Жоржа, мог бы мгновенно понять, что Дантес имеет в виду другую Пушкину, жену поэта, человека не близкого барону, но известную своей красотой и, как сплетничали в свете, не очень-то умную.

Нужно сказать, что еще известна графиня Эмилия Карловна Мусина-Пушкина, которую чаще называли «графиней Пушкиной», «финляндкой», — жена генерала В. А. Мусина-Пушкина, «сиятельного Пушкина», как его называл А. Я. Булгаков. Может быть, это ее имел в виду Дантес?

Вряд ли. Да и не страдали обширные поместья Эмилии Карловны от эпидемий.

В 1981 году в журнале «Вопросы литературы» В. Сайтанов, допуская возможную неточность перевода М. Цявловского, предложил в кандидаты Наталью Кочубей-Строганову, жену графа А. Г. Строганова, сводного брата Полетики.

Действительно, поместья отца Н. Строгановой — В. Кочубея — в 1831—1832 годах серьезно пострадали от эпидемии.

«Кочубей и Нессельроде, — записал Пушкин в дневнике 14 декабря 1833 года, — получили по двести тысяч на прокормление своих голодных крестьян. Эти четыре-ста тысяч останутся в их карманах. В обществе ропщут, а у Нессельроде и Кочубей будут балы (что также есть способ льстить двору)».

В 1836 году ни о каком разорении Кочубея уже разговора не было. Но, кроме того, графиня Н. В. Строганова была давно полноправным членом другого богатейшего семейства, во главе которого стоял обер-шенк граф Григорий Строганов.

Геккерт не только дружил со Строгановыми, но как посол не стал бы, да и не мог «ронять себя» на таком уровне с личной просьбой, отказа в которой, конечно же,

не могло быть. Любая просьба к Строгановым переходила из личной в разряд официальной.

Нет, не о Э. К. Мусиной-Пушкиной, не о Н. В. Кочубей писал Дантес. Геккерн должен был обращаться к лицу менее известному и неофициальному.

Предположим иное: а что, если и та дама, которая писала Геккерну, и та дама, в которую Дантес был «безумно» влюблен,— одно лицо?

«Старый барон», читая о даме, которая писала ему, и хорошо ее зная, сразу же поймет, что другой дамы с такой фамилией не существует, и мгновенно сообразит, о ком идет речь. Тем более что в следующей фразе звучит категорическое утверждение: «Теперь ты понимаешь, что от такой женщины можно потерять голову, особенно если она тебя любит». Если все это так и Дантес предполагал Наталью Николаевну, то тогда именно Наталья Николаевна писала Геккерну, отказывала ему в займе и у нее в псковских или калужских землях мор и голод разорили деревни.

Ничего этого не было. Наталья Николаевна никогда не состояла и не могла состоять в переписке с бароном, да и не была с ним близко знакома, а поветрия, как известно, не коснулись ее деревень.

Существует еще момент, который стоит проверить: так ли был осторожен Дантес в своих отношениях с Натальей Николаевной Пушкиной? Напомню его письма 1836 года:

«...ради Бога, ни слова никому, и не вздумай кого-либо расспрашивать, за кем я ухаживаю, не то, сам того не желая, ты можешь ее погубить, и тогда я буду безутешен...»

«Это ужасно — любить и не иметь возможности сказать об этом друг другу иначе, как между двумя ригурнелями в контрдансе».

«...не беспокойся, я веду себя благоразумно и был до сих пор столь осторожен, что тайна эта известна только мне и ей».

«...ни слова Брожу (Бражу?), ведь он переписывается с Петербургом, и достаточно малейшего упоминания в письме к его супруге, чтобы мы оба погибли».

А как же сохранилась эта «тайна» в свете?

«На балу у княгини Бутера,— записывает в своем дневнике фрейлина М. К. Мердер 5 февраля 1836 го-

да,— в толпе я заметила Дантеса, он меня не видел. Возможно, впрочем, что просто ему было не до того. Мне казалось, что глаза его выражали тревогу, он искал кого-то взглядом и внезапно, устремившись к одной из дверей, исчез в соседней зале. Через минуту он появился вновь, но уже под руку с госпожой Пушкиной. До моего слуха долетело:

— Уехать — думаете ли вы об этом — я этому не верю — вы этого не намеревались сделать...

Побыв на балу не более получаса, мы направились к выходу: барон танцевал мазурку с госпожою Пушкиной. Как счастливы они казались в ту минуту!»

Оговорюсь, это единственное свидетельство ухаживания Дантеса в феврале 1836 года, все остальные написаны позднее. Однако в сумме своей они характеризуют поведение Дантеса в течение последнего года достаточно ярко.

«Вскоре Дантес, забывая всякую деликатность благородного человека, нарушая все светские приличия, обнаружил в глазах у всего общества проявления восхищения, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине,— записала Дарья Федоровна Фикельмон в своем дневнике 29 января 1837 года.— Казалось при этом, что она бледнеет и трепещет под его взглядом, но было очевидно, что она совершенно потеряла способность обуздать этого человека и он был решителен в намерении довести все до крайности!»

«Он (Дантес.— С. Л.) не переставал волочиться за своею свояченицей, он откинул даже всякую осторожность, и казалось иногда, что он насмехается над ревностью не примирившегося с ним мужа. На балах он танцевал и любезничал с Натальей Николаевной, за ужином пил за ее здоровье,— словом, довел до того, что все снова стали говорить про его любовь». (Н. М. Смирнов).

«Ну что,— обратился Пушкин к Россету,— вы были в гостини: он уже там, возле моей жены?» (П. И. Бартенов со слов А. О. Россета).

«Разговор наш продолжался долго <...> Я заговорил о жене его [Пушкина]: „Дорогой мой, это кривляка“» (В. А. Соллогуб о разговоре с Дантесом).

Чрезвычайно ценно свидетельство Софьи Карамзиной в письме к Андрею от 8 июля 1836 года.

В кругу Карамзиных еще не появилась после родов Наталья Николаевна; Пушкины не бывают ни в Цар-

ском Селе, ни в Красном Селе, нет их на традиционном петергофском празднике 1 июля, о котором подробнейшим образом сообщает Софи. Карамзина перечисляет всех, с кем ей пришлось встретиться, поболтать, даже затянуть к себе домой выпить чаю. Дантеса она встречает дважды, очень ему рада. Наталья Николаевна в это же время живет на Каменном острове на даче.

Прочитаем запись Софьи Карамзиной,— этот отрывок в книге «Пушкин в письмах Карамзинных» был переведен не совсем удачно. Приведу его в переводе А. Л. Андрес:

«Потом мы все вместе отправились выпить чаю,— чашек и стульев с грехом пополам хватило только для половины,— и в одиннадцать вечера отправились в путь. Я шла под руку с Дантесом, который меня очень развлекал своими дурачествами, своей веселостью и даже приступами чувств, которые также весьма смешны (по-прежнему к прекрасной Натали)».

Через два с половиной месяца, 18/30 октября 1836 года, С. Н. Карамзина отметит в своих письмах не менее любопытное: «Мы вернулись к нашему городскому образу жизни, возобновились наши вечера, на которых с первого же дня заняли свои привычные места Натали Пушкина и Дантес...»

А вот еще один не до конца оцененный документ — письмо от 14/26 марта 1887 года, написанное бароном Густавом Фризенгофом, мужем Александры Николаевны, с ее слов и посланное А. П. Араповой. «Он (Дантес.— С. Л.) оказывал внимание исключительно Вашей матери, пожирал ее глазами, даже когда он с ней не говорил; это было ухаживание более афишированное, чем это принято обыкновенно».

Это до ноября 1836 года. Дальше Фризенгоф записывает слова Александры Николаевны о поведении Дантеса после свадьбы:

«Дом (Пушкиных.— С. Л.) оставался закрытым для Геккерн и после брака, и жена его также не появлялась здесь... Но они встречались в свете, и там Геккерн продолжал демонстративно восхищаться своей невесткой, он мало говорил с ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Геккерн намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что, если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого».

Как все противоречиво! С одной стороны, боязнь даже намек в письме на подлинное имя, ответственность за честь любимой, замужней женщины, благородие и глубокая тайна, с другой — разнузданность, наглость, кривляние, ухарство, этакie развеселые остроты для потехи общества еще в июле 1836 года *«по-прежнему к прекрасной Натали»*.

Конечно, полярные факты были замечены исследователями. Н. А. Раевский в книге «Портреты заговорили» так объяснял письма к Геккерну: «Дантесу только казалось, что он осторожен, в то время как в свете говорят о его влюбленности». Раевский полностью согласен с Цявловским, что «виновность Натали после публикации двух писем Дантеса доказана *бесспорно*».

И. Ободовская и М. Дементьев, наоборот, усомнились в искренности Дантеса. «Другим документом, — писали они, — $\langle \dots \rangle$ были письма Дантеса к Геккерну, в которых он говорил, что Наталья Николаевна якобы любит его. Письмам этим вряд ли можно доверять... Скажем только, что нескромность их, нарочитость бросаются в глаза с первого взгляда... Можно предположить, что письма Дантеса написаны много лет позднее и оставлены им среди бумаг „для оправдания перед потомством“».

Увы! К великому сожалению, надежды авторов нескольких книг о Наталье Николаевне не подтверждаются фактом: письма Дантеса находятся в том же альбоме, о котором я упоминал.

И все же — почему столько несоответствий?

В 1937 году Б. В. Казанский высказал предположение, которое позднее Э. Герштейн назвала «абстрактным», о притворстве Дантеса. Казанский считал, что Дантес умышленно компрометировал Наталью Николаевну. Любопытна запись А. Карамзина: «Он меня обманул красивыми словами и заставил меня видеть самоотвержение там, где была лишь гнусная интрига».

Действительно, не может ли в письмах Дантеса от 20 января и 14 февраля 1836 года идти речь о совсем другой женщине, даме высшего света, связь с которой была бы еще губительнее для обоих?

«Круг» Дантеса теперь нам известен. «Тайна» повеления Идалии Полетики, многолетняя ее «патологиче-

ская» ненависть к Пушкину, признания в письмах — не достаточно ли оснований для такого предположения?! О красоте Полетики есть немало живых свидетельств, но в первую очередь об этом говорит портрет, написанный Петром Соколовым, замечательным акварелистом, в начале тридцатых годов. Полетика, рыжеволосая красавица в горностаевом палантине, смотрит прямо на нас — оторваться от ее лица невозможно.

В декабре 1975 года в газете «Советская культура» промелькнуло сообщение об обнаруженных в Москве у потомков Бакуниных неизвестных портретах Полетики. Рассказ о поисках портретов мог бы стать самостоятельной главой, впрочем, важна конечная суть: портреты приобретены Калининским городским музеем, там и удалось мне их посмотреть.

Один портрет бесспорен ¹. Он датирован 1827 годом. На нем Идалия Полетика, девочка-подросток лет пятнадцати, со своей матерью Юлией Павловной Строгановой. Мать сидит вполоборота, приподняв голову смотрит на свою дочь, ангела с розовыми пухлыми щеками.

Если уж говорить о возможной гибели от ревности мужа (да только ли от ревности, а беспощадный кодекс дворянской и офицерской чести?!), то такая опасность была очевидной. Муж Идалии, штаб-ротмистр А. М. Полетика, был товарищем по полку, старшим офицером. Чем же, кроме оскорбительного позора, могло кончиться для Идалии даже подозрение в адюльтере? Стоит ли сомневаться в единственном дуэльном исходе для Жоржа?!

Кстати, в 1836 году случился трагический эпизод, связанный с именем Идалии Полетики. История эта широко обсуждалась светским обществом и, вероятно, основательно перепугала «левую» дочь Строганова.

Влюбленный в Идалию кавалергардский поручик Петр Яковлевич Савельев, вспыльчивый, искренний человек, взбешенный шуткой генерала Грюнвальда, командира кавалергардского полка, неуважительно отозвавшегося об Идалии Полетике, накинул генералу на шею «снурок от пистолета» и... затянул его.

Второй подобный инцидент оказался бы для Идалии более чем нежелательным. Вот что писал Пушкин жене: «Что Москва говорит о Петербурге, так это умора.

¹ Имеются еще три акварели, помеченные «Идалия Полетика», 1848 г. Скорее всего, это ее дочь Елизавета, 1832 г. рождения. Впрочем, портреты требуют дополнительной экспертизы.

Например, есть у вас некто Савельев, кавалергард, прекрасный молодой человек, влюблен в Идалию Полетику и дал за нее пощечину Грюнвальду. Савельев на днях будет расстрелян. Вообрази, как жалка Идалия!»

Расстрелян Савельев не был, его перевели в армию и сослали на Кавказ, однако пятно скандала лежало на Полетике.

Стоит обратить внимание на одно высказывание в письме Дантеса:

«...я несколько спокойнее с тех пор, как уже не вижу ее каждый день и всякий уже не вправе брать ее за руку, касаться ее талии, танцевать и беседовать с ней так же, как и я, но другим это было бы просто, потому что у них более спокойная совесть...»

Логика Дантеса, мне кажется, понятна: видеть и не только не обладать, но и не сметь приблизиться к любимой, боясь скомпрометировать,— это мука. Легче не видеть ее так часто, не завидовать другим, кому скрывать и таиться не для чего, у кого «более спокойная совесть».

Значит, по отношению к одной даме Дантес постоянно делает «непринужденный вид», и это для него непросто, по отношению к другой нарушает светские приличия, доводит «до крайности», как писала Дарья Федоровна Фикельмон. И, наконец, последнее, что сообщает Дантес Геккерну,— «эта женщина, которую считают не очень умной», фраза, которая, казалось бы, не может относиться к Полетике.

Учтем это несоответствие и попробуем поискать другие возможности в письме, чтобы выяснить, кто же была женщина, которую так полюбил Дантес.

Вернемся к фразе, при помощи которой Дантес сообщил Геккерну, кого же он имеет в виду: «Она носит ту же фамилию, что та дама, которая писала тебе по поводу меня...»

Отнесем эти слова к Идалии Полетике, выяснив вначале, не было ли в свете еще дамы с такой фамилией.

Просматривая воспоминания современников, дневники, исследования о пушкинском окружении, можно определенно сказать — второй не было. Казалось бы, подозрение с Полетики можно снять? Но если предположить (а это возможно!), что Дантес с помощью двойного шифра сообщил единственное имя, потому что второй Полетики не существовало, если предположить, что единственная Полетика и переписывалась с Геккерном,

сожалея, что вынуждена отказать в займе старому барону для Дантеса, так как сама в тот момент испытывала денежные затруднения, если все это допустить, то отчего же не представить очевидное: Геккерн, прочитав многозначительную фразу Дантеса, мгновенно понял — речь идет об одном человеке, другого попросту нет, — и, поняв это, ужаснулся: любовь Дантеса и жены штаб-ротмистра, которую Дантес умолял «нарушить супружеский долг», — может ли быть опасность страшнее?!

«Теперь ты понимаешь, — заканчивает Дантес мысль, будучи уверенным, что Геккерн знает, о ком речь, — что от такой женщины можно потерять голову, особенно если она тебя любит».

В своей переписке с Клодом я попытался узнать, не существует ли в семейном архиве Геккернов писем Идалии Полетики к «старому барону» в Париж в период с мая 1835 года по январь 1836 года и не существует ли в этой переписке конкретного письма Полетики, в котором она вынужденно отказывает Геккерну в займе для Дантеса, объясняя свой отказ денежными затруднениями — ее деревни пострадали от мора и голода. Что и говорить, обнаружение такого письма сделало бы предположения бесспорными.

Скажу сразу, единственного письма Полетики к Луи Геккерну я не получил. Как написал Клод, часть архива находится в руках семьи его брата, и ему не удастся все проверить.

Однако немаловажно знать, была ли вообще переписка Полетики и «старого барона».

В письме от 18/30 июля 1839 года Идалия сама сообщает об этом Екатерине:

«На первый взгляд я очень виновата перед Вами, добрый мой друг, а между тем это вовсе не так, ибо не проходит дня, чтобы я не вспомнила о Вас и жалела о Вас, но у меня было столько горя с того времени, как я ответила старому барону (подчеркнуто Полетикой. — С. Л.), раз уж Вы называете его старым, — на его письмо. Я имела несчастье потерять еще одного ребенка трех лет в прошлом году, и этот удар меня сразил».

Дочь Полетики умерла в 1838 году, Геккерн и Полетика переписывались, вероятно, в конце 1837 года. Если переписка была в это время, несомненно, могла быть и раньше: Знакомство Полетики и Геккернов началось с 1834 года, когда Жорж попал в полк, любовь — с января 1836 года. Следовательно, «дама», о которой

сообщает Дантес, писавшая Геккерну «по поводу» Жоржа в 1835 году, вполне могла быть Италией.

Во второй части фразы есть другая крайне важная для Геккерна информация. «Мор и голод,— сообщает Дантес,— разорили ее деревни».

М. А. Цявловский перевел слово *la peste* — чума, но слово это многозначно, оно имеет синонимы — мор, поветрие, язва, бедствие.

Исследуя эпидемическую карту России тех лет, я отметил отсутствие чумных эпидемий. Холера в России была болезнью новой, первые случаи ее описаны в начале тридцатых годов, новая страшная эпидемия часто называлась чумой.

В «Сборнике биографий кавалергардов» сказано, что Александр Михайлович Полетика «имел в Тамбовском уезде при селе Столовом четыреста душ». Уточню: «четыреста душ при селе Столовом» (неофициальное название Александровка) не обязательно одна деревня, а возможно, и несколько деревень с единой барской усадьбой. Такое объединение деревень под общим названием было обычным.

О жизни Полетик в Тамбове есть и другие более поздние упоминания, например записки графа М. Д. Бутурлина в пятидесятые годы.

А теперь свидетельства иного характера:

«Холера подкрадывалась к Тамбову медленно, сперва проникая в ближайшие к городу села,— писал С. Гессен, известный исследователь холерных бунтов в России в 1830—1832 годах.— Третьего сентября она появилась в тридцати верстах от Тамбова, в селе Рассказове, а вслед за тем и в селе Никольском...»

«Крестьяне шли по дорогам и кричали: „Мор! Мор!“»

«В январе 1831 года эпидемия достигла своего высшего развития, и в Тамбове стало не хватать гробов для покойников»,— записывал И. Якунин о холере в Тамбове по свидетельствам очевидцев.

Село Рассказово (владение Полторацких) находилось в восьми верстах от села Столового (владение Полетики), границы поместий были общими. В «Историко-статистическом описании Тамбовской епархии» сказано, что крестьяне села Столового пользовались приходом, больницей и базаром села Рассказова.

В это время в Тамбове и в Никольском вспыхивают крестьянские восстания, подавленные регулярными вой-

сками: «Две тысячи николевских крестьян с вилами, косами, топорами, шедшие на помощь тамбовским бунтовщикам, были задержаны в четырех верстах от Астраханской заставы и не успели к месту действия» (С. Гесен).

Дорога от Николева к Тамбову проходит через село Столовое. Таким образом, мы можем с полным правом сказать, что холера началась именно здесь, в поместьях Полторацкого и Полетики; здесь были наибольшие жертвы и разрушения. Вот почему в 1831 году, находясь в польском походе, казалось бы не такой уж бедный помещик А. М. Полетика, как записывает П. И. Бартев, вынужден был «живиться за счет Шереметева».

В Историческом архиве мне попала не подписанная записка, характеризующая Александра Полетику:

«Полетика Александр, женатый на сестре графа Строганова, товарища графа Дмитрия Николаевича Шереметева по полку. В походах 1830 года (по формулярному списку Полетика был в походе с марта по ноябрь 1831 года.— С. Л.) променял ему свою походную кровать на постоянные кровати».

В той же папке оказалось долговое письмо Александра Полетики к графу Дмитрию Николаевичу Шереметеву, к сожалению, не датированное. В письме Полетика вспоминает давнюю дружбу с графом, просит три тысячи на два года. «Не откажите старому приятелю,— умоляет Полетика,— который никогда не забывает, что вы его спасли».

А. С. Пушкин в своем дневнике за 1833—1835 годы трижды упоминает голод в России в результате тяжелой неурожая.

В тягостную осень 1833 года высший круг Петербурга буквально взбудоражило неожиданное новшество в дворцовом этикете: вводились форменные костюмы для фрейлин и придворных дам, иначе «дамские мундиры — бархатные, расшитые золотом», как записал А. Я. Булгаков. Чуткий Пушкин с горечью отмечает: «И это... в настоящее время, бедное и бедственное». 14 декабря 1833 года Пушкин вспоминает о недороде в стране. 17 марта 1834 года Пушкин снова записывает: «Много говорят о бале, который должно дать дворян-

ство по случаю совершеннолетия Г. Наследника... Вероятно, купечество даст также свой бал. Праздников будет на полмиллиона. Что скажет народ, умирающий с голода?»

Нас, естественно, интересует, коснулось ли «бедное и бедственное время» Тамбовской губернии.

А. С. Ермолов в своей книге «Наши неурожай и продовольственный вопрос», вышедшей в Петербурге в 1909 году, пишет:

«По цензурным условиям того времени литература сохранила немного данных о размерах бедствия, которое претерпевалось населением вследствие неурожая 1833 года... Однако можно о них судить по данным о продажных ценах на хлеб, которые повысились в семь и в десять раз против нормальных. Так, я могу отметить, что в губ. Тамбовской, вместо обычной средней цены четверти ржи в четыре рубля, цена возросла до 27 рублей за четверть... Очевидно, что покупать хлеб по таким ценам сельским обывателям было совершенно не под силу, и положение... представлялось совершенно отчаянным».

Таким образом, слова «дамы» о «море и голоде», разоривших деревни, можно читать буквально.

Невольно возникает вопрос: почему Геккерн выбрал для денежного займа товарища Дантеса по полку, штаб-ротмистра Полетику?

Я уже писал, что Геккерна окружало множество чрезвычайно богатых знакомых, однако должность посла обязывала ко многому. За помощью Геккерн мог обращаться только к неофициальным лицам. Полетики — близкие друзья Дантеса. Истинного их имущественного положения Геккерн знать не мог. Будучи незаконнорожденной дочерью Строганова, Идалия не была приближена ко двору, следовательно, обращение за помощью к ней никем превратно истолковано быть не могло. Кроме того, одалживать у товарища по полку было не только *приличным*, но и обычным.

Должен сказать, что при первой публикации этой главы я допустил ошибку, сказав, что Дантес был подчиненным Полетики, служил у него в эскадроне. Это не так. Штаб-ротмистр Полетика не был командиром Дантеса. Правильное замечание критиков о том, что обращение за денежным долгом младшего офицера к собственному командиру попросту невозможно, отпало само собой.

Было и еще замечание: возрастная разница Дантеса (25 лет) и Полетики (37 лет) будто бы делала, утверждаемую мной, их дружбу сомнительной.

Но, во-первых, я нигде не пишу о дружбе мужчин; разговор идет об особом расположении к Жоржу Идали, муж обычно сопровождает ее. Что касается восприятия Екатерины и «старого барона», то действительно в своих письмах Жоржу в Тильзит, которые я приведу дальше, они одинаково говорят об особом дружественном расположении, даже более чем дружественном, почти родственном, «мужа и жены».

Что же касается «долга», то нельзя упускать и того обстоятельства, что к А. М. Полетике, если речь идет о Полетике, обращался не Жорж, а «старый барон», живший в тот период в Париже.

И все же, отчего отказом ответила Идалия, а не сам Александр Михайлович?

Дело в том, что письмо Геккерна могло прийти только летом или осенью 1836 года, когда кавалергарды находились на маневрах вне Петербурга. Отсутствие Полетики в столице давало право Идалии ответить барону до возвращения полка, что не только смягчало форму отказа, но и сохраняло достоинство мужа.

Клод в одном из писем так характеризовал финансовое положение Дантеса: «У Жоржа не было никакого личного состояния. Геккерн по договоренности с Конрадом Дантесом обеспечивал материальную сторону Жоржа в полку и вне оно. Мой предок Конрад не мог бы выдержать подобных расходов. Без покровительства Геккерна у Жоржа не было бы даже необходимого минимума, который бы позволил ему появляться в свете и при дворе. <...> Барон был человеком со слишком практическим умом».

В письме от 20 января 1836 года Труайя не сумел прочесть фамилию человека, которого особенно опасается сверхосторожный Дантес. «Ни слова Брожу (Бражу?)», — предупреждает он:

Л. А. Черейский, автор книги «Пушкин и его окружение», в разговоре со мной высказал предположение, что Труайя допустил ошибку: дело идет о графе Борхе.

Мое предположение, что в Париже находился дипломат-камергер А. М. Борх, архивными документами не подтвердилось. Оставался брат А. М. Борха — Иосиф Борх, протолист-переводчик коллегии министерства иностранных дел. К сожалению, командировки в Париж

И. Борха в начале 1836 года обнаружить пока не удалось, однако более поздние свидетельства о пребывании Борха за границей известны. «В последнее воскресенье,— писал А. Карамзин летом 1837 года,— я ездил верхом с графиней Борх... Муж, ехавший с нами в коляске... вынужден был воротиться... Кислая фигура de se vilain avorton de mari наводила уныние на все общество».

Упоминаются в этой прогулке и Жорж Дантес, и Луи Геккерн.

Графиня Любовь Борх была женщиной, как говорится, легкого нрава. Известно ироническое замечание Пушкина, встретившего чету Борх по дороге на Черную речку. «Вот две образцовых семьи,— сказал он Дантесу,— ведь жена живет с кучером, а муж — с фореитором».

Avorton de mari — муж-выродок, рогоносец, живущий с фореитором.

В этом смысле забавен поздний документ, найденный мною в архиве: усыновление глубоким стариком И. Борхом поручика Станислава, будто бы незаконнорожденного сына (история такая же, как и с Дантесом!), и ходатайство Борха о пожаловании Станиславу графского титула. Таким образом, Борх не просто светский знакомый Геккерна — он его «брат». Вероятно, общение между Геккерном и Борхом было самое тесное, и Дантес мог видеть в этом контакте особую для себя опасность.

Невольно вспоминается еще один почти мистический факт. Пасквиль, полученный Пушкиным, был подписан «несменным секретарем ордена рогоносцев графом И. Борхом». Это случилось через десять месяцев после того, как Жорж Дантес в письме Геккерну посоветовал особенно остерегаться этого человека.

Перечитаем зашифрованный Дантесом отрывок, восстановив его смысл: «...тайна известна только мне и ей (она носит ту же фамилию, что та дама, которая писала тебе по поводу меня, что ей очень жаль, но мор и голод разорили ее деревни); теперь ты понимаешь, что от такой женщины можно потерять голову, особенно если она тебя любит!»

Еще раз — ни слова Борху (?), ведь он переписывается с Петербургом, и достаточно малейшего упоминания в письме к его супруге, чтобы мы оба погибли».

Статья М. А. Цявловского в «Звеньях» содержала не только категорическую оценку по поводу бесспорной «искренности и глубины чувства» Дантеса, но и касалась отношения к Дантесу Натальи Николаевны Пушкиной. М. А. Цявловский писал: «Ответное чувство Натальи Николаевны к Дантесу тоже теперь не может подвергаться никакому сомнению. То, что биографы Пушкина высказывали как предположение, теперь несомненный факт».

К сожалению, предположения «биографов», комментировавших опубликованные письма, шли подчас еще дальше. Даже такой серьезный исследователь, как Л. Гроссман, косвенную речь Дантеса перевел в прямую речь Натальи Николаевны. «На одном из зимних балов 1836 года состоялось «между двумя ригурнелями кадрили» решительное объяснение между Пушкиной и Дантесом», — писал Гроссман. И дальше: «Как оказывается, Наталья Николаевна заявила Дантесу: „Я люблю вас так, как еще в жизни не любила“».

Вопрос исчерпан, сомнений, по мнению исследователя, быть не должно. Однако если мы на основании всех предыдущих фактов допустили, что Дантес говорил Геккерну совсем о другой «даме», гораздо более знакомой «старому барону», чем Наталья Николаевна Пушкина, а значит, и легко узнаваемой, то как же назвать бесспорное ухаживание Дантеса за Натали? Неужели это розыгрыш?! Желание дискредитировать одну, чтобы отвести возможное подозрение от другой? Иначе неужели Дантес позволял себе издевательское преследование, «для потехи» общества, «прекрасной Натали», как писала Софи Карамзина, только для того, чтобы отвести подозрение от любимой «дамы»?!

В первом письме Дантеса есть фраза, которая как бы противоречит тому, что мы знаем об Идалии Полетике: «Эта женщина, — сообщает Дантес, — которую считают не слишком умной».

Впрочем, так ли уж противоречит?

Отношение света к Полетике в 1836 году попросту неизвестно, сообщения о ней появились позднее. Все известное нам говорит скорее о характере, о манере жить и думать, чем о заметном уме. Ведь гладкость и ловкость слога, недоброжелательство и злоязычие могут прекрасно уживаться (тем более у светской дамы) с ограниченностью. Но, может быть, ум Полетики как раз и сказался в ее интриге? Может, признаком ума «той

дамы» как раз и является разработанная ею (допустим!) компрометация простодушной приятельницы для прикрытия собственных действий?

Подобная история чрезвычайно банальна. Сюжет «ширмы» был широко известен в эти годы. Подобные ситуации, чуть варьируясь, игрались в бесконечных французских водевилях, наводнявших русскую сцену. В эти годы Лермонтов пишет «Княгиню Лиговскую», а с 1804 года в России читается вздохом роман Шодерло де Лакло «Опасные связи». Полетика была заядлая театралка. «Двор проведет октябрь и часть ноября в Москве,— писала она 3 октября 1837 года Дантесам.— Я в ожидании балов. У нас превосходные театры. Французская труппа очень хороша, благодаря господину и госпоже Аллан...»

Очень важно, мне кажется, появление слова «ширма» в высказываниях людей, так или иначе касавшихся дуэльных событий. Барон Фризенгоф, записывая рассказ Александрины, говорит, что Дантес хотел сделать из Екатерины «ширму». Ниже я приведу отрывок из его письма.

Еще более неожиданно звучит признание Александры Осиповны Смирновой-Россет, приведенное Б. Казанским еще в 1928 году в журнале «Звезда» № 1 и больше никем не цитированное: «Дантес никогда не был влюблен в Натали; он находил ее глупой и скучной. Он был влюблен в Италию и назначал ей свидания у Натали, которая служила им *ширмой* в продолжении двух лет. Ее дружбу с Натали и эту внезапную нежность никто не понимал, так как прежде она (Италия.— С. Л.) жестоко потешалась над нею». Как много тут сказано! «Глупа и скучна». Не это ли со слов Дантеса многократно повторяет его друг А. В. Трубецкой, квартировавший летом 1836 года вместе с Дантесом в одной избе в Новой Деревне? Или «жестоко потешалась». Разве не то же самое пишет Софья Карамзина брату, рассказывая о смешных «приступах чувств» Дантеса?!

«Балаганил» — так много лет спустя обозначил поведение молодого Геккерн П. П. Вяземский.

Не означает ли признание А. О. Смирновой-Россет, что слух о Полетике, о ее участии в розыгрыше, все же проник в ближайшую к Пушкиным среду?

Перечитаем второе письмо Дантеса, от 14 февраля 1836 года: «У нас с ней произошло объяснение... Речь шла не больше и не меньше, как о том, чтобы отказать

любимому и обожающему человеку нарушить свой супружеский долг...» и т. д.

Каждое слово этих писем противоречит всему, что мы знаем бесспорно. Где, когда мог позволить себе Дантес так говорить с Натали?! Любопытно, что в последующие годы Полетика (я еще вернусь к этому), компрометируя людей, близких к Пушкину, неоднократно будет пользоваться приемом «ширмы», как бы заимствованным из водевильной бульварщины, проявляя таким образом не столь остроту ума, сколь вопиющую, на мой взгляд, ординарность.

Почему Дантес, если мы согласимся, что он был влюблен в Идалию, женится на Екатерине, входит в семью Пушкиных?

Трусость отрицают все.

Существует несколько версий. Наиболее выгодная для Дантеса, возникшая в то время: он женится на Екатерине, чтобы оставаться рядом с Натали, «дышать с ней одним воздухом». Он, Дантес, совершает акт самопожертвования. Последние десятилетия повторяется версия Л. Гроссмана о беременности Екатерины до свадьбы, что будто бы и заставило Дантеса жениться. Есть письмо Луи Геккерна в Тильзит, где старый барон пишет об опасности выкидыша у Екатерины. Т. Цявловская оспаривает перевод слова *fausse-couche*, сделанный Щеголевым, считая, что точнее не «выкидыш», а «преждевременные роды».

Но какие же «преждевременные» в марте, если Матильда Дантес родилась 20 октября 1837 года? В марте беременность была два месяца. Опасность выкидыша у первородящей в эти сроки обычна. Интересно, что письма Полетики подтверждают и это событие. За две недели до родов, 3 октября 1837 года, осведомленная Полетика пишет Екатерине: «Вот уже приближается для Вас великий момент. Да поможет и защитит Вас Бог, друг мой».

Необъяснимость и полная неожиданность поступка Дантеса буквально поразила самых близких его знакомых, да и друзей Пушкина. «Вечером на бале у С. В. Салтыкова была объявлена свадьба,— вспоминал В. А. Соллогуб,— но Пушкин Дантесу не кланялся. Свадьбе он не верил...» «Тут что-то должно быть подозрительное,— писала отцу Ольга Сергеевна Пушки-

на, — какое-то недоразумение...» «У нас тут свадьба, — сообщала Е. А. Карамзина сыну. — Прямо невероятно...» «...Катрин от счастья не чувствует земли под ногами и, как она говорит, не смеет еще поверить, что все это не сон», — приписывает Софи Карамзина. «Не могу прийти в себя от свадьбы, — отвечает Андрей Карамзин 3 декабря 1836 года. — (<...>) Черт возьми, что все это значит? (<...>). Может быть, это было самоотвержение?».

В следующих письмах Карамзины несколько раз возвращаются к обсуждению невероятной свадьбы: «Начинаю с темы Дантеса: она была бы неисчерпаемой, если бы я принялась пересказывать тебе все, что говорят, но поскольку к этому нужно прибавить никто ничего не знает — я ограничусь сообщением, что свадьба совершенно серьезно состоится 10/22 января» (письмо С. Н. Карамзиной от 29 декабря 1836 г.). «Завтра, в воскресенье состоится эта удивительная свадьба (<...>). Пушкин проигрывает несколько пари, потому что он, извольте видеть, бился об заклад, что эта свадьба один обман и никогда не состоится. Все это по-прежнему странно и необъяснимо...» (письмо С. Н. Карамзиной от 9 января 1837 г.).

Итак, с одной стороны, полная неожиданность не только для Пушкина, но и для ближайшего к Пушкиным и к Дантесу окружения, а с другой — мгновенное, радостное согласие Екатерины, ее полная уверенность в искренности Дантеса. Почему? Не означает ли это, что существовало «третье лицо», посредник, доверенный человек, который заранее мог подготавливать Екатерину к такому шагу?

Знаменательно одно воспоминание Араповой: «Александра Николаевна рассказывала, что его (Дантеса. — С. Л.) осведомленность относительно их прогулок или выездов была прямо баснословна и служила темой постоянных шуток и догадок сестер.

Раз даже дошло до пари. Как-то утром пришла внезапно мысль поехать в театр. Достав ложу, Александра Николаевна заметила:

— На этот раз Геккерн не будет! Сам не догадается, а никто подсказать не может.

— А тем не менее мы его увидим! — возразила Екатерина Николаевна. — Всякий раз так бывает, давай держать пари!

И на самом деле, не успели мы занять места, как блестящий офицер, звеня шпорами, вошел в партер».

Очевидно, некто очень близкий к Екатерине держал связь с Дантесом, передавал ему все, что происходило в семье Пушкиных. Вероятно, это была Полетика. Но тогда, если предположить, что Идалия была тайной свахой Екатерины и Дантеса, почему все же ее, Полетику, могла устроить эта свадьба? Не оттого ли, что жертвенность Дантеса сулила ей немалые выгоды: сохраняла Идалию (близкой подруге Екатерины) Жоржа, делала их частое общение фактически легальным. Не потому ли согласился Дантес на брак с Екатериной, что именно таким путем он мог сохранить для себя Полетику? Если говорить о «методе» нового обмана, то он прежний, только обманутой в данном случае оказывается Екатерина. «Молодой Геккерн принялся тогда притворно ухаживать за своей будущей женою, вашей теткой Екатериной,— писал Араповой барон Густав Фризенгоф,— он хотел сделать из нее ширму, за которой он достиг бы своих целей».

И в самом деле: не конкурентка Полетике, некрасивая, немолодая Екатерина (ей шел двадцать девятый год, а не двадцать шесть, как записано в брачном документе) благодарно откроет свой дом ближайшей подруге. Да и кто теперь может стать ей (это видно из писем) ближе благодетельствовавшей ее Идалией?!

Оговорюсь,— мне не хотелось бы упрощать мысль. Женитьба на Екатерине «устроивала» не только Полетику, но и все семейство Геккернов, несло каждому выгоды. Дантес выигрывал во мнении общества, «пожертвовав» собою во имя «возвышенной любви» к Натали. Пушкин, поставленный перед фактом женитьбы на свояченице, должен был отказаться от вызова, что сохраняло желанную службу Луи Геккерну. Опытный дипломат понимал возможные последствия дуэли для него самого.

Да, нужно признать, женитьба — ход действительно остроумный и ловкий! Ни Полетика, ни Жорж не могли бы так рассчитать эту партию. В шахматном гамбите, который они разыгрывали, чувствуется рука высочайшего мастера интриги Луи Геккерна.

В 1963 году в Париже были изданы — в русском переводе — записки дочери Николая I Ольги Николаевны, опубликованные раньше на немецком языке. Двойной перевод был настолько неточен, что привел

к многим сенсационным «открытиям». Недавно праправнук Пушкина Г. М. Воронцов-Вельяминов опубликовал подлинный текст мемуаров (вместе с факсимиле) и перевод их на русский язык.

Приведу отрывок о Пушкине:

«Папá, который проявлял к нему интерес как к славе России и желая добра его жене, столь же доброй, как и красивой, приложил все усилия к тому, чтобы его успокоить. Бенкендорфу было поручено предпринять поиски автора писем. Друзья нашли только одно средство, чтобы обезоружить подозрения. Дантес должен был жениться на... сестре г-жи Пушкиной, довольно малоинтересной особе».

Т. Цявловская, Н. Раевский и другие решили, что «друзья» были только у Пушкина, хотя текст не давал полного права на такое предположение. Были даже названы имена друзей: Жуковский и Загряжская. И все же, мне думается, маловероятно влияние на Дантеса... пушкинских друзей. На Дантеса могли влиять его друзья.

Кто же они?

В метрической книге Исаакиевского собора за 1837 год (ч. II, ст. 1) зафиксировано венчание «барона Георга Карла Геккерна, 25 лет... с фрейлиною ее Императорского Величества, девицей Екатериной Гончаровой, 26 лет». Перечислены поручители: со стороны жениха — ротмистр Бетанкур и виконт д'Аршиак; со стороны невесты — граф Г. А. Строганов (отец Полетики), брат Екатерины Иван Гончаров, полковник Александр Полетика и барон Геккерна.

Бракосочетание повторилось и по католическому обряду в часовне княгини Бутера, после которого там же у Бутера был ужин — об этом сообщает барон Фризенгоф в письме Араповой.

Любопытно, что обо всех этих людях многократно вспоминает Идалия в своих письмах. «Бетанкур готовится к отъезду, — пишет она в 1837 году, — ему дан полугодовой отпуск, он едет в Брюссель, Лондон и, может быть, в Париж. Счастливый смертный! Я была очень рада вновь увидеть д'Аршиака. Мы часто говорим о Вас. Он очень добрый, замечательный малый». А в письме 1839 года: «Часто говорим о Вас с Бетанкуром, в прошлом году он ездил в Англию, теперь он в Красном Селе на маневрах. Это один из моих *верных*, я вижу его через день».

О цете Бутера в письме 1837 года: «Что касается Бутера, то они еще в Парголово. Князь поехал в Ямбург, в гости к брату». «Гробовщица», с которой Полетика обменивается «иудиными поцелуями», из этого же семейства. А в письме 1839 года Полетика как бы продолжает: «Бутера три недели как возвратились».

Любопытно, что фрейлина двора Мердер именно на балу у Бутера (5 февраля 1836 года) улавливает фразу Дантеса: «Уехать — думаете ли вы об этом...» — сказанную будто бы для других ушей.

Близость Полетики и Бутера заставляет думать, что на балу был не только Жорж, но могла быть и Идалия. Кто знает, может, только что одарив очередным «иудиным поцелуем» Наталью Николаевну Пушкину, она, Идалия, стоя за колонной танцевального зала, одобрительными взглядами поощряла Дантеса. Не там ли началось?!

И все же выявление «круга» Полетики и Дантеса не было бы для нас столь интересным, если бы мы не имели другого чрезвычайно важного и, я бы сказал, удивительного документа: переписки Карамзиных.

Салон Карамзиных многолюден. На сотнях страниц подробнейших писем всех членов этой семьи возникают десятки имен и фамилий, и среди них как близкий знакомый и частый гость — Дантес. «Наш образ жизни, дорогой мой Андрей, — писала Софья Карамзина 5 июня 1836 года, — все тот же, по вечерам у нас бывают гости, Дантес — почти ежедневно». Или: «У нас за чаем всегда бывает несколько человек, — пишет она же 3 ноября 1836 года, — в их числе Дантес, он очень забавен».

Выше я цитировал письмо Софьи Карамзиной, которая с восторгом рассказывает о «дурачествах» Дантеса и его непрерывных шутках «по-прежнему к прекрасной Натали». Читая переписку Карамзиных, подробно, даже скрупулезно описывающих светские вечера, приемы в собственном доме, невольно поражаешься тому, что имена друзей Дантеса, названные Полетикой, и имена друзей Дантеса, называемые Карамзиными, не совпадают. На сотнях страниц писем Карамзиных и ответных писем Андрея ни разу не вспоминается Полетика, не произносится ее имя, ее следы не угадываются даже вблизи гостеприимного дома. Это удивительное «выпадение» заметил и внимательный к своему предку Клод, в одном из писем он попросил меня объяснить такую странность.

Письма Полетики и письма Карамзиных делают совершенно очевидным факт, что для Дантеса существовало два непересекающихся круга общения. «Круг Карамзиных» был легальным, — там Дантес разыгрывал свою влюбленность, веселил легкомысленных друзей смешными «приступами чувств» «по-прежнему к прекрасной Натали». Отсутствие Полетики в этом салоне делало Идалию неуязвимой.

Дом Карамзиных оказался, к сожалению, фактически единственным местом, где совершался этот безобразный фарс.

Друзья Идалии Полетики — «круг» конспиративный. Невольно вспоминаются слова Жуковского о «двух лицах» Дантеса, о его двойном существовании.

В комментарии к переписке А. И. Тургенева с А. И. Нефедьевой П. И. Бартнев, ссылаясь на рассказ В. Ф. Вяземской, записал: «Дантес бывал частым посетителем Полетики и у нее виделся с Натальей Николаевной, которая однажды приехала оттуда вся впопыхах и с негодованием рассказывала, как ей удалось избежать настойчивого преследования Дантеса».

Существует еще один, приведенный ранее, более подробный рассказ Вяземской.

В марте 1887 года об этой встрече у Полетики написал Араповой муж Александры Николаевны, барон Фризенгоф: «Что касается свидания, то Ваша мать получила однажды от госпожи Полетики приглашение посетить ее, а когда она прибыла туда, то застала там Геккерна вместо хозяйки дома...»

В письмах Полетики, полученных мною от Клода, есть несколько мест, которые, по всей вероятности, относятся к этому свиданию. 3 октября 1837 года Идалия сообщает Екатерине: «Я ни о чем, ни о чем не жалею, ибо свет мне вовсе не необходим в первую очередь, напротив, я в восторге от этого светского междуцарствия».

О чем не жалеет Полетика? Почему Идалия «в восторге» от «светского междуцарствия»? (В «Звеньях» — «от светского одиночества»). Каких людей — не всех же! — ей не хочется видеть в опустевшем из-за летних разъездов Петербурге? Есть же и ее «верные», которых она встречает постоянно, ждет Полетика и двор, возвращающийся, как она сообщает, «в конце ноября». По всей вероятности, Идалия «отдыхает» от людей, близких

к Пушкиным. Не зря в том же письме она подробно рассказывает о Загряжской, «скрежещущей зубами» при встрече.

В главе о Строгановых я назвал всех посвященных в тайну свидания: их оказалось не так мало. Это и Александрина, и Загряжская, и Вяземские, и Екатерина, а если думать, что о свидании знали целые семьи — от ближайших утаить трудно! — то это Валуевы (родственники Вяземских) и Гончаровы.

Почему же удалось сохранить такому количеству посвященных людей столь долгое молчание? Мне кажется, что помимо воли и интереса Строганова, державшего инициативу в своих руках, нельзя не учесть и бесспорного предсмертного желания Пушкина защитить жену от злобы и жестокости света. Можно предположить, что Пушкин взял клятву со всех близких сохранять тайну о состоявшейся встрече.

А. И. Тургенев записал 28 января в половине двенадцатого: «Он [Пушкин] беспокоится за жену, думая, что она ничего не знает об опасности, и говорит, что люди заедят ее».

Не в этой ли клятве кроется ответ на необъясненный пресловутый крестик, который Пушкин протянул Александрине? Не говорит ли этот факт о данном Азинькой обете молчания? Кстати, именно в пользу такой версии, мне думается, будут и другие факты: крестик Пушкина всю жизнь хранился в доме Фризенгофов, а Александрина после разговора с Пушкиным больше не заходила к нему. И дело не в том, что Пушкин не захотел прощаться, а клятва, по всей вероятности, и была прощанием с поэтом.

Несомненно и то, что слуги в таком доме не могли знать об истинных событиях; отсюда слухи иного рода, рассказ воспитательницы, которым без всякой критики воспользовалась Арапова в своих неразборчивых записках.

Может показаться странным и другой факт: почему же Дантес не воспользовался возможностью очернить Наталью Николаевну на суде, не рассказал об этой встрече? Мне кажется, что причиной тому была единая выработанная линия со Строгановым, желание не подвергнуть опасности Полетику, дезавуировать события, оставить ситуацию «романтически-загадочной», выгодной кавалергарду.

Не этой ли «договоренностью» веет и от известного

письма Строганова, где старый граф одаривает излияниями «племянника», называет его «благородным», отмечая при этом его особое благородство «в последние месяцы пребывания в России».

В последних публикациях ставится под сомнение существование второго анонимного письма. В письмах Полетики мне видится косвенное подтверждение того, что второго анонимного письма действительно не было. Пушкину, вероятно, о состоявшемся свидании сразу же рассказала Натали — этого не могла в своих планах допустить Идалия.

В письме от 18/30 июля 1839 года Полетика сообщает Екатерине совершенно, казалось бы, неожиданное: «У Натали не хватает мужества *ходить ко мне*. Мы очень милы друг с другом, но она никогда не говорит о прошлом, его в наших разговорах не существует».

Признание Полетики как бы приоткрывает еще один аспект: существовало какое-то, устраивавшее жену Дантеса, объяснение случившегося. Именно с этим «объяснением» Екатерина и жила последующие годы.

Для нас же слова Полетики только подтверждают факт, что Натали никогда уже не могла простить Идалии ее участия в шантаже и обмане.

Но если мы допустили, что Дантесу и Полетике была «удобна» женитьба на Екатерине, то как объяснить поступок Идалии — приглашение Натальи Николаевны к себе на квартиру, как бы устройство предосудительного свидания?

Фраза Вяземской — «Дантес бывал частым посетителем Полетики» — мне думается, могла бы стать ключом объяснения, по крайней мере, быть принятой во внимание. Это же можно сказать и о высказывании А. О. Смирновой-Россет о «ширме», о любви Дантеса и Полетики, о проникшем в общество слухе.

Недисциплинированность Дантеса, «отлучки с дежурства, когда из начальства никто не уезжал», «опаздывание на службу», о чем сообщают кавалергарды, начала обращать на себя внимание. Значит, нужна контрмера, обеляющая свидание, способная отвести от Идалии мнение света и возможные подозрения мужа. Но, кроме того, интерес к Дантесу начал спадать, «кончился сей роман à la Balsac», — написал А. Карамзин, — к большой досаде С.-Петербургских сплетников и сплетниц».

Видимо, для Полетики и Дантеса пришло время,

когда потребовались новые серьезные подтверждения собственного «благородства».

Полетика заманивает Пушкину к себе. Дантес «играет» водевиль, грозит застрелиться, а доверчивая Наталья Николаевна «не знает, куда ей деваться».

«По счастью,— рассказывает Вяземская,— ничего не подозревавшая дочь хозяйки явилась в комнату, и гостя бросилась к ней».

Как все похоже на инсценировку! Зато теперь и Полетика, и все эти жаждущие новостей «гробовщицы» получают бесспорное подтверждение трагической любви Жоржа Дантеса.

События развиваются стремительно. Вызова никто не ждет. 27 января общество потрясает трагическая весть: Пушкин смертельно ранен.

В феврале Полетика посылает письмо арестованному Дантесу. «Бедный друг мой,— пишет она.— Ваше тюремное заключение заставляет кровоточить мое сердце... Мне кажется, что все то, что произошло,— это сон, но дурной сон. Я больна от страха». Об этих же событиях, по всей вероятности, она сообщает и в других своих письмах: «Я ни о чем, ни о чем не жалею» (3 октября 1837 года). «У Натали не хватает мужества ходить ко мне...» (18/30 июля 1839 года).

Если бы свидание происходило 2 ноября и не имело трагического финала, то трудно представить, как удалось бы сохранить секрет встречи, заставить молчать два месяца такое количество посвященных? Иной силы, кроме смерти Пушкина и клятвы, данной ему, я не вижу. Да и последующие пятьдесят лет молчания остались необъясненными.

Нельзя забывать, что Полетика до дуэльных дней как бы переживала благосклонность общества к себе. Именно Идалия и ее муж становятся «свидетелями» на свадьбе Дантеса и Екатерины 10 января, присутствуют вместе с семьей Гончаровых в Исаакиевском соборе и на обеде у Бутера. А Идалия, как ближайшая подруга, наверняка принимает участие в «сборах» к венчанию Екатерины.

Думаю, только оповещением вины Полетики в кругу ближайших к Пушкину людей можно объяснить и следующее письмо Геккерна в Тильзит: «Не называю тебе лиц, которые оказывают нам внимание, чтобы их не компрометировать. Ты знаешь, о ком я говорю. Могу сказать, что муж и жена относятся к нам безукоризнен-

но, ухаживают за нами, как родные, даже больше того, как друзья».

После 19 марта бесхитростная, ничего не подозревавшая Екатерина посылает из Петербурга вслед уехавшему Дантесу свое недоуменное письмо, впервые приведенное Щеголевым, вероятно читавшим его с искренним удивлением: «...Идалия приходила вчера на минуту с мужем, она в отчаянии, что не простилась с тобой, говорит, что в этом виноват Бетанкур. В то время как она собиралась идти к нам, он ей сказал, что будет поздно, что ты, по всей вероятности, уехал. Она не могла утешиться и плакала, как безумная».

Невольно вспоминаю слова из записки Полетики на гауптвахту: «Прощайте, мой прекрасный и добрый узник. Меня не покидает надежда увидеть Вас перед Вашим отъездом. Ваша всем сердцем».

Виделись ли Полетика и Дантес в последующие годы?

В июле 1839 года Идалия пишет Геккернам: «Я по-прежнему люблю Вас... Вашего мужа, и тот день, когда я смогу вновь увидеть, будет самым счастливым в моей жизни. Очень возможно, добрые мои друзья, что я, если только в скором времени мне удастся покинуть Петербург, приеду повидаться с вами, и тогда я нагряну, как снег на голову, мне так хотелось бы увидеть Вашу семью».

13 мая 1840 года Екатерина сообщает брату в Россию: «Через несколько дней я буду знать все подробно о Петербурге, потому что увижу Идалию Полетику, которая приезжает вместе со Строгановыми в Баден-Баден, и мы с мужем рассчитываем поехать туда на недельку. Я буду чрезвычайно рада снова увидеть ее, она была так мила с нами во время наших несчастных событий».

И, наконец, в письме из Милана, отправленном 3 октября 1841 года, Полетика как бы подтвердит это:

«Я получила такое удовольствие видеть вас обоих, что увидеть вас еще раз стало для меня навязчивой идеей. Я так рада, что видела вас обоих такими счастливыми, что я люблю уноситься в ваш дом в ожидании, что это смогу сделать реально. И несомненно, если чего женщина хочет, того и Бог хочет, а я — очень хочу».

Знаменательно отношение Идалии Полетики к Александрине.

В письме Екатерины от 13 мая 1840 года, которое я цитировал, есть важный абзац: «Слышала об этом стороною, что Александрина стала совершенною сумасбродкою; говорят, что получение шифра (вензель императрицы у фрейлин.— С. Л.) совсем вскружило ей голову, что она стала невероятно надменной. Я надеюсь, что все это неправда, признаюсь, я не узнаю в этом случае ее ума: потерять голову из-за такого пустяка было бы нелепостью. Через несколько дней я буду знать все подробно о Петербурге, потому что увижу Идалию Полетику».

А в письме к Екатерине от 18/30 июля 1839 года, то есть за год до приведенного отрывка, Полетика пишет: «Александрина невероятно потолстела с тех пор, как ...Спросите у своего мужа, он объяснит, что я имею в виду,— он поймет меня. Выглядит она хорошо и прекрасно себя чувствует. Впрочем, она существо добродушное и привязана к Вашей сестре».

Пристрастие Полетики к Александрине замечено давно.

Что же позволяла себе Идалия по поводу этого, как она писала, «добродушного существа»?

Мне кажется, чрезвычайно важен рассказ князя А. В. Трубецкого, записанный В. А. Бильбасовым в 1887 году.

Трубецкой и Полетика, как я писал, жили в Одессе и были постоянными собеседниками.

«Откуда же дуэль?» — спрашивает князь. И объясняет: «Не так давно в Одессе умерла Полетика, с которой я часто вспоминал этот эпизод, и он совершенно свеж в моей памяти. Дело в том, что Гончаровых было три сестры: Наталья, вышедшая за Пушкина, чрезвычайно красивая, но чрезвычайно глупая; Екатерина, на которой женился Дантес, и Александра, очень некрасивая, но весьма умная девушка... Вскоре после брака Пушкин сошелся с Александриною и жил с нею. Факт этот не подлежит сомнению. Александрина созналась в этом г-же Полетике».

«Воспоминания Трубецкого из маразматического бормотания,— писала А. Ахматова в статье об Александрине,— <...> превращаются в документ первостатейной важности: это единственная и настоящая запись версии самого Дантеса».

Мы теперь вправе сказать, что рассказ Трубецкого — это и версия Полетики, и всего «завистливого и душного» света. Несмотря на убожество повторенных князем историй, чувствуется один «метод», одна рука.

Фантазия Полетики и Дантеса ограничена. И хотя истории — это литературные, расхожие сюжеты, варианты «ширмы» (Пушкин любит не Натали, а Александрина!), «наблюдения» Полетики находят поддержку даже среди ближайших к Пушкину людей. Вот из какого источника черпают и Софья Карамзина, и Вяземский свои удивительные «открытия». «...Чтобы ни одной из них (сестер.— С. Л.) не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно влюблен в нее и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу — по чувству».

Любопытно, что незадолго до этого «открытия» Софья Николаевна Карамзина в письме от 18/30 октября 1836 года писала о близких отношениях Александрины с Аркадием Осиповичем Россетом, приятелем Пушкина. Об этом же большом чувстве Александрины много позднее сказала и Наталья Николаевна. «...Россет пришел вчера пить чай с нами,— писала она П. П. Ланскому в 1849 году.— Это давнишняя большая и взаимная любовь Сашеньки. Ах, если бы это могло кончиться счастливо. <...>. Прежде отсутствие состояния было препятствием. Эта причина существует и теперь, но он имеет надежду вскоре получить чин генерала, а с ним и улучшение денежных дел».

Вернусь к словам Полетики: «Александрина невероятно потолстела с тех пор, как <...>. Спросите у своего мужа... что я имею в виду,— он поймет меня». Полетика советует Екатерине **выяснить** интимную тайну родной сестры у... Дантеса. Совет странный, но не единственный.

3 октября 1837 года, выбалтывая петербургские сплетни, Полетика сообщает Екатерине о своей подруге: «Госпожа Соланская ездила на несколько недель в Москву, где простудила свою девочку, которую сейчас может потерять: она сумасшедшая. Она все так же постоянна. Ей по-прежнему нравится нос в форме английского сада (подчеркнуто Полетикой.— С. Л.). Что это значит, спросите у своего мужа».

Еще раз невольно думаешь, что между Дантесом и Полетикой существовала своя система сигналов, код, понятный только им двоим.

Верил ли Пушкин Натали? Бесспорно.

Два человека — Пушкин и его жена — были несоизмеримо разными величинами. Гениальность и величайшая прозорливость жили рядом с простотой и бесхитростностью. Она, Наталья Николаевна, никогда не смогла бы обмануть Пушкина. Он читал в ее глазах все, она была ясна Пушкину, как может быть ясен ребенок старшему и мудрому. И, понимая собственную ясность, она не смогла бы решиться говорить неправду.

«Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском», — записал И. Т. Спасский.

«Жена моя ангел — никакое подозрение ее коснуться не может», — вспоминал слова Пушкина Соллогуб.

«Он повторял ей тысячу раз и все с возрастающей нежностью, что считает ее чистой и невинной...» — записывала Фикельмон.

Нет, не враги огорчали Пушкина, его приводили в отчаяние друзья.

Чувство одиночества, покинутости и непонимания остро испытывал Пушкин в последние месяцы своей жизни. Организованная у Полетики встреча Дантеса с Натальей Николаевной стала последней каплей трагедии, сделала дуэль *неотвратимой*.

Пушкин принимает окончательное решение. Вот откуда возникает у него этот удивительный покой перед дуэлью. «Встал весело в восемь часов — после чаю много писал — часу до одиннадцатого. С одиннадцати — обед. Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни» — так записывает Жуковский.

Остановить толки, что-то объяснить близким будет нельзя, и Пушкин делает шаг навстречу судьбе.

Думаю, что тогда утром, до одиннадцати, когда веселым расхаживал по комнате, именно тогда Пушкин понял, что будет стрелять *вторым*. Он был опытный дуэлянт и смелый человек. И как опытный дуэлянт предпочел в смертельной дуэли стрелять с кратчайшего расстояния, провоцируя врага на первый выстрел с ходу, в движении, в невыгодных условиях. Пушкин собирался бить наверняка.

У Дантеса, как и ожидалось, явно не выдержали

нервы. И он выстрелил в движении. Пуля попала в живот.

Данзас рассказывает, что он только махнул фуражкой, как Пушкин «в ту же секунду был у барьера». Дантес еще шел. Он сделал всего три шага и на четвертом выстрелил — слишком резко двигалась навстречу ему фигура противника.

История Жоржа Дантеса, Идалии Полетики, Луи Геккерна — одна из нитей преддуэльной трагедии. Все трое — авторы интриги, зачинатели низкопробного спектакля, в котором приняли участие многие и многие.

Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы...

Но не менее поразительно участие высшего света, прибегнувшего к излюбленному, проверенному оружию — «злословию» для собственной «потехи», как писал М. Ю. Лермонтов. Да, они, эти люди, раздували «пожар», которого не было, но который им так хотелось видеть. «Это ужасно смешно», «Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра», — писали они в дневниках и письмах.

Царь, граф Бенкендорф, супруги Бутера, Борх, как и те, которых Пушкин считал своими друзьями, принявшие как эстафету слухи от московских и петербургских сплетников и сплетниц, — у каждого из них своя роль и вина.

И все же почему Полетика так ненавидела Пушкина? Несколько раз спрашивал меня об этом и Клод. «Объясните, — писал он, — дикую ненависть Полетики к Пушкину?»

В финале «Макбета» врач, наблюдавший, как леди Макбет пытается отмыть во сне окровавленные свои руки, произносит:

Больная совесть лишь глухой подушке
Свои секреты смеет поверять.
Священник больше нужен ей, чем доктор.

Не из этой ли породы Полетика?

И все же одной вины, думаю, недостаточно, чтобы

Pour mon grand ami,
Siméon LASKIN, connu d'abord
par correspondance (grâce à Henri Troyat),
puis "de visu". Le style est l'homme.
Laskin est merveilleux dans
sa présence physique
Comme dans ses écrits

Marchande des quatre saisons,
Me céderez-vous la cinquième,
Hors le temps, l'âge de raison,
Pour pouvoir dire encor : "Je l'aime" ?

Claude de Lescop, Anthès
(alias Romain d'Anthès)
Paris, 3 mai 1985.

CINQ SAISONS

pour cinq muses et trois Grâces

par Romain d'Anthès

Illustrateurs :

Eduardo Solà Franco
Louis Mercier

Роман д'Антес
(литературный псевдоним Клода).
Титульный лист сборника «Пять сезонов».



Семен Ласкин, критик Н. Иванова
и Клод д'Антес.
Париж, 1987.

JE RENONCE A JAMAIS

Je renonce à jamais, mon amour, aux tourmentes
Du sang, aux bourrasques des sens : râles d'étreintes
Que chérissait ma chair ! Je maudis les bacchantes
Qui se lovaient en moi. Et la flamme est éteinte
De leurs baisers cruels, leurs caresses de braise.
Je renonce, pour toi, à l'ivresse, à l'orgie
De ce frisson commun qui, seul, mon corps apaise.
— Pourquoi cet abandon ? D'où vient cette magie ?
Sinon de ta douceur, de ton regard serein,
De ta grâce soumise et qui me fait mendiant
Du don de ton corps pur. Lorsque je mets un frein
A ma fougue, à mes cris, tu vas, t'irradiant,
Et laisses peu à peu s'endormir ta pudeur.
Bien qu'indifférente ou gauche à l'art du plaisir,
Tu t'animes enfin, rougis de notre ardeur
Pour, malgré toi, enfin éprouver mon désir.

d'après un poème intime d'A. Pouchkine

Роман д'Антес.
Перевод стихотворения А. С. Пушкина
«Нет, я не дорожу
мятежным наслаждением...».



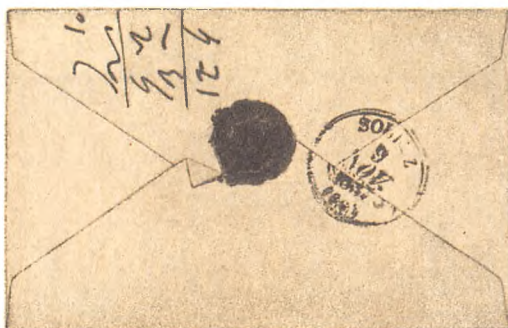
Графиня Ю. П. Строганова
с дочерью Идалией Полетикой.
Тверской государственный музей
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1827.



Конверт одного из писем
Идалии Полетики Екатерине де Геккерн. Фотокопия. Архив автора.



П. Ф. Соколов.
Идалия Григорьевна Полетика.
Акварель.



Конверт одного из писем
Идалии Полетики Екатерине де Геккерн. Фотокопия. Архив автора.

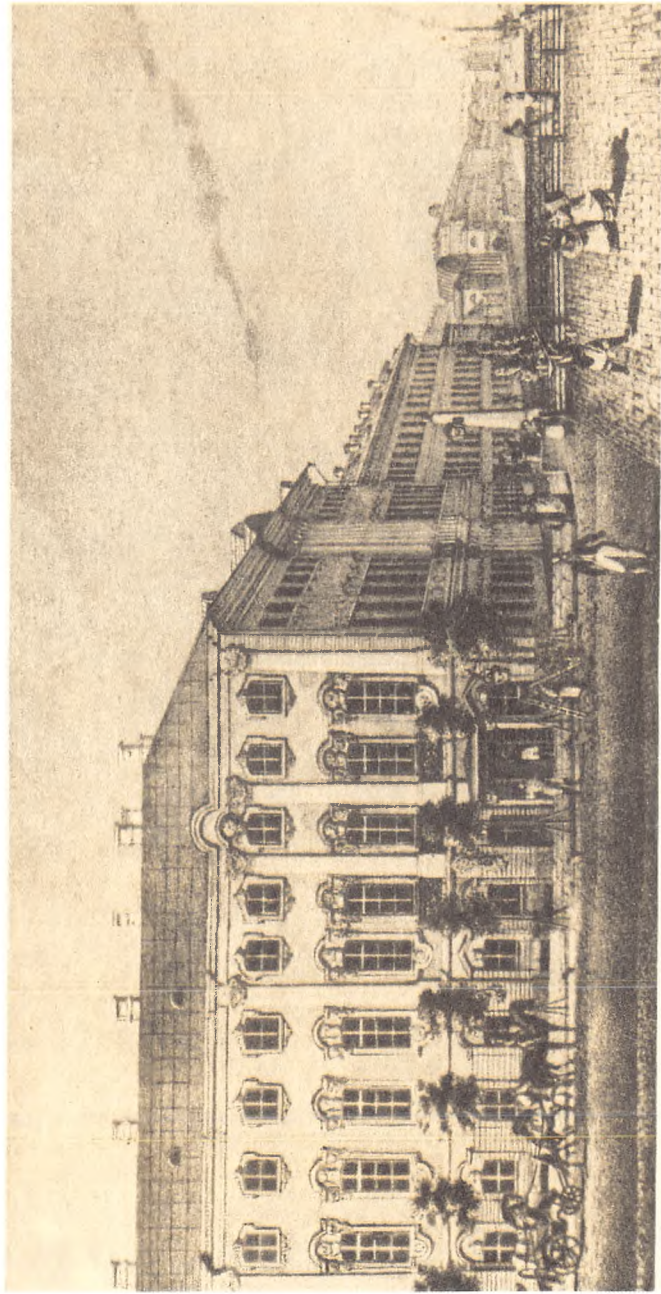


Идалия Григорьевна Полетика. 1860-е гг. Дагерротип.
Публикуется впервые.
Тверской государственный музей
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.



Графиня Ю. П. Строганова.

Дом графини Ю. П. Строгановой.
Невский проспект. Полицейский мост.



Граф Г. А. Строганов.



Картинная галерея
Строгановского дворца.
Картина *Н. С. Никитина*. 1832.



П. Ф. Соколов. А. Х. Бенкендорф.
1834—1835.



П. Рорбах. Музыкальный вечер у Львова
(Квартет М. Ю. Виельгорского). 1840-е гг.
Второй слева граф А. Г. Строганов.



Жорж Дантес-Геккерн.
1830-е гг.



Барон Луи де Геккерн.
1843.



Екатерина де Геккерн.
Конец 1830-х гг.



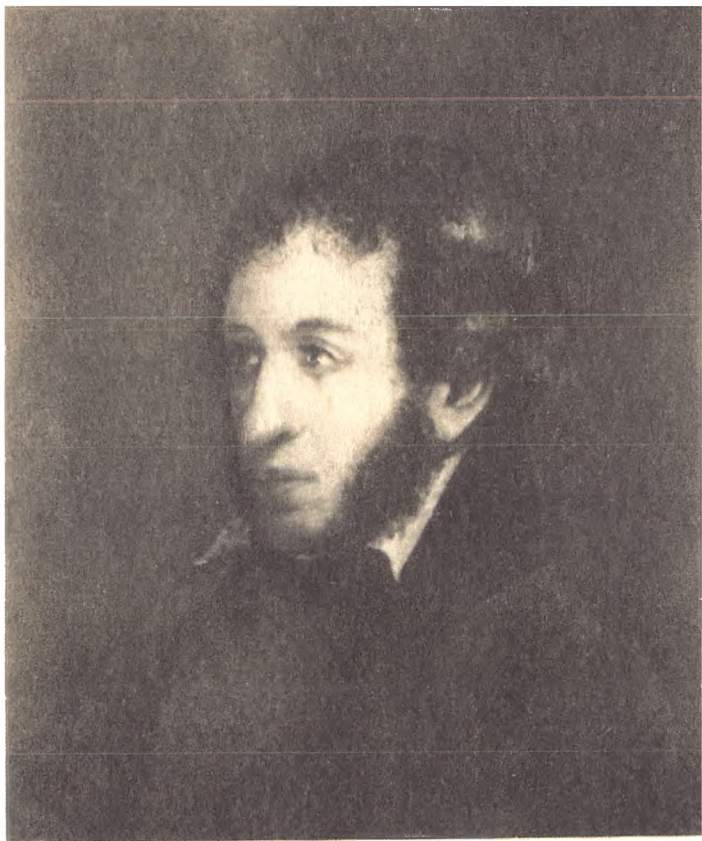
Неизвестный художник.
Екатерина Николаевна
Гончарова.
1820-е гг. Акварель.



А. П. Брюллов. Е. И. Загряжская.
1820-е гг.



В. Гау. Н. Н. Пушкина.
1842—1843.



И. Л. Линева. Пушкин.
1836—1837.

объяснить более чем пятидесятилетнюю ненависть. Вероятно, рядом с ненавистью пособницы убийства жила в Полетике и непрощающая память о рухнувшей любви, но не той любви, которая возвышает человека, а любви мстительной, ослепленной, по-своему трагической.

В психологических портретах Идалии и Дантеса было и еще общее обстоятельство: они занимали в свете полузаконное положение. Она — «воспитанница» графа Г. А. Строганова, «левая дочь», он — «приемный сын» развратного Геккерна.

Полубарон и полуграфиня — это было мучительно-унизительным.

Свет так и не признал Полетику, не допускал ее в высший круг, а о Дантесе помнил, что он подозрительное приобретение порочного «старика».

А. И. Тургенев так объясняет происхождение Дантеса: «Барон Геккерн, побочный сын голландского министра Геккерна, служащий в Кавалергардском полку и называвшийся прежде Дантесом».

Полетика и Дантес никогда не забывали своей «второсортности» и, оставаясь «на птичьих правах», тянулись друг к другу.

«Я люблю Вас так, как никогда не любила».

А в другом месте: «Если я кого люблю, то люблю крепко и навсегда».

Клод писал: «Я скептик. Идалия, разумеется, могла испытывать к Жоржу искреннюю, настоящую любовь. Но как вы можете объяснить ее вечный характер?»

Ну что ж, о «вечной» любви Полетики можно судить по «вечной» ее ненависти.

«Ей достаточно, что я печатал о Пушкине,— писал Петр Бартнев,— чтобы не желать моего знакомства».

В письме от 20 января 1836 года «безумно» влюбленный Дантес признается Геккерну: «Ради нее я готов на все, лишь бы ей угодить».

Какая зловещая фраза! Как безысходно могут звучать обычные слова! Судьба словно бы нарочно отпустила им всем,— кроме несчастной обманутой Екатерины,— долгую, долгую жизнь.

Триумф Пушкина становился для Идалии адом.

Но иногда мир с удивлением слышал непонятное, неведомо откуда доносившееся «змеиное шипение» — злобные слова Полетики о П О Э Т Е.

...А Пушкин с годами становился все величественнее, делаясь недостижимым для любого зла.

Глава третья

ПАРИЖСКАЯ НАХОДКА

Отсутствие писем Натальи Николаевны к Пушкину привело к тому, что в течение ста пятидесяти лет (пожалуй, до последнего десятилетия) образ ее конструировался в основном из разнообразных слухов.

Приговор толпы был вынесен мгновенно: она, светская красавица и пустышка, виновата в гибели великого поэта. Уже на следующий день после смерти Пушкина по Петербургу ходили вирши неизвестного стихотворца, в которых были такие строки: «Жена — твой враг, твой злой изменник...» И дальше: «К тебе презрением все дышит... Ты поношение всего света, предатель и жена поэта».

Нет нужды вспоминать все худое, сказанное о Наталье Николаевне. Напраслина, а то и клевета сочинялись, пересказывались и издавались.

Измышления нередко обретали значение как бы доказанного факта. Так, вслед за заключением П. Е. Щеголева, заявившего, что Наталья Николаевна была настолько красива, «что могла позволить себе не иметь никаких достоинств», появилась версия В. В. Вересаева о тайной связи Николая I с женой поэта. Опираясь на рассказ де Кюстина о том, что император устраивал браки своих любовниц, нередко уже беременных, а также на многозначительные намеки Араповой, о которой сам же писал, что в ее воспоминаниях «нельзя верить ни одному слову», Вересаев предположил, что дочь Натальи Николаевны — это дочь царя. Версия о романе Натальи Николаевны с царем была охотно взята на вооружение и воплощена и в литературе, и в кино.

В двадцатые — тридцатые годы нашего века социальная предрасположенность весьма помогла распространению такого суждения.

Тяжелый приговор Наталье Николаевне был вынесен и Анной Ахматовой, отнесшей жену Пушкина к «стану» Геккерна.

Думаю, не преувеличу, если скажу, что новонайденные И. Ободовской и М. Дементьевым пятнадцать писем Натальи Николаевны к Дмитрию Николаевичу Гончарову, написанные с 1832-го по 1836 год, впервые заставили усомниться в принятом мнении, по выражению П. Щеголева, о «скудости духовной природы» жены

Пушкина. Особенно интересны и по-своему значительны те их строки, в которых Наталья Николаевна пишет о Пушкине, о его делах, выражает свое глубокое беспокойство о нем. Приведу отрывок из июльского 1836 года письма к брату, очень важного для нашего дальнейшего рассказа:

«Теперь я хочу немного поговорить с тобой о моих личных делах. Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала, но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в том затруднительном положении, в котором он находится; несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одного, вот почему я вынуждена, дорогой брат, прибегнуть к твоей доброте и великодушному сердцу, чтобы умолять тебя назначить мне с помощью матери содержание, равное тому, какое получают сестры, и, если это возможно, чтобы я начала получать его до января, то есть с будущего месяца. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом, голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами, и без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам и, следовательно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию; для того чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна... Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение; по крайней мере, содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что, если бы он знал об этом, то, несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать».

Тревога Натальи Николаевны о доме, душевная боль за Пушкина, полная разделенного искреннего понимания, стоят, думаю, значительно больше альбомных записей светских барышень, вроде дневника графини Мердер или «фантазий» Веры Вяземской и Евпраксии Вревской, обретавших в работах иных исследователей чуть ли не значение документов.

Перечитывая строки, написанные Натальей Николаевной, нельзя не заметить, как набирается мудрости

вблизи поэта его жена, как вслед за наивной юностью появляется взрослое самоуважение и достоинство.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что письма Натальи Николаевны невольно заставили переосмыслить и письма Пушкина к жене, документы удивительной любви и доброты. Как легко было бы объяснить то или иное пушкинское суждение, будь оно адресовано Вяземскому, Нащокину или Плетневу. Но в том-то и дело, что глубокая мудрость была адресована жене, ее пониманию.

«...У меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист,— писал он Наталье Николаевне в мае 1836 года.— Будучи еще порядочным человеком, я получал уже полицейские выговоры, и мне говорили: *Vous avez trompé* (Вы не оправдали.— *фр.*). Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона; черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать».

Или письмо, в котором шутка переплелась с искренним писательским любопытством: «Аракчеев... умер. Об этом во всей России жалею я один — не удалось мне с ним свидеться и наговориться».

И такое резкое, рассчитанное на полное понимание: «Я, как Ломоносов, не хочу быть шутком ниже у Господа Бога».

Мог ли Пушкин написать все это, не уважая Наталью Николаевну, не предполагая, что произнесенное будет понято правильно, что его шутка найдет отклик, а его боль будет воспринята как общая их боль?

Несомненно, письма к жене не могут состоять из одних мудростей и откровений. В них и нежность, и насмешка, и подтрунивание, любовь к ней и к детям.

Даже позволив себе назидание, Пушкин спешит смягчить его шуткой, добрым словом... «Смотри: недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона», — и подшучивает, и объясняет он.

Примеров много. Ссылаются на его письма 1833 года, мол, какие есть резкие! Да полноте! Перечитаем их целиком, нет в них ни злобы, ни недоверия. Каждое письмо — ответ на полученное, может, слегка дразнящее, шутливое.

Как можно без улыбки читать всякую всячину, вроде, скажем, такого: «На днях отказался от башкирки, несмотря на любопытство, очень простительное

путешественнику. Знаешь ли ты, что есть пословица: на чужой сторонке и старушка Божий дар. То-то, женка. Бери с меня пример».

Нет, невозможно изымать фразу из целого письма, теряя связь с письмом предыдущим и последующим, препарировать скальпелем логики то, что брошено мимолетно, будь-то «басня о Фоме и Кузьме», объевшемся селедкой, где, кстати, уже через несколько строк напишется: «...знаю, что ты во все тяжкие не пустишься», а еще через неделю следующее письмо начнется тепло и извинительно: «Друг мой женка, на прошедшей почте я не очень помню, что я тебе писал. Помнится, я был немножко сердит — и кажется, письмо немного жестко».

Конечно, интимные письма, написанные более полутора веков назад, — сложный источник. За каждой фразой стоят тут, по меньшей мере, два человека, знающие друг о друге, о событиях, вызвавших переписку, значительно больше нас, нынешних. Уже поэтому разгадывание предполагает варианты. При этом интерес представляет не только сам факт, но и то, что за фактом. Иными словами, не столько и не всегда текст, сколько события, этот текст вызвавшие, обстоятельства, которые сопровождали события, атмосфера, в которой жил автор письма, противоборствующие силы и прочее.

Заглянуть в прошлое, представить события как можно полнее — задача крайне серьезная. Даже самый знающий, самый тонкий исследователь не должен, читая текст, забывать осторожность.

И все же на сегодня существуют два необъясненных факта. Один рассмотрен в предыдущей главе об Идалии Полетике — январское и февральское письма Дантеса к Геккерну как бесспорные доказательства «вины» Натальи Николаевны.

Эту «бесспорность» я попытался поставить под сомнение имеющимися в моем распоряжении документами.

Вторым якобы порочащим Наталью Николаевну фактом явились сведения о ее переписке с семьей Дантесов.

До публикации И. Ободовской и М. Дементьевым писем Екатерины к брату Дмитрию на Полотняный завод исследователи единодушно считали, что переписки между сестрами не было, это зачислялось в актив

жене поэта. И вдруг такое логичное и желаемое объяснение опровергает сама жизнь!

Интерес к переписке Натальи Николаевны с Екатериной понятен: о чем могла писать она в годы своего траура?

И вот, в 1985 году, будучи во Франции, я познакомился с подлинником, а затем от Клода Дантеса получил и фотокопию письма Александры Николаевны Гончаровой и Натальи Николаевны Пушкиной к Екатерине Николаевне Дантес.

Письмо написано по-русски, а следовательно, предназначалось не для чужих глаз. Другие письма Натальи Николаевны на русском языке нам не известны, есть лишь несколько строчек, вкрапленных во французские тексты. Переводы же не могут сохранить всей тонкости интонаций, представляющих — особенно в письмах — исключительное значение.

Остановлюсь на некоторых обстоятельствах краткой переписки сестер.

16 февраля 1837 года, через две недели после гибели Пушкина, Наталья Николаевна с детьми выехала на Полотняный завод. Перед отъездом она увиделась с Екатериной, присутствовали при встрече братья, Александрина и тетка Екатерина Ивановна Загряжская.

Есть несколько свидетельств, характеризующих состоявшийся разговор, окончившийся слезами Екатерины Николаевны.

«С другою сестрою, кажется, она простилась, — писал А. И. Тургенев 24 февраля 1837 года, — а тетка высказала ей все, что чувствовала она, в ответ на ее слова, что она «прощает Пушкину». Ответ образумил и привел ее в слезы».

Софья Карамзина сообщала брату: «Обе сестры увиделись, чтобы попрощаться, вероятно, навсегда, и тут, наконец, Катрин хоть немного поняла несчастье, которое она должна была бы чувствовать и на своей совести, она поплакала...»

Можно предположить, что слезы Екатерины Николаевны, которые увидела Наталья Николаевна, показались ей искренними. Видимо, и братья, и Александрина, и тетка Екатерина Ивановна ждали от Натальи Николаевны христианского прощения, иначе к чему было устраивать такую тяжелую встречу?

Судя по письмам Екатерины, она получила от сестер из Полотняного завода два письма: одно — в 1837 году,

другое — в конце 1838 года. Больше писем не было, начавшаяся переписка по неясным причинам оборвалась.

«Я получила недавно письмо от сестер», — писала Дмитрию Николаевичу Екатерина Николаевна 1 октября 1838 года.

Публикаторы писем Екатерины И. Ободовская и М. Дементьев так прокомментировали это сообщение из Парижа: «У нас нет сведений о том, писала ли Наталья Николаевна сестре... Возможно, писала Александра Николаевна, но, как мы увидим из писем, так редко, что годами Екатерина Николаевна не имела сведений о сестрах».

Через несколько страниц авторы возвращаются к ответному письму Екатерины Дантес: «В письме от 1 октября 1838 года Екатерина Николаевна говорит, что получила письмо от сестер. Обращает на себя внимание, что она никак не комментирует его, видимо, написано оно было в таких тонах, что ей не хочется об этом говорить».

Но предположения остаются только предположениями. И если Екатерина Николаевна напрямую не комментирует письма сестер, то, может быть, она как-то реагирует на их письма в ответных?

Перед тем как привести письма Александры Николаевны и Натальи Николаевны, процитирую письмо Екатерины Дантес от 25 мая 1838 года, последнее перед полученным ею письмом от сестер из России.

«Париж, 25 мая 1838 года.

Давно я уже собиралась написать тебе, дражайший и славный Дмитрий, но всегда что-то мне мешало. Сегодня я твердо решила выполнить это намерение, заперла дверь на ключ, чтобы избежать надоедливых посетителей, и вот беседую с тобой.

Я здесь с 5 мая и в восхищении и в восторге от всего, что вижу. Париж действительно очаровательный город, все, что о нем говорили, не преувеличено, он прекрасен *au plus ultza* (в высшей степени. — *фр.*). И как можно сравнивать блестящую столицу Франции с Петербургом, таким холодно-прекрасным, таким однообразным, тогда как здесь все дышит жизнью, постоянное движение толпы взад и вперед по улицам днем и ночью, всюду великолепные памятники, красивейшие магазины.

А рестораны, просто слюнки текут, когда проходишь мимо вкусных вещей, которые там выставлены. И потом — полная свобода, каждый живет здесь, как ему хочется, и никто ни единым словом тут его не упрекает.

Так как мы приехали сюда только для того, чтобы развлечься, посмотреть и познакомиться со всем тем, что в Париже есть любопытного, мы целыми днями бегаем по городу, но не бываем в светском обществе, потому что это отняло бы у нас драгоценное время, которое мы посвящаем достопримечательностям; свет — это до следующего приезда. Многие хотели непременно нас туда сопровождать, все с нами очень любезны, но мы им приводим те же доводы, что я тебе говорила выше. Удовольствия, которых мы, однако, себя не лишаем, это театры. Здесь их четырнадцать, так что, как видишь, выбор есть; я была почти во всех, но предпочитаю Комическую оперу или Большой оперный театр; к сожалению, я не видела итальянцев, которые играют здесь только до апреля месяца. Все вечера мы проводим или в театре, или в концерте.

Я очень часто встречаюсь с госпожой де Сиркур, она очень мила и добра ко мне; каждое воскресенье она заезжает за мною, чтобы отправиться в посольскую церковь. Это настоящее счастье для меня; я так долго была лишена православной службы, поэтому я этим воспользовалась и говела и причащалась, едва только приехала в Париж. Об этом я позаботилась прежде всего.

Здесь несметное количество русских: кажется, что после того, как их государь наложил запрет, они как бешеные стремятся в Париж. Я воспользовалась моим пребыванием здесь, чтобы заказать свой портрет, который у меня просила мать; я делаю это с большим удовольствием, хотя, признаюсь тебе, что позирование смертельно скучная вещь.

А что поделяваете вы, как себя чувствуете, когда же появится наследник? Ваня, я слышала, уже женат. На днях, как мне говорили, у его шурина Николая пили за здоровье новобрачных, но я ничего об этом не знаю, я их не видела.

Прощай, дорогой друг, целую всех вас миллион раз.
Твой друг и сестра

К. д'Антес де Геккерн».

Прежде чем привести письмо Александры Николаевны и Натальи Николаевны, необходимо рассказать об Анастасии Семеновне де Сиркур, здесь упоминаемой,— единственной русской даме, которая рьяно помогает Дантесам вести счастливую светскую жизнь в Париже.

Имя де Сиркур и ее родного брата калужского помещика Семена Семеновича Хлюстина возникает в ответных письмах и Александры Николаевны и особенно в письме Натальи Николаевны,— последняя, как увидим, даст обоим развернутую и вполне определенную характеристику.

Начну с Семена Семеновича Хлюстина, истории его ссоры с Александром Сергеевичем Пушкиным, произошедшей 4 февраля 1836 года.

...В конце 1835 года, в разгар подготовки «Современника», к Александру Сергеевичу Пушкину обратился его давний знакомый, служащий лицея Ефим Петрович Люценко, человек пожилой, бедный и, как говорится, романтический, занимающийся поэтическим переводом.

Услыхав об издании Пушкиным «Современника», Ефим Петрович решил предложить бывшему лицеисту свои вирши, перевод поэмы Виланда «Востола, или Желание сердца». Именно «Современник» показался Люценко самым подходящим местом для издания.

Можно представить, как был озадачен Пушкин неожиданным предложением, прочитав «Востолу». Конечно, хотелось помочь старику, но как?.. Перевод был слабым.

«Современник» Пушкин надеялся сделать журналом особого уровня, для предстоящего первого номера дали свои произведения лучшие литераторы, цвет России — такие, как Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Н. И. Тургенев. И вдруг вирши Люценко.

И все же что-то было, видимо, трогательное в просьбе шестидесятилетнего «лицеиста», категорически отказать Люценко Пушкин не смог и, пытаясь пособить знакомому, обратился к Смирдину.

Книгоиздатель был, естественно, человеком практическим. Посчитав возможные убытки, потребовал полторы тысячи рублей, которых, конечно, ни у Люценко, ни у Пушкина не было.

Тогда Пушкин написал Корфу, но и тот на пустое расточительство идти отказался.

И тут опытные книгопродавцы сами подбросили

Пушкину предложение. Если известнейший поэт разрешит поставить на обложке «Вастолы» свое имя — нет, не как автора, а как издателя, — а Люценко согласится и вообще своего имени не упоминать, то они, книгопродавцы, готовы пойти на риск, издать книгу фактически бесплатно.

Люценко, видимо, был рад варианту, Пушкин, не почувствовав опасности, а то и подвоха, дал свое согласие.

Беда разразилась еще до выхода «Вастолы».

Первой на столь неожиданное литературное событие отозвалась «Библиотека для чтения» Сенковского. Журналист бесспорно видел конкурента в пушкинском «Современнике», — а тут вдруг Пушкин сам подставил себя под удар.

В январском номере «Библиотеки» появилось объявление:

«Важное событие! Пушкин издал новую поэму под заглавием «Вастола, или Желание сердца» Виланда. Мы ее не читали и не могли достать, но говорят, что стих ее удивителен. Кто не порадуется новой поэме Пушкина?! Истекший год заключился общим восклицанием: „Пушкин воскрес!“».

Вскоре в «Литературной летописи», приложении к «Библиотеке для чтения», появился и разбор поэмы, написанный со злой журналистской издевкой.

«Певец «Кавказского пленника» сделал в новый год непостижимый подарок лучшей своей приятельнице, доброй, честной Русской публике... Каждый толкует по-своему слово «издал», которое, как известно, принимается в русском языке также в значении — написал, напечатал. Трудно поверить, чтобы Пушкин, вельможа русской словесности, сделался книгопродавцем и «издал» книжки для спекуляций...»

Затем, после оскорбительного выпада, Сенковский принимается описывать спор честного продавца и самоуверенного покупателя, который рвется скорее приобрести новоизданный «шедевр».

Продавец пытается втолковать покупателю, что «Вастола» не произведение Пушкина, но покупатель в это не хочет верить.

«Как, не Пушкина? Ба!.. — возмущается покупатель. — Будто бы я Пушкина стихов не знаю!» И покупатель, «постепенно одушевляясь красотою», начинает читать продавцу стихи:

...Мешанка, мать его, вдова весьма честная,
Уж несколько годов прядением промысляя,
Кормила тем себя и милого сына,
Ее рабочая, проворная рука
Не знала никогда покоя,
и вприсядку
Трескучую свою вертела самопрядку...

И дальше:

...Одна гнала ее тоска,
Одна заботила кручина,
Что от Перфонтьюшки,
любезного сына,
Хоть он и дюжий был детина,
Ни шерсти нет, ни молока.

«Кто у нас в состоянии,— торжественно сказал читатель, произнеся последние стихи с непритворным энтузиазмом,— так написать, кроме Пушкина».

Фельетон завершался длинным назиданием:

«Если бы в слове «издал» и не было двусмысленности, если бы оно и принято было здесь в самом тесном его значении,— продолжал журналист,— он знает, что человек, пользующийся литературною славой, отвечает перед публикою за примечательное достоинство книги, которую издает под покровительством своего имени, и что, в подобном случае, выставленное имя напечатлевается всею святостью торжественно данного в том слова. Он охотно вынет из своего кармана 1000 рублей для бедного, но обманывать не станет... Дать свое имя книге... из благотворительности?! Невозможно, невозможно!.. Благотворительность предполагает пожертвование труда или денег, чего бы ни было, иначе она не благотворительность. Согласитесь, позволить напечатать свое имя не стоит никаких хлопот... Люди доброго сердца оказывают благотворительность приношением нищете какого-нибудь действительного труда, а не бросая в лицо бедному одно свое имя для продажи, что равнялось бы презрением к бедному и презрением к публике, к вам, ко мне, ко всякому».

Моральные и материальные трудности Пушкина по изданию «Современника» — особая глава биографии поэта. Я уже приводил письмо Натальи Николаевны к брату, в котором она пытается обрисовать тяжелое

душевное состояние Пушкина: «...я вижу, как он подавлен, печален, не может спать по ночам...»

Ситуация не была одномоментной, она тянулась весь «журналистский год» Пушкина, но началась в какой-то степени именно с этой статьи Сенковского, предвещавшей выход первого номера «Современника».

В те же дни, 4 февраля 1836 года, в гости к Пушкину пришел калужской помещик, сосед Гончаровых по Полотняному заводу, — Семен Семенович Хлюстин. При разговоре присутствовал и знакомый Пушкина, редактор коммерческой газеты Григорий Павлович Небольсин, зашедший по случаю.

Сначала разговор был спокойным, но затем Хлюстин, коснувшись издания «Востолы», неосторожно выразил согласие с мнением Сенковского.

Заявление Хлюстина крайне возмутило и оскорбило Пушкина, он наговорил дерзостей. Несомненно, прибавило остроты и другое заявление Хлюстина, о котором позднее написал Небольсин: «Он [Хлюстин] упомянул, <...> что Булгарин писатель недурной и романист с дарованием».

Стоит, пожалуй, сказать, что мы недостаточно знаем Хлюстина, чтобы правильно оценить его как творческую личность. Есть в его биографии факты, достойные уважения, в частности, известна его дружба с М. Ф. Орловым, привлекавшимся по делу декабристов и высланным под надзор полиции в Калужскую губернию. Возможно, именно там и познакомились эти два человека, богатый калужский помещик и опальный генерал и бывший член «Арзамаса».

Вероятно, стоит упомянуть, что Семен Семенович Хлюстин сам был человеком литературно одаренным, он переводил на французский книгу М. Орлова «О государственном кредите». Книга эта, кстати, была в свое время подарена Орловым Пушкину.

Однако все перечисленное, естественно, не исключает ссоры.

Конечно, трудно определить накал вспыхнувших страстей.

Переписка, которая началась и закончилась в течение одного дня 4 февраля, поможет нам представить — пусть отраженно! — характер конфликта.

Важно и то, что компромиссное решение в ликвидации ссоры, вырабатывалось не без участия третьих лиц.

Небольсин писал: «Только усилия общих знакомых могли предупредить неизбежную между ними дуэль».

Приведу выдержки из писем С. Хлюстина и А. Пушкина. Надеюсь, источники помогут нам объективнее оценить характер конфликта.

С. С. Хлюстин — А. С. Пушкину:

«М. Г. Я только приводил в разговоре замечания Сенковского, смысл которых состоял в том, что вы «обманули публику».

Вместо того, чтобы видеть в том с моей стороны простое повторение или ссылку, Вы нашли возможным почесть меня за отголосок г. Сенковского, Вы в некотором роде сделали из нас соединение, которое закрепили следующими словами: «Мне всего досаднее, что эти люди повторяют нелепости свиней и мерзавцев, каков Сенковский». В выражении «эти люди» разумелся я <...>.

Оскорбление было довольно ясное: Вы делали меня участником «нелепостей свиней и мерзавцев» <...>.

<...> при взаимности оскорблений, ответное никогда не равняется начальному, в котором и заключается сущность обиды. А между тем... Вы все-таки обратились ко мне со словами, возвещавшими фешенебельную встречу: «Это чересчур», «Это не может так кончиться», «Мы увидим» и т. д. Я ждал доселе исхода этих угроз, но так как я доселе не получил от Вас никаких известий, то теперь мне следует просить у Вас удовлетворения:

1) В том, что Вы сделали меня участником в нелепостях свиней и мерзавцев:

2) В том, что Вы обратились ко мне с угрозами (равнозначными вызову на дуэль) <...>.

3) В неисполнении относительно меня правил, требуемых вежливостью: Вы не поклонились мне, когда я уходил от Вас.

Честь имею <...>.

Семен Хлюстин. 4 февраля 1836 года.
СПБ, Владимирская, 75».

Не так уж малы обвинения Семена Хлюстина, как может показаться сегодняшнему читателю, свидетелю совершенно иных ссор и перебранок.

Причислить к «свиньям и мерзавцам» гостя, пришедшего с дружбою в твой дом, не попрощаться с дворянином, выказав этим свое презрение, да еще бросить

вслед: «Это не может так кончиться», «Мы увидим» и т. д., что тоже предполагает некие оскорбительные слова,— все это достаточно серьезно.

Кстати, ответ Пушкина, его позднее осознание произошедшего, желание мира, мне кажется, лучше всего подтверждает признание неуправляемой в произошедшие секунды гневной вспышки.

А. С. Пушкин — С. С. Хлюстину:

«М. Г.

⟨...⟩ Заставило меня выразиться *с излишней горячностью* сделанное Вами замечание о том, что я был неправ накануне, принимая близко к сердцу слова Сенковского. Отожествлять Вас со свиньями и мерзавцами, конечно, нелепость, которая не могла прийти мне в голову, ни даже сорваться с языка *в пылу спора*.

⟨...⟩ Расставаясь с Вами, я сказал, что так оставить это не могу, это можно рассматривать как вызов, но не как угрозу.

⟨...⟩ Вследствие этого я поручил г. Соболевскому просить Вас ⟨...⟩ взять Ваши слова обратно или же дать мне обычное удовлетворение. Доказательством того, насколько мне последний исход был бы неприятен, служит именно то, что я сказал Соболевскому, что я не требую извинений...

Что касается невежливости, состоявшей будто бы в том, что я не поклонился Вам, когда Вы от меня уходили, то прошу Вас верить, что то была рассеянность совсем невольная, в которой я прошу у Вас извинения от всего сердца.

Имею честь...

А. Пушкин. 4 февраля».

Слова «с излишней горячностью» и «в пылу спора» выделил я. Думаю, авторское признание подтверждает суть возникшей ситуации.

Кстати, любопытно в этом смысле и третье письмо уже более-менее успокоенного объяснениями А. С. Пушкина «оскорбленного» дворянина С. С. Хлюстина. Принимая письмо оскорбителя с частичным удовлетворением, Хлюстин настаивает: «Относительно уверений, что у Вас не было мыслей приобщить меня к св⟨...⟩ и прочее, мне недостаточно. Все *мои воспоминания*⟨...⟩ заставляют меня думать, что Ваши слова выражают обиду даже в том случае, если в Вашей мысли ее не было».

Итак, судя по взаимным «воспоминаниям», ссора все же была бурной и, вероятно, не совсем уж рассудочной, если авторы утверждают о каких-то «провалах памяти».

Другое дело, что острый конфликт, возникший в течение недолгих мгновений, был уже разрешен к концу дня. Однако последствия истории с «Вастолой», в которой ссора с С. С. Хлюстиным оказалась какой-то ее частью, можно было проследживать и дальше, в течение всего 1836 года.

Ради справедливости следует сказать, что спустя две недели, в конце февраля, Пушкин послал теперь через Хлюстина очередной вызов, но уже В. А. Соллогубу, который тоже едва не кончился дуэлью.

Последний факт говорит не только о вспыльчивости Пушкина, но и о его отходчивости.

Однако «отходчивость» Пушкина не может быть доказательством «отходчивости» Натальи Николаевны, если она знала о возникшем конфликте со своим соседом или хотя бы видела гнев Пушкина, слышала его мотивировки в те часы 4 февраля.

Предчувствуя возражения и охотно соглашаюсь с ними, что скорее всего Наталья Николаевна не ведала о возможной «фешенебельной встрече», как называет дуэль ее калужский сосед, как не знала Наталья Николаевна и о вызове, посланном Соллогубу, но кое-какие характеристики Семена Семеновича, вероятно, до нее дошли, вызвали ее согласную с мужем реакцию.

В тридцатые годы и в переписке Пушкина, и в письмах сестер Гончаровых встречаются несколько раз вполне доброжелательные упоминания о Хлюстиных. Еще в 1832 году Александра Николаевна восторженно писала о посещении Троицкого — поместья Хлюстина, особенно о его библиотеке: «Я умираю от желания украсть у него некоторые из его прекрасных книг».

Заслуживает внимания и шутовское письмо Пушкина к жене, написанное 27 июня 1834 года: «...ты пишешь <...> что думаешь выдать Катерину Николаевну за Хлюстина, а Александру Николаевну за Убри: ничему не бывать; оба влюбятся в тебя; ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим мужем, чтобы ухаживать за другими в твоём присутствии, моя красавица. Хлюстин тебе врет, а ты ему и веришь; откуда берет он, что я к тебе в августе не буду? Разве он пьян был от ботвиньи с луком?»

Анастасия Семеновна де Сиркур (Хлюстина) в это

время уже была за границей. Барышни Гончаровы с интересом следят за ее европейской жизнью. Александра Николаевна то рассказывает о портрете де Сиркур на фоне Колизея, то опровергает слухи о ее трагической кончине.

Фактически до 4 февраля 1836 года отношения Пушкина — Гончаровых — Хлюстина — Сиркур можно считать добрососедскими, и только после ссоры из-за «Востолы», а точнее, после оскорбительных выпадов С. С. Хлюстина, естественно предположить, что отношение Натальи Николаевны к своему соседу переменилось.

Думаю, не преувеличу, если оставшийся Пушкину последний 1836 год назову годом «Современника». Волнения, связанные с изданием, с цензурой, денежные затруднения, о чем так выразительно (и не раз!) пишет Наталья Николаевна брату, — все это умножалось в борьбе за журнал.

Знали ли об этих трудностях сестры Гончаровы? Вероятно, знали. Достаточно вспомнить несколько их обращений к брату, попытку объяснить положение семьи Пушкиных: «Таша обнимает тебя от всего сердца и бесконечно благодарит за деньги, которые пришли как нельзя более кстати, так как она имела в них очень большую нужду... Право, стыдно, что мать ничего не хочет для них сделать», — писала Александра Николаевна в ноябре 1835 года.

Но вернемся к «Современнику», к истории с Сенковским и косвенно с Хлюстиным.

Первый номер журнала имел отметку об одобрении цензора от 31 марта 1836 года, но уже в нем появилась заметка Пушкина (без подписи) о нападках Сенковского.

«В одном из наших журналов, — писал Пушкин, не называя «Библиотеку для чтения», — дано было почувствовать, что издатель «Востолы» хотел присвоить себе чужое произведение, выставя свое имя в книге, им изданной. Обвинение несправедливое: печатать чужие произведения с согласия или по просьбе автора до сих пор никому не воспрещалось. Это называется издавать; слово ясное, по крайней мере, до сих пор другого не придумано...»

В четвертом номере журнала, подписанном цензором 11 ноября 1836 года, Пушкин подтвердил авторство

заметки, опубликованной им в номере первом. Таким образом, фельетон Сенковского не забывался Пушкиным весь 1836 год; легко допустить, что не забывались и люди, принявшие сторону издателя «Библиотеки для чтения».

Что же касается сестры Хлюстина Анастасии Семеновны де Сиркур, то, будучи замужем за французским журналистом графом де Сиркуром, она и сама пытается писать, во французских журналах ей принадлежат воспоминания о Пушкине. Но истинного понимания Пушкина у Сиркур не было, достаточно привести фразу из ее письма Жуковскому в начале 1837 года: «Его (Пушкина.— С. Л.) беседа обнаруживала зрелость, которую я еще не находила в его лучших стихах».

Вполне определенно характеризует Сиркур и письмо Екатерины. «Русский Париж» отворачивается от Дантесов, единственным гидом остается Анастасия Сиркур.

Все это нужно помнить, читая неизвестное письмо Александры Николаевны Гончаровой и Натальи Николаевны Пушкиной к Екатерине Дантес (некоторые комментарии, объясняющие названные в нем события, будут даны в сносках по ходу письма).

Начинает его Александра Николаевна.

«Сентября 2-го 1838.

Зачну свое письмо, любезная сестра, тысяча и тысяча извинениями, что так давно к тебе не писала. Но вот мои причины. Твое я получила в апреле месяце накануне отъезда нашего в Ярополец на свадьбу брата Ивана, про которую ты уже слышала. Описывать ее тебе не стану, потому что она произошла весьма тихим образом, кроме семейства наших и Мещерских чужих никого не было. Мари — умна, мила, хороша, добра — все, что можно желать для совершенного благополучия брата, мы с ней весьма подружились, и признаюсь тебе, что на тех братниных жен и смотреть не хочется после нее. Петр с женою ¹ также были в Лотошино ² в то время, и мы очень часто с ними виделись. Мы пробыли у матери около шести недель, в которое время были принуждены

¹ Петр Иванович Мещерский был женат на Екатерине Николаевне Карамзиной, таким образом, Мария Ивановна Мещерская, жена Ивана Николаевича Гончарова и сестра Петра Ивановича, оказалась в свойстве с семьей Карамзиных.

² Поместье Мещерских.

за болезнью Гриши ¹ съездить в Москву, где прожили неделю; потом возвратились в Ярополец ², а оттуда к 1 июня приехали сюда. В то время родила Сережина жена ³ дочь Марию. Брат просил убедительно сестру крестить маленькую. Мы, следственно, обратным образом поехали в Москву. Накануне нашего отъезда родила здесь жена ⁴ брата Дмитрия опять сына Дмитрия, уже 2-го. Мы прожили в Москве две недели. По возвращению нашем сюда нашли мы здесь мать, которая также приехала для крестин. ⁵ Дмитриева жена сделалась после родов опасно больна, мы целый день принуждены были бегать из дома в дом, ибо мать жила у них в белом замке ⁶. Сей образ жизни продолжался месяц. Лизавета Егорьевна не оправлялась, мать не могла ехать. Наконец, стало ей полегче, мать уехала в Ярополец тому три дня. На другой день ее отъезда проводили мы также Сережу с женой и сыном, которые приезжали сюда к 27 августа ⁷, а вчера отправилась вся царская фамилия в Калугу, то есть Дмитрий с супругой и бельсер также, и наследник. Благоверной императрице советовали для совершенного поправления здоровья прожить месяц в столице. И так только теперь в уединении могли найти минуту свободную к тебе писать. Вот все мои резоны, присоединить ко всему общую нашу мать [нрзб.], и на этот шет больше ничего сказать не остается. Ты спрашиваешь в своем письме если Авдотья ⁸ уго-

¹ Младший сын Пушкина, родился 15 мая 1835 года.

² Владение Натальи Ивановны Гончаровой. Полотняный завод — поместье Дмитрия Николаевича Гончарова, старшего брата сестер Гончаровых.

³ Сергей Николаевич Гончаров, младший брат, был женат на баронессе А. И. Шенк.

⁴ Елизавета Егоровна (урожденная кн. Назарова) — жена Дмитрия Николаевича, «хозяйка» заводов.

⁵ Крестины Дмитрия (2-го), сына Дмитрия Николаевича и Елизаветы Егоровны.

⁶ В Полотняном заводе было два господских дома: «белый замок», барский, в нем жил Дмитрий Николаевич с семьей, и «красный замок», дом, в котором в 1834 году жил Пушкин, «пушкинский», там и жили Наталья Николаевна с детьми и Александра Николаевна. «Красный замок» был удобен, обширен, находился в красивом саду вблизи прудов, среди оранжерей и фруктовых деревьев.

⁷ 27 августа — день рождения Натальи Николаевны, 26 августа — день именин Натальи Ивановны и Натальи Николаевны.

⁸ Любимая горничная Екатерины Николаевны, очень расторопный человек. «...у вас ли еще Авдотья? — писала Екатерина брату в ноябре 1837 года. — Я многое отдала бы, чтобы ее опять иметь, потому что та, что здесь у меня, — настоящая дура, решительно ничего не умеющая делать».

монила. Давно она в Петербурге принялась к какой-то Олениной, должно быть Annete. Может статься, что когда получишь мое письмо, она уже будет при тебе, то можешь ее поцеловать от меня. Говоря про Авдотью, я вспомнила, что еще не говорила тебе о свадьбе своей Матрены. Вот другая неделя, что она замужем за Вессарионом¹, который между прочем при нас вот уже год. Свадьба была превеликолепная. Благодарю Сиркур за ее память; она мила что вспомнила об нас; на счет комиссий никаких пока не могу дать ей теперь кроме ватозного шляфора для зимы, ибо я больше ничего не наносу. А что дальше будет — Бог весть (оба раза подчеркнуто Александрой Николаевной. — С. Л.). Поцелуй ее, однако, от меня и скажи ей, что я ее также очень люблю. Ты спрашиваешь, что делают твои пансионеры, встречаю я их иногда на улице. Катя и Надя большие девки, но я думаю, что проку в них мало будет, ибо мать весьма вяла. На Святой неделе утонула их меньшая сестра в колодце, ты ее не знала, она родилась после нашего отъезда. Забыла тебе объявить еще свадьбу, но вероятно ты об ней уже слышала. Катенька Калечиц² идет за какого-то армейского офицера шведа (фамилия неразборчиво. — С. Л.). Она сама говорит, что он дурак, не очень умен и ничего не имеет, но, впрочем, добрый малый. Однако пора оставить перо сестре, прощай, душа моя, целую тебя от души и желаю всякого благополучия и здоровья. Не забывай нас своими письмами. Еще раз прощай».

Продолжение письма — страница и оборот — порывавший лист, исписанный мелким почерком: Наталья Николаевна к Екатерине Николаевне.

«Мы точно очень очень виноваты перед тобою, душа моя, давно к тебе не писали³, разные обстоятельства

¹ Слуги Натальи Николаевны, с ними она уезжает в 1841 году в Михайловское. Сохранилось грустное письмо Натальи Николаевны к Дмитрию: «Касса моя совершенно пуста, для того чтобы как-то существовать, я занимаю целковый у Вессариона, другой — у моей горничной, но и эти ресурсы скоро иссякнут».

² Соседка Гончаровых, ее имя встречается в письмах сестер неоднократно. «У нас живут Калечицкие, — писала Александра Николаевна в июле 1832 года. — (...) Надеюсь, что дедушка из-за них не волнуется больше, так как расходы (...) его не разорят. Катенька просит передать тебе множество приветов».

³ Можно предположить, что предыдущее письмо было в середине 1837 года. Александра Николаевна отвечает на вопрос об Авдотье, заданный Екатериной Николаевной в письме от 30 ноября 1837 года.

[illegible]

[illegible]

были тому причиною. С апреля месяца мы на месте не посидели. Теперь возвратились сюда, жду тетку и Сергея Львовича. Брат со всем семейством отправились в Калугу на весь сентябрь месяц. Жена его была опасно больна, но теперь, как мне кажется, опасность совсем миновалась. Гриша у меня в одно время сильно занемог, первая поездка моя в Москву была единственно для него, советы докторов и предписания их много ему помогли, теперь он, слава Богу, оправился. Я тебе, кажется, еще ничего не писала про новую нашу *belle sœur*. Она очень мила, добра, умна, мы с ней часто виделись в Яропольце, очень подружились... [нрзб. два слова], что из всех трех братьев брата Ивана выбор всех счастливее. Софи Карамзина была нынешнею весною у сестры¹ в Лотошине, но, к крайнему нашему сожалению, мы ее не видали, она возвратилась в П[етербург] несколькими днями перед нашим приездом в Ярополец.

М-м Сиркур поблагодари за память и поцелуй ея, услугами ея пользоваться не можем, ибо мы из черных шлафоров не выходим, но все-таки очень благодарны за предложение. Брат ея Хлюстин много здесь пакостит, он судья в Медыне², и хуже самого крючковитого подъячево. Про жену его многие толки в Москве, но все почти не в ея пользу. Мы ее ни разу не видели, ибо двери нашего красного замка крепко заперты. В белый дом она езжала, по-видимому, с бельсерио подружилась (хотя заглазно, как до нас дошло, много смеялась), но теперь они в ссоре, — муж с братом, а жена с женою³.

Пора мне, кажется, с тобою проститься, душа моя, будь здорова, дочку свою поцелуй. Дети мои, слава Богу, здоровы, целую тебя от искреннего сердца. Нина⁴ тебя крепко целует и ждет письма».

Думаю, не покажется странным, если я начну сразу с письма Натальи Николаевны, нарушив очередность. Письмо Пушкиной представляет для нас большой, если не сказать — огромный, интерес. И тем, что оно написано в период траура, и тем, что адресуется к сестре

¹ Софья Николаевна Карамзина — старшая сестра Екатерины Николаевны Мещерской.

² Уездный город в Калужской губернии.

³ Хлюстин с Дмитрием, жена Хлюстина с Елизаветой Егоровной.

⁴ Нина Доля — гувернантка, подруга Екатерины Николаевны.

в Париж, и приметами собственной жизни, и характеристиками, которые Наталья Николаевна дает в нем известным людям, и рядом упоминаний.

Письмо начинается мягко, извинительно, просьбой выслушать причины, из-за которых вот уже год, как она не могла написать сестре. Слова эти, бесспорно, дань вежливости, приличествующей воспитанному человеку. Так же, думаю, нужно рассматривать и последние фразы, в которых есть доброжелательное «дочку свою поцелуй», есть упоминание о Нине Доля, которая «крепко целует» Екатерину и ждет от нее письма. Нет только личной просьбы Натальи Николаевны продолжать их переписку. Нет и не может быть каких-либо других известных обеим имен...

Письмо начинается с фразы «жду тетку и Сергея Львовича», за которой каждое предложение наполняется особым содержанием, понятным сестре.

Разница между беззаботным посланием словно бы потерявшей память Екатерины, приехавшей развлечься в Париж из провинциального Сульца, и сдержанным письмом Натальи Николаевны Пушкиной, вдовы и матери, огромна. Не могу исключить, что причиной ответа Екатерине было тайное желание Натальи Николаевны напомнить сестре о великом горе, вдовстве и сиротстве своей многодетной семьи.

Все, чем теперь живет Наталья Николаевна, кого ждет в гости, с кем бы хотела видаться и кого бы видеть ни за что не хотела, — это люди, так или иначе связанные с Пушкиным, с их прошлым.

Не назидая — только однажды впрямую напомнив о «черном шлафоре», единственно возможной для нее в эти скорбные годы траурной одежде, — Наталья Николаевна преподает старшей сестре урок нравственности и высокого достоинства.

Чем, какими интересами, какими ожиданиями живет она почти два года в заводе?

Наталья Николаевна называет тетку Екатерину Ивановну Загряжскую, для которой именно она, Наталья, навсегда осталась «дочерью своего сердца», человека, однозначно и даже воинствующе принявшего сторону Пушкина.

Резкое отстранение Загряжской от четы Дантесов оказалось для Екатерины Николаевны далеко не безразличным. В течение многих лет Екатерина ищет и не может найти путей восстановления с теткой, в недавнем

прошлом ее благодетельницей, добрых отношений. В сентябре 1837 года, ровно за год до письма Натальи Николаевны, Дмитрий писал старшей сестре в Париж: «Ты спрашиваешь меня, почему она (Е. И. Загряжская.— *С. Л.*) не пишет тебе; по правде сказать, не знаю, но не предполагаю другой причины, кроме боязни уронить свое достоинство или, лучше сказать, свое доброе имя перепиской с тобою, и я думаю, что она напишет тебе не скоро».

Прямое, даже жесткое объяснение Дмитрия, слова «доброе имя», «свое достоинство», видимо, больно кололи Екатерину Николаевну. Новое упоминание о тетке она невольно должна была воспринимать как выпад против себя. Уже в следующем письме, отправленном из Сульца 1 октября 1838 года, где она ссылается на полученное от сестер письмо, Екатерина Николаевна не удерживается и комментирует слова Натальи Николаевны. «Скоро вы будете иметь огромное счастье,— иронизирует она,— принимать у себя добрую, несравненную, сентиментальную тетку Катерину, с чем тебя искренне поздравляю, но предпочитаю, чтобы это случилось с тобой, а не со мной, так как своя рубашка ближе к телу, как ты знаешь. Напиши мне подробно,— словно бы противоречит она себе, подчеркивая свою заинтересованность в полученном известии,— о пребывании в ваших краях этого благодетельного существа, а также засвидетельствуй ей заверения в моих нежных и почти-тельных чувствах».

Обиду на Загряжскую, ревность к сестре легко проследить и в других, более поздних, письмах Екатерины Николаевны, она не может скрыть своего раздражения за иронией, а то и сарказмом.

«Что они (сестры.— *С. Л.*) поделявают,— спрашивает она у брата в ноябре 1839 года, так и не дождавшись следующего письма от Натальи Николаевны,— по-прежнему ли находятся под покровительством тетушки-факельщицы?»

Чрезвычайно знаменательно прозвище, придуманное Екатериной Николаевной. В словаре Даля сказано, что «факельщики идут четами впереди погребального шествия». Видимо, об известной непримиримости тетки и пишет племянница.

Особое значение, мне кажется, имеет названное в письме имя Сергея Львовича.

Для Екатерины Николаевны упоминание Сергея

Львовича — это прямая память о Пушкине, по-прежнему кровоточащая рана сестры.

Оба названных имени — упрек забывчивой Екатерине Николаевне и, как в дальнейшем окажется, последняя попытка напомнить старшей сестре о ее раскаянии перед отъездом, ее слезах, таких, оказывается, пустых.

Что касается действительного приезда Сергея Львовича на Полотняный завод в 1838 году, то свидетельствующих этот факт источников мне найти не удалось. Ожидали тетку Екатерину Ивановну Загряжскую, которая собиралась «похитить сестер» в Петербург. Не специально ли упоминает Наталья Николаевна о возможном приезде отца Александра Сергеевича? Да и каким еще другим именем можно так ясно и определенно сказать о переживаемой ею неизбывной трагедии?!

Известно, что Сергей Львович приезжал в завод летом 1837 года. Приведу отрывок из письма Натальи Николаевны к свекру, написанного в мае 1837 года:

«Тысячу раз благодарю Вас, что Вы так добры и хотите приехать и повидать меня в заводы. Я бы никогда не осмелилась просить Вас быть столь снисходительным, но принимаю Ваше намерение с благодарностью, тем более, что я могла бы Вам привезти только двух старших детей, так как у одного из младших режутся зубки, а другую только что отняли от груди, и я боялась бы подвергнуть их опасности дальнего пути...»

Замечательным свидетельством является письмо Сергея Львовича к Вяземскому от 2 августа 1837 года:

«Я провел десять дней у Натальи Николаевны. Нужды нет описывать Вам наше свидание. Я простился с ней, как с дочерью любимой, без надежды еще ее увидеть, или, лучше сказать, в неизвестности, когда и где я ее увижу. Дети — ангелы совершенные, с ними я проводил утро, день с нею семейно».

Как вдова, несущая теперь всю ответственность за здоровье сирот, сообщает Наталья Николаевна о единственной причине своей поездки в Москву — болезни ребенка.

«Гриша у меня <...> сильно занемог, первая поездка моя в Москву была *единственно* для него».

Фактически эта фраза — антитеза всему письму Екатерины Николаевны из Парижа. Театры, рестораны,

веселье — с одной стороны, а с другой — беда, страх за ребенка: две разные жизни, два взгляда.

Существует еще письмо Натальи Николаевны к брату Дмитрию Николаевичу из Москвы 15 мая 1838 года: «Я здесь только для того, чтобы посоветоваться с врачами, никого не вижу, кроме них, и нахожусь в постоянной тревоге. Надеюсь, однако, что болезнь Гриши не будет иметь серьезных последствий, как я опасалась вначале...»

С тем же, мне кажется, потаенным смыслом упоминает Наталья Николаевна и о приезжавшей к сестре в Лотошино Софье Николаевне Карамзиной, которую они, сестры, «к крайнему <...> сожалению», не видели.

И для Натальи Николаевны, и для Екатерины Николаевны семья Карамзиных символизирует круг пушкинских друзей, центр пушкинских интересов. Это теперь мы знаем, как бывала несправедлива в своих суждениях и письмах Софья Николаевна Карамзина, как язвительны ее оценки жены Пушкина. Однако тогда, в сентябре 1838 года, живя в отрыве от Петербурга, Наталья Николаевна могла думать о Карамзиных только с благодарностью и любовью. «Сожаление» не только искренне, в нем заключено желание увидеть близкого друга, поговорить с ним о неизбывном и самом дорогом. И это тоже не могла не понять Екатерина Дантес.

Особенно интересной и, я бы сказал, важнейшей и в какой-то степени неожиданной частью письма Натальи Николаевны является абзац о госпоже де Сиркур и особенно характеристика ее брата — Семена Семеновича Хлюстина.

Можно предположить, что, кроме приведенного письма от Екатерины Николаевны, Дмитрию было письмо или приписка к сестрам, в котором передавалось любезное предложение их бывшей соседки, дамы высшего парижского общества — графини де Сиркур, нынешнего гюга четы Дантесов по веселящемуся Парижу. Уже не сама Екатерина, а посторонний человек как бы искушает сестер парижскими соблазнами.

Ответ Александры Николаевны вполне любезен, хотя и несколько уклончив. Кажется, Александрине пока просто неудобно (возможно, в присутствии сестры) принимать заманчивое предложение из Парижа.

«Благодаря Сиркур за ее память,— пишет Александра,— она очень мила, что вспомнила об нас; на счет комиссий никаких пока не могу дать ей *теперь* кроме

ватошного шлафора для зимы, ибо я больше ничего не нанашу. А что дальше будет — Бог весть. Поцелуй ее, однако, от меня и скажи ей, что я ее также очень люблю».

Александра Николаевна жирной чертой подчеркивает «ватошный шлафор» и «Бог весть», как бы временно отставляя это заманчивое предложение де Сиркур. «Пока», — уточняет она. Впереди Петербург, там необходимость в «комиссии», возможно, возникнет.

Как непохоже на это звучит ответ Натальи Николаевны!

Реакция ее могла бы показаться неадекватной, если бы это был ответ только де Сиркур. Но в том-то и дело, что Наталья Николаевна пишет Екатерине Николаевне, упрекает ее, так быстро забывшую все, произошедшее в России, и теперь будто бы не понимающую обстоятельств жизни сестры.

Наталья Николаевна обрушивается не на единственную добровольную благодетельницу Екатерины, а на ее калужского брата, хотя, казалось бы, какое отношение имеет Семен Хлюстин к предложенной «комиссии» из Парижа?!

Удивительно строит Наталья Николаевна свой категорический отказ. Она, человек воспитанный, конечно же, вначале благодарит де Сиркур за ее предложение, но тут же объясняет, что это предложение бестактно. После этого снова благодарит де Сиркур.

«М-м Сиркур поблагодари за память и поцелуй ее, — пишет она, и вдруг резкое, как удар, — услугами ее пользоваться не можем, ибо мы из черных шлафоров не выходим, — а затем опять светское, — но все-таки очень благодарны за предложение».

Это «все-таки», идущее после «черных шлафоров», поразительно. Какую короткую память нужно иметь, чтобы предложить ей, вдове, в месяцы траура праздничные парижские одежды?! И кто берется за такое посредничество? Жена убийцы.

«Брат ея Хлюстин много здесь пакостит, — казалось бы, совершенно неожиданно сообщает Наталья Николаевна, по всей вероятности объединяя по нравственным повадкам родственников Хлюстиных, — он судья в Медыне, но хуже самого крючковитого подъячего».

Обычно мягкая, сдержанная, любезная в письмах, Наталья Николаевна обрушивается на семью Хлюстиных.

«Про жену его многие толки в Москве, но все почти не в ее пользу. Мы ее ни разу не видели, ибо двери нашего красного замка крепко заперты».

Категорическое неприятие Натальей Николаевной всех Хлюстиных, для которых накрепко закрыты двери «красного замка», мне кажется, дает возможность мысленно перенестись в тот тревожный февральский день 1836 года, во всполошенный дом разъяренного Пушкина, где, по всей вероятности, его гнев разделяла не одна урожденная Гончарова, а было понимающее единодушие. Теперь старшая сестра Екатерина забыла об этом, и Наталья Николаевна пытается указать ей на слишком короткую память. Как можно забывать такое недавнее и по-прежнему болезненное?!

С явным осуждением за неразборчивость характеризует Наталья Николаевна и стремление жены брата, да и самого Дмитрия, вести дружбу с Хлюстиным. Особенно достается Елизавете Егоровне.

Кстати, образ Елизаветы Егоровны возникает довольно определенный уже при чтении письма Александры Николаевны, по сути дела, Наталья Николаевна только слегка дополняет мнение сестры.

Правда, не желая никого характеризовать напрямую, Наталья Николаевна избирает форму сравнения.

«Я тебе, кажется, еще ничего не писала про новую нашу *belle soeuer*. Она очень мила, добра, умна, мы с ней часто виделись в Яропольце, очень подружились,— пишет она о Марии Мещерской, жене Ивана Николаевича. И дальше вполне определено: — Из всех трех братьев брата Ивана выбор всех щастливее».

Екатерина Николаевна, бесспорно, уловила суть этих писем. Обиженная Натальей Николаевной, она тут же пытается сыграть на конфликте сестер с семьей брата, восторженно льстит в следующих письмах Елизавете Егоровне. И не только! Она старается больше и злее ранить сестру.

«Как ты живешь, как здоровье жены и мальчика,— спрашивает Екатерина Николаевна у брата 3 ноября 1838 года, понимая, конечно, а вероятно, и рассчитывая, что письмо будет читаться всеми обитателями завода,— я надеюсь, что Лиза уже совсем поправилась, передай ей от меня тысячу нежных приветов. Хотя я ее и не знаю, я люблю ее от всего сердца, знаю, что она составляет счастье брата, которого я нежно люблю».

Надо признаться, дорогой Дмитрий, что ты и я, мы

оба самые счастливые смертные в браке, так как я тоже самая счастливейшая женщина на свете, любимая и балуемая мужем, который обожает меня».

Думаю, это письмо нельзя воспринимать иначе как вызов сестре, вдове и матери. Слишком громко, рассчитывая на болезненное кусание открытой раны, кричит Екатерина о своем супружеском счастье. Фактически этим письмом она сама ставит точку, обрывая так и не налаженные их отношения, возможные, разумеется, только при искреннем сочувствии горю сестры.

«В последние годы,— замечают И. Ободовская и М. Дементьев,— Екатерина Николаевна укоризненно-раздраженно постоянно жалуется, что сестры ей не пишут».

Да, это так. Но теперь упреки Екатерины Дантес не задевают Наталью Николаевну Пушкину. Даже смерть Екатерины не вырывает из уст младшей сестры прямого сожаления; она остается самою собой и в этой ситуации. «Бедные дети!» — только вздохнет она.

Невольно думаешь, какие же три разных характера поселились в доме Пушкина! Как нелегко было и ему, и Наталье Николаевне рядом с сестрами! Как прав был Пушкин, предостерегая жену от опасного, хотя и доброго шага: приглашения сестер в Петербург.

Письма Натальи Николаевны и Екатерины Николаевны словно бы обнажают душевные качества каждой сестры, показывают их характеры в противоборствующем диалоге. Высокая порядочность, сдержанность, чувство чести младшей, уязвленное честолюбие, злое раздражение, эгоистическая глухота и неблагодарность старшей сестры.

Но так ли была счастлива Екатерина Дантес, так ли уж забылись ею дом и родина? Правда ли все, столь крикливо заявленное в ноябрьском письме? Можно ли этому верить?

Многие последующие письма Екатерины Дантес полны обратных свидетельств, сквозь слезные просьбы о деньгах то и дело прорывается ее тоска по оставленному и невозвратимому.

«...Ты живешь среди того, что тебе дорого,— писала Екатерина Николаевна Дмитрию в мае 1839 года,— а я так оторвана от моей семьи, что если кто из вас хоть иногда не смилуется надо мной и не напишет, я совсем не буду знать, живы или нет вы, а ведь не так легко отка-

заться от всего того, чем так привыкла дорожить с раннего детства».

Но обратного пути уже не было. Попытки восстановить хотя бы формальные отношения с сестрами оказались невозможными, прошлое стояло между ними...

В многочисленных публикациях, опирающихся на различные свидетельства, среди которых особое место занимают рассказы пресловутых Александра Трубецкого или Идалии Полетики, а также светские письма Софьи Карамзиной или Евпраксии Вревской, сложилось почти каноническое представление об Александре Николаевне Гончаровой как о человеке, близком Пушкину, понимающем и любящем поэта значительно больше, чем жена. Достаточно напомнить фразу из письма Евпраксии Николаевны Вревской к брату: «Сергей Львович был у невестки, нашел, что сестра ее более огорчена потерей ее мужа...»

Я приводил письмо Сергея Львовича к Вяземскому, — с каким уважением и теплом говорил он о Наталье Николаевне и внуках!

Думаю, пространное письмо Александры Николаевны к Екатерине Дантес — документ в этом смысле не менее неожиданный, чем письмо Натальи Николаевны. Только неожиданность письма Александры Николаевны обратного свойства.

Перечисления свадеб дворовых, история пансионеров, Катенька Калечиц, выходящая замуж за армейского офицера, дурака шведа, — все это по мере чтения начинает удручать. И еще больше начинаешь ценить характер Натальи Николаевны, ее сдержанную прямооту, мужественность и четкость позиции, я бы даже сказал, ее закаленность горем.

Как показали письма Екатерины Николаевны от 1 октября и 3 ноября 1838 года, ничего доброжелательного и доброго в ее памяти не сохранилось.

Становилось ясно, что поддерживать дальнейшие отношения бессмысленно.

И, наконец, последнее, о чем хотелось бы сказать, обдумывая новонайденное письмо Натальи Николаевны.

Традиционное толкование январского и февральского писем Дантеса к Геккерну в Париж с его рассказом о сверхтайной любви к некоей даме как «неопровержи-

мого» обвинения в адрес Натальи Николаевны, — о чем подробно говорилось в предыдущей главе, — кажется еще более сомнительным после полученного мной из семьи Дантесов неизвестного ранее и такого поразительного письма.

С глубоким внутренним убеждением я говорю: «дамой», «красавицей», в которую был влюблен Дантес, о которой «сверхтайно» сообщал Геккерну, была не жена Пушкина, а совершенно другая женщина.

Александр Иванович Куприн с искренним сожалением писал о слухах по поводу появившихся писем Дантеса: «Есть будто бы письмо, говорящее с несомненностью о том, что разговоры о легкомысленном поведении его [Пушкина] жены не были безосновательны. Мне это жалко и больно... Я хотел бы представить женщину, которую любил Пушкин, во всей полноте счастья обладания таким человеком!»

Мне кажется, что публикуемое письмо Натальи Николаевны к Екатерине Дантес дает именно такое высокое представление о жене поэта.

«У сердца есть своя стыдливость, — говорила Наталья Николаевна о самой себе в одном из поздних своих писем. — Позволить читать свои чувства мне кажется профанацией. Только Бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца».

Исчезнувшие письма Натальи Николаевны к Пушкину — это единственно верный, но пропавший ключ от ее сердца.

Исчезнувшие письма заменить нечем. Но частично их могут восполнить такие письма, как июльское 1836 года к брату Дмитрию или же письмо времени траура и скорби, в котором явно слышна непроходящая боль ее живой души.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ВТОРОЕ

В книге Э. Герштейн «Судьба Лермонтова», в первом ее издании, я натолкнулся на небольшой абзац, десятистрочное авторское отступление от темы.

Произошло удивительное совпадение. Неделий раньше я прочитал в «Русском архиве» за 1888 год более чем странное и, как оказалось, чрезвычайно редко цитированное письмо Петра Андреевича Вяземского от 16 февраля 1837 года к Эмили Карловне Муслиной-Пушкиной.

Вяземский сообщал адресату о каких-то людях, хорошо известных обоим, подстроившим поэту «гнусную западню». Вяземский называл их «красными».

Среди «красных» Петр Андреевич выделил одного «наикраснейшего» или «красного в высшей степени», к которому еще недавно Эмилия Карловна явно была безразлична («надеюсь, Вы охладели»), именно на особой вине этого человека и настаивал Вяземский, написав, что на нем «столько же черных пятен, сколько и крови».

Э. Герштейн не только упомянула о кружке «красных» в Петербурге, но и назвала несколько широко известных фамилий. Был указан источник находки: Архив древних актов, фонд Мусиных-Пушкиных.

Следует сказать, что во втором издании книги абзац был изъят автором, как, вероятно, не имеющий отношения к событиям вокруг Лермонтова. Э. Герштейн считала «красным» Сергея Трубецкого, секунданта Лермонтова на последней дуэли, однако архив этого не подтверждал.

Опережая события, вынужден сказать, что предположения Э. Герштейн мне представляются не совсем точными, среди «красных» оказались люди, которые не только были близко знакомы с Лермонтовым, но и действительно повлияли на его судьбу, подробно об этом я расскажу в последней главе повести: «„Надменные потомки“. Кто они?»

Что же касается моего интереса на первом этапе работы, то это оказалась одиозная фигура Александра Васильевича Трубецкого, друга Жоржа Дантеса, кавалергарда, любимчика императрицы и одновременно автора грязных, вымышленных воспоминаний о Пушкине.

Важно еще одно обстоятельство. Граф Григорий Александрович Строганов был первым браком женат на Анне Сергеевне Трубецкой, тетке князя Александра Васильевича. Выходило, что сводный брат Идалии Полетики граф Александр Григорьевич Строганов — кузен Трубецкого по линии матери. Фактически речь продолжала идти об одной семье, а еще шире — об одном клане.

Я позвонил в Москву, в Архив древних актов.

Любезный сотрудник подтвердил, что обозначенный

фонд существует, я смогу им воспользоваться без труда.

На следующее утро я уже был в Москве, а еще через час архивист вручил мне конверт с письмами П. А. Вяземского.

Оказалось, после 1958 года никто кроме Э. Герштейн этих бумаг не требовал. Моя фамилия стояла второй.

Я вынул страницы, их было сто шестьдесят две. Сверху лежал подлинник того письма П. А. Вяземского от 16 февраля 1837 года, перевод которого я с удивлением читал в «Русском архиве».

Дальше следовала объемистая рукопись с интригующим названием «К Незабудке».

С левого края текста были проставлены цифры: дни января месяца 1837 года, того трагического января, когда погиб Пушкин.

Вяземский писал с четырнадцатого по двадцать четвертое, запись обрывалась накануне дуэли.

Впрочем, время я осознал много позднее, а тогда я перелистнул страницу и несколько секунд, даже не пытаясь разобрать отдельные слова, остолбенело разглядывал текст.

Нет, не содержание взволновало меня, не разгаданный смысл письма, а его *цвет*.

Да, все следующие страницы дневничка «К Незабудке» были написаны *красными и синими* чернилами. И в ту секунду, когда мой взгляд коснулся красного абзаца, меня словно кольнуло французское *couleur*, что означает *красный*. Выходит, именно в этом тексте мне суждено было искать ответ на шифр Вяземского, который сто пятьдесят лет назад был предназначен одному человеку, для одних глаз.

Ах, как мне не хватало знания языка! Я бросился договариваться о фотокопировании, но архив, как оказалось, берется сделать одномоментно не больше тридцати страниц, да еще минимум через полгода.

Господи, да как же можно работать, если, для того чтобы прочесть эти страницы, мне потребуется более двух лет?!

Я был потрясен и крайне взволнован, стал объяснять ситуацию — сговорились на трети существующего объема, директор пошла навстречу.

Я попытался переписывать «красные» строчки, но эта задача оказалась сверхтрудной. Мой худой английский особой подмогой не стал.

Первая порция полученных фотокопий изменила мое долгое нетерпеливое уныние. Оказалось, в преддуэльные дни все каламбуры Вяземского — «наикраснейший», «просто красный», «красный в высшей степени» — носили вполне благожелательный, шутливый характер и, как правило, относились к одному конкретному лицу.

У неведомого мне *лица* были друзья, их Петр Андреевич вкупе именовал «красными»...

Первая порция, присланная из архива, те самые пятьдесят страниц, таили в себе большую опасность, я судил о проблеме, имея часть материала, это было бесспорное легкомыслие. Кажется, я уже говорил, эмоции — плохой помощник исследователя, но это я осознал с большим, к сожалению, опозданием. Следующие сто страниц пришли тогда, когда глава «Тайна „красного человека“» уже была опубликована в журнале.

Велики ли оказались мои ошибки, я попробую расказать по ходу повести. Время, как обычно, многое уточняет и расставляет по своим местам...

Глава четвертая

ТАЙНА «КРАСНОГО ЧЕЛОВЕКА»

1. ПИСЬМА КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКОГО О ДУЭЛИ

Среди загадок пушкинской дуэли, так и не раскрытых и не объясненных временем, существует одна, которую можно было бы назвать «тайной П. А. Вяземского».

Само по себе сокрытие каких-то чрезвычайно важных фактов, связанных с дуэлью, князем Петром Андреевичем Вяземским может показаться почти невероятным. Именно Вяземский больше всего сделал для истории, зафиксировав в многочисленных письмах к друзьям самые мелкие подробности последних дней и даже часов жизни поэта. Мало того! Именно Вяземским, человеком наиболее осведомленным и близким к Пушкину, был создан «дуэльный сборник», сохранившийся и теперь в десятках экземпляров и состоящий из тринадцати наиболее значительных документов, включая и анонимный пасквиль.

5 февраля 1837 года Вяземский писал А. Я. Булгакову в Москву:

«Собираем теперь, что каждый из нас видел и слышал, чтобы составить полное описание, засвидетельствованное нами и докторами. Пушкин принадлежит не одним близким и друзьям, но и отечеству, и истории. Надобно, чтобы память о нем сохранилась в чистоте и целости истины».

И все же... Еще в 1928 году пушкинист Б. В. Казанский заметил, что Вяземскому между 5 и 9 февраля «сделались известны какие-то обстоятельства, которые изменили его взгляд на пушкинскую историю. Эти обстоятельства так и не были им раскрыты».

На основании каких фактов появилось у Казанского такое предположение?

5 февраля 1837 года, через неделю после гибели Пушкина, начинается активная переписка Вяземского со знакомыми и друзьями поэта. У Вяземского спрашивают подробности, просят быть тщательным, и он эти подробности сообщает.

Среди адресатов Вяземского оказываются совершенно разные люди: это и его друг московский почт-директор А. Я. Булгаков, и великий князь Михаил Павлович, и дочь Булгакова — княгиня О. А. Долгорукова, и фрейлина А. О. Смирнова-Россет, и графиня Э. К. Мусина-Пушкина.

Если 5 и 6 февраля Вяземский обвиняет в гибели Пушкина анонимные письма, сплетни и городскую молву, то после 9 февраля тон Вяземского становится все более таинственным, пока в письме к Эмилиии Карловне Мусиной-Пушкиной от 16 февраля не появляется совершенно новый и, казалось бы, не поддающийся объяснению мотив...

Впрочем, перечитаем отрывки из этих писем Вяземского.

Из письма А. Я. Булгакову от 5 февраля 1837 года: «О том, что было причиною кровавой и страшной развязки, говорить много нечего. Многое в этом деле осталось темным и таинственным для нас самих. Довольно нам иметь твердое задушевное убеждение, что жена Пушкина непорочна и что муж ее жил и умер с этим убеждением, что любовь и ласковость к ней не изменилась в нем ни на минуту.

Пушкина в гроб положили и зарезали жену его городские сплетни, людская злоба, праздность и клевета

петербургских салонов, безымянные письма. Пылкая и страстная душа его, африканская кровь не могли вытерпеть раздражения, произведенного сомнениями и подозрениями в обществе. «Я не желаю, чтобы петербургские праздные языки мешались в мои семейные дела,— сказал Пушкин д'Аршиаку,— и не согласен ни на какие переговоры между секундантами».

И дальше, в том же письме: «Наталя Николаевна очень слаба. О горести ее и говорить нечего... Скажи ему (брату Н. Н. Пушкиной.— С. Л.), что все порядочные люди, начиная от царской фамилии, приемлют к ней живейшее участие, убеждены в ее невинности и признают всю эту бедственную историю *каким-то фаталитетом, который невозможно объяснить и невозможно было предупредить*...

Анонимные письма — причина всего: они облили ядом раздражительное сердце Пушкина; ему с той поры нужна была кровавая развязка...

И здесь много басен, выдумок и клеветы об этом несчастном происшествии,— продолжал он 6 февраля,— и здесь много тайного для нас обоих. Что же должно быть у вас и в других местах?»

9 февраля 1837 года Вяземский пишет более пространно: «Смерть его произвела необыкновенное впечатление в городе... ибо что говорило тут, что выражалось слезами... так именно это чувство патриотизма, которое неминуемо должно было сосредоточиться в некоторых лицах, избранных и посланных Провидением на славу народа и современных им эпох.

Многие этого не поняли и не хотели понять. Они не знали или знать не могли (потому что грамота Богом не каждому дается), что публика, что петербургская Россия оплакивает в Пушкине творца Полтавы, Бориса Годунова, будущего историка Петра Великого, творца сотен произведений, отличающихся необыкновенным дарованием.

Им все казалось, мерещилось, или прикидывались они, что ближние Пушкина и подбитая ими какая-то партия оплакивает в нем творца каких-то старинных, детских его вольнолюбивых стихов, о которых сам Пушкин не помнил, ни он, ни его друзья, из коих многие даже не им были писаны, а ему приписывались литературною полицией или полицейской литературою нашею... От сего возникали разные нелепые толки, недобросовестные суждения, полоумные опасения между некоторы-

ми людьми и в некоторых салонах высшего общества или лучше сказать, *презрительный coterie* (кружок.— *фр.*), в таких людях, у которых нет ничего русского ни в уме, ни в сердце, которые русские разве что русскими деньгами, набивающими их карманы, и русскими лентами, обвешивающими их плечи<...>.

Они Пушкина знали по некоторым недостаткам его, по неосторожным вспышкам раздражительного ума, по некоторым его стихотворным шалостям, которые подслушивала и собирала полиция, подобно ассенизаторам, которые только и знают порядочных людей как по предмету, который из домов их ночью вывозят они в кадках своих».

В письме Вяземского от 10 февраля появляется новый, весьма важный мотив.

«Я опять нездоров. Инфлюэнца физическая и моральная меня довела. И горло болит и голова<...>. Эта гроза, которая разразилась над нами, не могла не потрясти души и тела. Чем более думаешь об этой потере, чем *более проводишь* обстоятельство, доньше бывших в неизвестности и которые время начинает раскрывать понемногу, тем более сердце обливается кровью и слезами.

Адские сети, адские козни были устроены против Пушкина и его жены. Раскроет ли время их вполне или нет, неизвестно, но довольно и того, что мы уже знаем. Супружеское счастье и согласие Пушкиных было целью развратнейших и коварнейших покушений двух людей, готовых на все, чтобы опозорить Пушкину. Но теперь, если истина и обнаружится и Божье правосудие оправдается и на земле, то уж бедного Пушкина и не воротить. Он пал жертвою людской злобы».

14 февраля Вяземский закончил большое письмо великому князю Михаилу Павловичу и послал его в Рим. Приведу несколько выдержек:

«...Вашему Императорскому Высочеству небезызвестно, что молодой Геккерн ухаживал за госпожой Пушкиной. Это неумеренное и открытое ухаживание порождало сплетни в гостиных и мучительно озабочивало мужа. Несмотря на то, он, будучи уверенным в привязанности к себе своей жены и в чистоте ее помыслов, не воспользовался своей супружеской властью, чтобы вовремя предупредить последствия этого ухаживания, которое и привело на самом деле к неслыханной катастрофе, разразившейся на наших глазах. 4 ноября

прошлого года моя жена вошла ко мне в кабинет с запечатанной запиской, адресованной Пушкину, которую она только что получила в двойном конверте по городской почте. Она заподозрила в ту же минуту, что здесь крылось что-нибудь оскорбительное для Пушкина (...).

(...) *Некоторые из коноводов* нашего общества, в которых нет ничего русского, которые и не читали Пушкина, кроме произведений, подобранных недоброжелателями и тайной полицией, не приняли никакого участия в общей скорби. Хуже того,— они оскорбляли, чернили его. Клевета продолжала терзать память Пушкина, как терзала при жизни его душу. Жалели о судьбе интересного Геккерна, а для Пушкина не находили ничего, кроме хулы».

В эти же дни Вяземский пишет Александре Осиповне Смирновой-Россет в Париж:

«Проклятые письма, проклятые сплетни приходили к нему со всех сторон... Горько его оплакивать, но горько также и знать, что светское общество (или по крайней мере некоторые члены оно́го) не только терзало ему сердце своим недоброжелательством, когда он был жив, но и озлобляется против его трупa».

Если в письме от 5 февраля Вяземский говорит о «темном и таинственном для нас самих» в деле гибели Пушкина, называет эту историю «каким-то фаталитетом, который невозможно объяснить и невозможно было предупредить», то 9 февраля Вяземский становится более конкретным,— в письме появляются «некоторые люди» из «некоторых салонов высшего общества», «презрительный кружок».

И, наконец, 10 февраля Вяземский признается: «Чем более проводишь обстоятельств, донныне бывших в неизвестности и которые время начинает раскрывать понемногу, тем более сердце обливается кровью и слезами.

Адские сети, адские козни были устроены против Пушкина...»

14 февраля в письме к великому князю Михаилу Павловичу Вяземский находит новое определение людям этого «презрительного кружка», называет их «коноводами общества».

Через полтора месяца, 7 апреля 1837 года, в письме к О. А. Долгоруковой в Баден-Баден, Вяземский снова

подчеркивает существование тайны и недоговоренности, намекает на некие обстоятельства, заставляющие молчать: «...Вы спрашиваете меня о подробностях этого прискорбного события, очень бы хотел Вам сообщить, но предмет *щекотлив*. Чтобы объяснить поведение Пушкина, нужно бросить суровые обвинения против других лиц, замешанных в этой истории. Эти обвинения не могут быть обоснованы известными фактами...».

Передавая в хронологическом порядке письма Вяземского, я намеренно пропустил одно чрезвычайно важное письмо Петра Андреевича, отправленное в Москву 16 февраля графине Эмили Карловне Мусиной-Пушкиной.

Письмо это известно пушкинистам. Оно трижды опубликовывалось на французском и русском языках в «Русском архиве» П. И. Бартеневым и в «Старине и новизне», его мельком, видимо не придав ему большого значения, цитировал П. Е. Щеголев.

Фактически письмо Вяземского прокомментировано серьезно не было, а перевод с французского сделан недостаточно тщательно. Учítывая особую важность текста для всего дальнейшего, приведу наиболее существенные отрывки в современном переводе. (По моей просьбе выполнить его любезно согласилась А. Л. Андres.)

Письмо от 16 февраля дается почти целиком, а в продолжающем его письме от 17 февраля сделаны сокращения.

«16 февраля 1837 года.

С.-Петербург

Только сегодня я получил Ваше письмо и приложенную к нему записку для Вашей сестры; сегодня утром я отвез ей эту посылку, впрочем, не застав ее дома. Зато я увидел Алину¹, она теперь здорова и сообщила мне, что Демидова все вечера проводила на балах последнее время. Сегодня она тоже на балу у Барантов², где будет Двор.

Что за ужасный перерыв нарушил течение нашей переписки! До сих пор я не могу прийти в себя. Вечером

¹ Алина Карловна Корреа и упоминаемая ниже Аврора Карловна Демидова-Карамзина — родные сестры Э. К. Мусиной-Пушкиной.

² Французский посланник.

27 числа, в то самое мгновение, когда я брался за перо, чтобы писать Вам и готов был наболтать Вам всяких пустяков, ко мне в комнату вдруг вбежала моя жена, потрясенная, испуганная, и сказала мне, что Пушкин только что дрался на дуэли. Остальное Вы знаете. Из моего письма к Булгакову Вы, конечно, ознакомились с разными подробностями этого плачевного происшествия.

Мои насмешки *над красными* принесли несчастье. Какое грустное, какое позорное событие! Пушкин и его жена попали в гнусную западню, их погубили. *На этом красном, к которому, надеюсь, Вы охладели*, столько же черных пятен, сколько и крови. Когда-нибудь я расскажу Вам подробно всю эту мерзость.

Я должен откровенно высказать Вам (хотя бы то повело к разрыву между нами), что в этом происшествии покрыли себя стыдом все те из красных, кому Вы покровительствуете, все Ваше Красное море. У них достало бесстыдства превратить это событие в дело партии, в дело чести полка. Они оклеветали Пушкина, и его память, и его жену, защищая сторону того, кто всем своим поведением был уже убийцей Пушкина, а теперь и в действительности застрелил его.

— Я допускаю, что друзья убийцы могут считать его менее виноватым, чем он был на самом деле, так как руководили им низкие подпольные козни его отца, но сердце честного человека, сердце Русского не может колебаться в выборе: оно целиком становится на сторону бедного Пушкина и видит в нем только жертву, — увы! — великую и прекрасную.

Я содрогаюсь при одной мысли, что в силу предубеждения или по упорству Вы можете думать обо всем этом иначе, чем я. Но нет, нет! Ваше доброе сердце, Ваша способность чувствовать живо и тонко, все, что есть в Вас возвышенного, чистого, женственного, разубеждает меня, обеспечивает мне Ваше сочувствие.

Вы должны довериться мне, Вы не знаете всех фактов, всех доказательств, которые я мог бы представить, Вас должна убедить моя уверенность, Вы должны проникнуться ею.

В Пушкине я оплакиваю друга, оплакиваю величайшую славу родной словесности, прекрасный цветок в нашем национальном венке, однако, будь в этом ужасном деле не на его стороне право, я в том сознался бы

первым. Но во всем его поведении было одно благородство, великодушие, **высшая** вежливость.

Если бы на другой стороне был бы только порыв страсти или хотя бы вопрос чести, я, продолжая оплакивать Пушкина, не осудил бы и его противника, мой ригоризм, моя строгость в нравственных вопросах не доходит до такой степени. Где грех, там и милость...

Грех, но не всякая подлость!..

Что будете Вы делать теперь с моими письмами? Ничего забавного я не сумею теперь Вам писать. Достанет ли у Вас терпения читать письма, где речь будет идти только обо мне или о Вас?

Наш «свет» стал мне ненавистен. Не только большинство оказалось не на стороне справедливости и несчастья, но некоторые высшие круги сыграли в этой распре такую пошлую и постыдную роль, было выпущено столько клеветы, столько было высказано позорных нелепостей, что я еще долгое время не буду в состоянии выносить присутствие иных личностей.

Я покидаю свет, и не меньше, чем скорбь, меня побуждает к этому негодование. Видеться с удовольствием я могу только с Вашей свояченицей Мари ¹. Она сочувствует моей скорби, есть у меня с нею и другие согласные чувства, так что в ее обществе я нахожу отраду и утешение. И вот теперь, когда часть моей семьи где-то на представлении, а другая готовится к балу у Барантов, я сижу и пишу письмо к Вам, а заканчивать вечер поеду к графине Мари.

А Вы, дорогая графиня, что делаете в настоящую минуту? Сегодня вторник, бал в собрании. Не собираетесь ли Вы туда? О Вас говорят, что Вы больны, что Вы уезжаете, что Вы остаетесь. Чему верить?

Какая драма, какой роман, какой вымысел сравнится с тем, что мы видели! Когда автором выступает Провидение, оно выказывает такую силу воображения, перед которой ничтожны выдумки всех сочинителей, взятых вместе. Ныне оно раскрыло перед нами кровавые страницы, которые останутся памятными навеки. Проживи я тысячу лет, мне не уйти от впечатлений этих двух дней, считая с минуты, когда я узнал об его дуэли, и до его смерти.

И что за удивительные совпадения! 29 января —

¹ М. А. Мусина-Пушкина, урожденная княжна Урусова, — человек, расположенный к Пушкину.

день Вашего рождения, день рождения Жуковского и день смерти Пушкина. Сердце мое было разбито скорбью, но я все-таки не забываю вознести свои мольбы о Вас и провозгласить безмолвно за Вас тост, услышанный небом и Вашим ангелом-хранителем.

Я готовил Вам свой портрет в красном одеянии, бальную сцену, где выступают преимущественно красные, но поставьте над этим крест, в этом цвете нет более ничего забавного, всякая шутка по этому поводу будет отныне святотатством.

Бедная Пушкина сегодня уехала. За ней приехали ее братья и проводят ее в деревню, в Калужскую губернию. Вам, конечно, известно все сделанное Императором, чтобы обеспечить благосостояние семьи. Читали Вы или, вернее, перевел ли Вам Булгаков мое письмо с рассказом о смерти Пушкина?

Судьба Геккерн еще неизвестна, и приговор не произнесен. Передают, что он весел и спокоен, как если бы ничего не произошло, о своей дуэли он говорит так, как будто он убил не свояка своего, не Пушкина! И при каких обстоятельствах притом?! Что до его милого папаши, то он изображает из себя лавочника, распродает свою обстановку, и все ходят к нему, как в старый мебельный склад, продаваемый с публичного торга. Вырывают из-под него стул, заявляя, что покупают его.

Свое место посланника в Петербурге он покидает, вероятнее, он вынужден его покинуть. Ах, почему он не сделал этого три месяца назад!

17 февраля.

...Моя прозорливость уличена в бессилии, и чтобы не ошибиться, я ничего не говорю. Однако нужно мне ублаготворить Ваше любопытство и Ваше злопамятство, дополнив старинную сплетню. Впрочем, этим я лишь оплачу Вам просроченный долг. Перовский, Оренбургский генерал,— вот кто баламутит Ваше гадкое Красное море, а старый Нептун ее ревнует. Его трезубец, или, иначе, его длинный нос, имеет грозный вид...

Прощайте, дорогая, милая графиня. Сердце мое принадлежит Вам в эти дни томления, как и в дни радостей, если осталась для меня радость в этом мире.

Если есть у Вас ко мне вопросы по поводу Пушкинского дела, которые могли бы успокоить Вашу совесть,

рассеять сомнения и предрассуждения или обезоружить клевету, обращайтесь ко мне.

Я беру на себя обязанность говорить Вам правду...»

Оставим как второстепенное смену настроений в последнем письме Вяземского. Возмущение за ночь поухило, таков уж характер князя.

И все же нельзя не отметить порыва искренности, горького признания в первой части письма. В этот день Вяземский узнает нечто ошеломившее его, перевернувшее все известное ему раньше. Это очевидный мотив особой вины *красных*, некоего *красного* человека и «все-го Красного моря».

Бартенев, публикуя письмо Вяземского к Мусиной-Пушкиной в «Русском архиве», ограничился строкой комментария, вроде бы объяснившей повторяющееся слово *красный*.

«Дантес,— писал Бартенев,— конногвардеец (?! — С. Л.), вероятно, носил красный мундир».

Кавалергарды (конногвардейцы тут ни при чем) действительно носили на придворных балах и парадах красные мундиры, но ведь в письме к Мусиной-Пушкиной разговор идет не о Дантесе, его имя четко отделено от неведомых *красных*.

Напомню отрывок:

«Я должен откровенно высказать Вам (...) что в этом происшествии покрыли себя стыдом все те из красных, кому Вы покровительствуете, все Ваше Красное море (...) . Они оклеветали Пушкина (...), защищая сторону того, кто всем своим поведением был уже убийцей Пушкина, а теперь и в действительности застрелил его».

Внимательно читая письмо от 16 февраля, можно понять, что тема «красных», вероятно, возникала у Вяземского и раньше. Он пишет: «Мои насмешки над красными принесли несчастье...» И дальше, как нечто понятное для Эмилии Карловны, но не для чужих ушей: «На этом красном, к которому, надеюсь, Вы охладели, столько же черных пятен, сколько и крови».

Вяземский говорит о *пушкинской* крови.

Поразительно настойчивое требование Вяземского — верить ему, хотя он отчего-то не может, не имеет права раскрыть тайну.

«Вы должны довериться мне,— почти приказывает

он, уже назвав красных «друзьями убийцы», а их черное дело — «делом партии, делом чести полка». — Вы не знаете всех фактов, всех доказательств, которые я мог бы представить, Вас должна убедить моя уверенность, Вы должны проникнуться ею».

Если в письме от 14 февраля к великому князю Михаилу Павловичу Вяземский говорил о «коноводах общества», то 16 февраля он повторяет:

«...Некоторые высшие круги сыграли в этой рас-пре<...> пошлую и постыдную роль<...>. Я еще долгое время не буду в состоянии выносить присутствие иных личностей».

А 17 февраля, заканчивая письмо о *красных*, он снова просит Эмилию Карловну обращаться к нему, если ей что-либо останется непонятным: «Я беру на себя обязанность говорить Вам правду».

7 апреля в письме к княгине О. А. Долгоруковой Вяземский снова чего-то не договаривает:

«Очень хотел бы Вам сообщить, — пишет он, — но предмет щекотлив».

Кто же тот *красный*, имя которого так и не назвал Вяземский и на котором, по выражению Петра Андреевича, «столько же черных пятен, сколько и крови»?

Что означает намек: «Красное море», «все Красное море», «гадкое Красное море»?

О какой «партии» и о «чести» какого полка он ведет речь? Кто они, конкретные люди, объединенные единым цветовым шифром?

Почему Вяземский так тщательно скрывает тайну, если тайна эта касается убийства Пушкина?

Конечно, остроумие Вяземского широко известно, но можно ли сказанное о *красных* истолковать как шутку? Да и могла ли возникнуть шутка в таком эмоциональном, гневном письме от 16 февраля? Не скрыто ли за словами *красный*, *Красное море* нечто конкретное, особенно серьезное?

2. ЯНВАРЬ 1837 ГОДА.

АТМОСФЕРА. ПИСЬМА К Э. А. МУСИНОЙ-ПУШКИНОЙ

В письме от 16 февраля к Эмили Карловне Вяземский пишет:

«Что за ужасный перерыв нарушил течение нашей переписки!»

Значит, переписка была!

Публикуя письмо в «Русском архиве», Бартенев в комментарии сообщал, что письмо это получено ярославской газетой «Северный край» от внука Эмилии Карловны. «Русский архив» перепечатывал газетную публикацию. Видимо, в 1888 году архив Мусиных-Пушкиных еще сохранялся в семье.

В 1962 году в статье «Вокруг гибели Пушкина» Э. Герштейн обратила внимание на «красных», в целом повторив мнение Бартенева:

«Партией «красных», — писала она, — в узком светском кружке, к которому принадлежал и Вяземский и его корреспондентка Э. К. Мусина-Пушкина, назывались по цвету их парадной формы офицеры кавалергардского полка».

И ниже:

«Под «красными» Вяземский подразумевал не весь кавалергардский полк, а только избранный кружок его офицеров».

Герштейн перечисляет «красных»: это А. Трубецкой, А. Куракин, А. Бетанкур, П. Урусов, Г. Скарятин.

В 1964 году Герштейн, как я уже писал, вновь вспоминает о «красных» в книге «Судьба Лермонтова», впервые сославшись на существующий архив Мусиных-Пушкиных. Приведу единственный абзац. Герштейн не пишет, что «красные» — это шутовое бо-мот, некий интимный шифр, предназначенный для двоих.

«В 30-х годах дом Трубецких был гнездом, куда слетались так называемые «красные», то есть избранный кружок «ультрафешенебельных» офицеров Кавалергардского полка. Это были Куракин и Бетанкур, Скарятин и Урусов — друзья Дантеса. Все сыновья князя Трубецкого тоже служили в Кавалергардском полку. Но если Александр Трубецкой в шутовской переписке Вяземского назывался в 1837 году «красный по преимуществу», Куракин — «просто красный», а Урусов — «красный человек», то Сергея Трубецкого уже тогда называли «misérable» (отверженный, презренный, несчастный. — *фр.*).

Наверное, стоит сказать, что архив (по первому моему знакомству) этого поименного обозначения «красных» не подтверждал. Я обратился к Э. Герштейн с письмом. «Я не имела возможности указывать все листы писем П. А. Вяземского, где упоминается о «красных», — писала она. — Поэтому отметила только те, на которых

говорится непосредственно о Сергее Трубецком. Эти французские письма следовало бы перевести и напечатать почти целиком. Но когда мы дождемся такой возможности? Упоминания о «красных» разбросаны по многим письмам Вяземского. Установить «кто — кто» помогает контекст».

Итак, мне следовало самому разбираться в существующем наследии.

Письма Вяземского к Э. К. Мусиной-Пушкиной, сто шестьдесят две страницы рукописного текста на французском языке, среди которых и письмо от 16 февраля, хранятся в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА) в Москве.

Среди многих страниц переписки несколько писем относятся к январю 1837 года, и, хотя имени Пушкина в них нет, письма с поразительной достоверностью восстанавливают *атмосферу* петербургских салонов, в которой вынужден был жить Пушкин в свои последние дни.

И не только! В переписке следует выделить письмодневничок, озаглавленный им «К Незабудке». Незабудкой, обыгрывая язык цветочного флирта, Вяземский именует то Эмилию Карловну, то самого себя.

Первая запись в дневничке сделана 14 января, затем 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 января 1837 года. В письмах Вяземского будет также запись, сделанная 26 января.

На первый взгляд, и письма Вяземского, и дневничок «К Незабудке» кажутся пустяковой болтовней. Зная Вяземского-поэта, трудно привыкнуть к Вяземскому — светскому человеку. Стараясь развлечь красавицу Мусину-Пушкину, потешить ее шуткой, Вяземский заносит в дневник разные события столичной жизни, отмечает прошедшие балы, злословит...

Впрочем, не стоит спешить с выводами. Посмотрим, не помогут ли упомянутые тут незначительные события светской жизни ответить на возникший вопрос о *красном* человеке, расшифровать скрытую тайну?

...12 января 1837 года одна из первых петербургских красавиц графиня Эмилия Карловна Мусина-Пушкина, «финляндка Пушкина», урожденная Шернваль, выехала с пятилетним сыном из Петербурга в Москву.

Явно равнодушный к ней князь П. А. Вяземский уже 16 января посылает вслед письмо.

«А бедному Володеньке как было холодно! — пишет он. — Скажите ему, что я очень сожалею, что не согласился занять место, которое он предложил мне подле Филиппа (графского кучера. — С. Л.). Я предпочел бы это место трону другого Филиппа (французского короля Луи-Филиппа. — С. Л.) и всем тронам мира».

Вяземский не одинок в своих «страданиях».

Среди претендентов «на облучок» был и друг Вяземского, пятидесятитрехлетний камергер, писатель и историк Александр Иванович Тургенев. Доверенным лицом и Тургенев и Вяземский избирают московского приятеля, почт-директора Александра Яковлевича Булгакова.

«Вчера пил чай с графиней Эмилией Пушкиной, — торопился сообщить Тургенев Булгакову 27 ноября 1836 года. — Прелестна во всем!.. Сегодня дают оперу Глинки».

А на следующий день, 28 ноября, Вяземский уже комментировал это событие:

«Вчера было открытие Большого театра и оперы Глинки... Либретто довольно холодно и бледно, следовательно, музыканту было труднее вышивать по этой канве узоры. Зато Эмилия Пушкина удивительно хороша, и Тургенев вышивает по ней разные сентиментальные узоры нежно-страстно-пронзительными взорами своими».

Не подозревая иронии Вяземского и предательства Булгакова, Тургенев продолжает и в декабре, и в январе, и позднее забрасывать московского почт-директора бесхитростными признаниями.

«Эмилия Пушкина всех здесь затмила, — пишет он 7 декабря, — <...> но глаза мои не открывали этого светила и тщетно искали его».

Князь Петр Андреевич ведет наступление более продуманно, полагаясь больше на себя, но тоже не пренебрегая Булгаковым, которого шутя называет «ключником сердец».

«...А все жаль бедной Финской царицы. Что она так долго ехала? — писал он. — Выехала двенадцатого вечером, а восемнадцатого ее еще у Вас не было. Берегись, если ты и твои ухабы виноваты!»

А пока карета продвигается к Москве, Вяземский и заводит тот шутиливый дневничок, обращенный к *Неза-*

будке, день за днем записывая события петербургской жизни, случившиеся уже в отсутствие Эмилии Карловны.

Пройдет еще много лет, и состарившийся князь скажет с оттенком затаенной грусти, что он «разменял свой талант на мелочь».

На каждой странице дневника мелькают имена известных людей Петербурга: Голицыных, Сухозанета, Белосельской, Нессельроде, Трубецких...

Вот некоторые отрывки:

«14 января. Праздник у княгини Голицыной, столетний юбилей ее усов¹. Вечер продолжается недолго, а длился целую вечность».

«18 января. Вечером отправился к графине Мари² в надежде встретить у нее графиню Эмилию (Вяземский будто не верит, что графиня Эмилия подъезжает к Москве, ему чудится ее присутствие в Петербурге.— С. Л). Она действительно там оказалась, сидела в уголке софы, бледная, молчаливая, напоминающая не то букет белых лилий, не то пучок лунных лучей, отражающихся в зеркале прозрачных вод. И во всем ее молчании, во всем выражении ее лица была благосклонность, что не всегда ей свойственно, ибо иногда в ее молчании бывает нечто парализующее, враждебное, сквозь нее так и чувствуется то, о чем она молчит».

«19 января. Начало вечера провел у графини Мари с Люцереде³.

Графиня Мари хотела угостить меня мороженым, это напомнило мне то расположение, которого я дождался на вечере у госпожи Хитрово от графини Эмилии: она осыпала меня тогда своими милостями, то бишь мороженым, это единственная награда, которую я удостоился за свою преданную ей службу, за время пребывания ее в Петербурге. Но зато мороженое, благословенной горячей памяти, не тает в моих воспоминаниях и превратило сердце мое в ледник, и я теперь никогда не ем мороженого без того, чтобы не вспоминать о ней, ибо надо сознаться, хожу на балы лишь затем, чтобы

¹ Н. П. Голицына — прообраз Пиковой дамы. Была она нехороша, мужеподобна, с усами и бородой. В эти дни отмечали ее очередной, девяносто шестой, день рождения, о чем пишет и Тургенев в письме к Булгакову.

² Мария Александровна Мусина-Пушкина, урожденная княжна Урусова.

³ Саксонский посланник.

есть его и никогда не меньше шести порций. У меня здесь один соперник по этой части, граф Литта ¹.

Затем мы отправились на бал к Салтыковым ², мороженое там довольно скверное, да и общество в тот вечер было не лучше. Из блистательных дам не было никого, они готовятся к завтрашнему вечеру».

«20 января. Бал у госпожи Синявиной ³. Элегантность, изящество, изысканность, великолепная мебель, торжество хорошего вкуса, щегольство, аромат кокетства, электризирующего, кружащего, раздражающего чувства, все сливки общества, весь цвет его (но не было Незабудки, отчего букет был не полон и недостаточно ароматен) — все это придавало балу характер феерический. Поэтому возбуждение было всеобщим. Самые малококетливые женщины поддавались всеобщему настроению. Сама графиня Эмилия — эта противоположность кокетству — не могла бы устоять. То была словно эпидемия, словно лихорадка — взрыв сладострастных чувств...»

«21 января. Большой бал у госпожи Фикельмон. Блестящее, оживленное общество, более четырехсот гостей. Глаза разбегались в толпе, и невозможно было внимательно рассмотреть отдельных людей.

Сегодня я в удрученном состоянии. Перед своим отъездом на бал получил письмо от Булгакова, датированное восемнадцатым, в котором он сообщает, что графиня Эмилия еще не приехала. Уехала она двенадцатого, уж не заболела ли она дорогой, не случилось ли какой беды? Ей следовало прибыть в Москву пятнадцатого, самое позднее — шестнадцатого. Вот что занимало мои мысли на бале, вот чем объяснялось мое молчание, что можно было прочесть на моем лице, если бы кому-нибудь пришла охота сделать это и он обладал бы при этом той же прозорливостью, какая свойственна мне».

Сердце Эмилии Карловны — цель Вяземского.

«22 января. Пятница у Сухозанетов. День был неудачен, так как пришелся между четвергом Фикельмонов и субботой Воронцовых. Народу было мало,

¹ Граф, обер-камергер, член Государственного совета. («Мороженое было его любимым лакомством, — писал о нем современник. — Он истреблял его в неимоверных количествах».)

² Известный петербургский богач.

³ Жена обер-камергера Нарышкина.

только постоянные обязательные посетители всякого бала, из блестящих гостей никого не было.

Явился я туда уже после полуночи, после того как был с визитом у графини Мари. Мы были с ней вдвоем, или точнее втроем, ибо был между нами некто третий, отсутствующий, но всегда присутствующий. И через час я уже покинул бал, который проходил вяло и глупо, танцевал под какую-то жалкую мазурку».

Намек довольно прозрачный. «Отсутствующий, но всегда присутствующий» — графиня Эмилия Карловна.

Последняя запись в дневнике — 24 января — за два дня до пушкинского вызова. Теперь Вяземский уже прямо обращается к Эмили Карловне:

«Великий день, прекрасный день! Как я благодарен Вам, добрая и милая графиня, за Ваше письмо, к которому не могу прибавить даже подходящего эпитета, такое доставило оно мне удовольствие и таким сделало меня счастливым, что сами эти слова — «удовольствие», «счастливый» — ровно ничего не значат. Все это выражения стертые, увядшие, опошленные постоянным употреблением.

Чувства же мои невозможно выразить словами. Это не фраза, это правда, которую исторгает мое сердце, исполненное преданности и симпатии к Вам, сердце, которое так Вами дорожит и не может себе простить, что не знало или, вернее, не распознало Вас раньше.

Как горько я наказан за то, что поздно Вас открыл! Все это очень банально, но я благословляю небо за эту банальность. Это чувство сожаления, возникающее при воспоминании о той, кого суждено было узнать лишь затем, чтобы острее ощутить пустоту, образующуюся в ее отсутствие, — неисчерпаемая сокровищница для сердца, способного любить. Ибо это отсутствие — не смерть любви, а, напротив, — новая жизнь.

Все это я растолкую Вам в другой раз, а сейчас вынужден кончать.

Рекомендую Вам подателя сего письма господина Куси, майора на службе сардинского короля. Он должен отвезти Вам Ваше боа, которое княгиня Шаховская собиралась послать мне, но боюсь, уже не успеет этого сделать».

Вяземский верен себе. Куртуазное объяснение и тут же боа, передаваемое через майора Куси, обычная светская болтовня, где любовное признание соседствует с шуткой.

Атмосфера светской жизни, январская круговертъ, захватившая Вяземского,— все это прочитывается не только в его письмах и дневничке «К Незабудке», который здесь публикуется впервые, но и в многочисленных письмах Карамзиных и А. И. Тургенева, уже известных исследователям.

И молодые Карамзины, и немолодые Тургенев и Вяземский стараются в эти недели не пропустить ни одного бала, спешат из салона в салон, бывая в двух-трех домах ежевечерне.

Но если место Карамзиных, судя по письмам, все же остается не в самом высшем круге и они только лелеют мысль о ряде первом, то «дядюшку Вяземского» интересуют «блестящие люди», «сливки общества», «выдающиеся дамы», то есть самый верхний слой, «ультрафешенебли», как иногда именуется небольшая группа вельмож, приближенных к императору и императрице.

«Ультрафешенебли» — это каста. Они имеют свой кодекс, свои нормы поведения. Попасть в круг «ультрафешенеблей» — большая честь. И «дядюшка Вяземский» из них.

«Нынче вечером я должен был быть на рауте у княгини Белосельской,— писал Андрей Карамзин брату еще 5 ноября 1836 года,— но не поехал, так как пригласить меня было поручено Ковалинскому, а меня вовсе не устраивало, чтобы именно он представлял меня в их доме. Вот почему мне хочется быть представленным дядюшкой (Вяземским.— С. Л.) в первый же раз, когда я встречу где-либо с княгиней Белосельской».

Участник польской и турецкой кампаний, поручик лейб-гвардии саперного полка П. П. Ковалинский — разве это рекомендатель в глазах жены генерала Сухожанета и племянницы военного министра Чернышева? Вот Вяземский — это другое дело.

9 января 1837 года Софья Николаевна Карамзина писала:

«Для нас с Александром эта неделя была отмечена тремя балами, один из которых был дан Мятлевыми в честь леди Лондондерри (которая продолжает ослеплять Петербург блеском своих бриллиантов). Танцевальный зал так великолепен по размерам и высоте, что более двухсот человек кажутся рассеянными и там и сям, в нем легко дышалось, можно было свободно двигаться, нас угощали мороженым и резановскими конфетами, мы наслаждались ярким освещением. 11

все же ультрафешенебли, вроде княгини Белосельской и князя Александра Трубецкого, покинули дом еще до мазурки — явное доказательство того, что находят бал явно недостаточно хорошего тону».

В том же письме С. Карамзина пишет о другом бале у княгини Бабет Голицыной, где «было собрание всех известных и неизвестных народов», а «взор терялся в невообразимой толпе».

«Мы с Александром поступили как фешенебли,— сообщила она,— уехали до мазурки, которая была уж слишком дурного тону».

В переписке Карамзиных имеется еще одно свидетельство об «ультра»:

«Театр, как всегда, был полон незнакомых лиц. Это позор для так называемого хорошего общества, как называет его фешенебль граф Виельгорский в минуты музыкального гнева».

Демонстративно уйти с бала, на котором осмелились танцевать мазурку недостаточно знатные люди, покинуть театр, где в ложах «незнакомые лица»,— это и есть «ультра».

Фактически дневничок «К Незабудке», как и январские письма к Мусиной-Пушкиной,— это хроника жизни фешенеблей.

Читая дневничок Вяземского, поражаешься одному: в сферу его внимания не попадает Пушкин. Люди, к которым он стремится, кого посещает, у кого ищет дружбы,— небезызвестные Карл Нессельроде и его «карликовая» семья, Трубецкие, Сухозанеты-Белосельские и так далее, все они ближайшие друзья Геккернов.

«Александр одевается, чтобы идти на раут к Белосельской,— писала Е. А. Карамзина 21 ноября,— пообедав вдвоем с Дантесом у этого последнего».

Генерал-адъютант И. О. Сухозанет, муж Белосельской, был главным директором Пажеского и всех сухопутных корпусов и Дворянского полка,— это по его протекции Дантес оказался в гвардии.

Пушкин в «Дневнике» писал о Сухозанете с презрением:

«Человек запятнанный, вышедший в люди через Яшвиля, педераста и отъявленного игрока».

В 1880 году П. В. Анненков писал В. П. Гаевскому в связи с пушкинской выставкой:

«Я где-то читал, что на одной стене у Вас красуются портреты графа Бенкендорфа, Дантеса, княжны Бело-

сельской. Если это верно (они, кажется, не упоминаются в каталоге), то очень счастливая мысль, за которую следует особенно поблагодарить. Жаль, если это не так и если к этой коллекции не присоединен у Вас еще для большей полноты портрет Фаддея Венедиктовича. Напишите мне об этом, очень интересно».

И дальше:

«Что за прелестная мысль была у Вас выставить портреты убийц Пушкина».

...Но может быть, пути Пушкина и Вяземского не пересекались в эти дни? Ведь поэт мог не бывать на балах, которые посещал Вяземский?

Да, Пушкин не был ни в салоне Нессельроде, ни у Сухозанетов-Белосельских, куда торопится Вяземский.

Но мы можем сказать, где в эти же дни бывал Пушкин.

«21 января. Бал у Фикельмон был очень многолюден,— записывала А. П. Дурново, дочь министра двора П. Волконского.— Лондондерри имела на нем все свои изумруды и много бриллиантов... У госпожи Пушкиной волосы были гладкие и заплетены очень низко,— совершенно как прекрасная камей».

«На балу я не танцевала,— писала фрейлина Мердер 22 января.— Было слишком тесно. В мрачном молчании я восхищенно любовалась госпожой Пушкиной. Какое восхитительное создание! Д'Антес провел часть вечера неподалеку от меня... Минуту спустя я заметила проходившего Пушкина (стоит только на него взглянуть, чтобы убедиться, что он ревнив, как дьявол). Какое чудовище! Я подумала, если бы можно было соединить госпожу Пушкину с д'Антесом, какая прелестная вышла бы пара».

Быть может, Вяземский не вспоминает о Пушкине, потому что из дружеских чувств не хочет привлекать внимание ко всем этим слухам и разговорам?

Но нет!

20 ноября 1836 года Софья Николаевна Карамзина записала:

«Пушкин своим взволнованным видом, своими загадочными восклицаниями, обращенными к каждому встречному, и своей манерой обрывать Дантеса и избегать его в обществе, добьется того, что возбudit по-

дозрения и догадки. Вяземский говорит, что он выглядит обиженным за жену, так как Дантес больше за ней не ухаживает».

Потрясает письмо Софьи Николаевны, написанное брату 26 января 1837 года (!), накануне убийства.

Напомню приведенные раньше слова:

«...Дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных».

Что волнует Вяземского в течение преддуэльных недель, на ком сосредоточено его внимание в «ультрафешенебельном» Петербурге?

И в письмах Вяземского, и в его дневничке «К Незабудке» прочитывается второй план, некий интимный сюжет.

У Вяземского есть соперник. Этот человек, которого Вяземский отчего-то именует «красным», не так давно пренебрег Эмилией Карловной, предпочтя ей другую даму из «ультрафешенеблей».

Фантазия Вяземского неистощима. Ревниво подшучивая над графинею, он то и дело напоминает ей о своем сопернике, называя его то «наикраснейшим», то «сиятельным красным», то «красным в высшей степени», то «красным человеком». Цель этих упоминаний понятна. Они должны задевать Эмилию Карловну, уязвлять ее самолюбие, а значит, и способствовать успеху самого Петра Андреевича.

Разговор Вяземского с Мусиной-Пушкиной идет или об одном конкретном лице, или же это намек на нечто известное и совершенно понятное им обоим.

14 января в дневнике «К Незабудке» Вяземский отмечает:

«Княгиня Голицына-Балк несколько напоминает краснокожих из романа Фенимора Купера, но это ничему не мешает. Красный ведь очень хороший цвет, почему бы не любить сафьян!»

16 января Вяземский пишет более пространно:

«А теперь поговорим серьезно. Прошу Вас не забывать, что я здесь Ваш корреспондент, Ваш поверенный в делах, Ваш комиссионер. Если мне когда-нибудь станет известно, что Вы пользуетесь еще кем-либо для исполнения приказаний, то я никогда Вам этого не прошу.

Колбасы, кильки, предметы туалета, книги, всякие

новости о красных, синих, черных, всех цветных и не цветных людях, одним словом, все, что может усладить Ваше небо, Ваш ум, Ваше сердце, — за всем этим прошу обращаться ко мне. Уверяю Вас, что на расстоянии я представляю большую ценность, чем когда я рядом. Если мои письма в конце концов наскучат Вам, Вы вольны их не читать, но имейте тогда милосердие предупредить меня об этом. Мне необходимо это знать, но даже и в этом случае я буду продолжать писать Вам. Это моя потребность, это непреодолимо. Будете Вы отвечать или нет, я уже не могу остановиться».

24 января Вяземский, после уже приведенных фраз о приезде графини Эмилии в Москву и о посылке через майора Куси боа от княгини Шаховской, пишет весьма забавные строки:

«Пока посылаю несколько пачек красной бумаги, самой красной, которую мне удалось здесь найти.

Я только что написал в Париж, чтобы мне прислали пунцовую по образчику кавалергардского сукна, который я туда послал.

Собирался Вам отправить целое множество краснот, но, к сожалению, ничего еще не готово. А в будущем буду Вам писать письма на десятирублевых ассигнациях, чтобы мои глупости приобрели в Ваших глазах хотя какую-то цену».

20 января Вяземский сам подчеркнул в своем дневничке:

«Вы видите, что все, что в моем отчете относится до кровавого, я пишу красными чернилами».

Употребив слово «кровавое» 20 января, ровно за неделю до дуэли, Вяземский не представлял сам, насколько оно окажется пророческим.

26 января Вяземский отправляет очередное шутовское письмо А. Я. Булгакову:

«Я очень счастлив, что графиня Эмилия, милая из милых, как ее называет Жуковский <...> добралась до места <...>. Вчера был славный бал у старухи Мятлевой в честь принцу Карлу.

<...> Сделай одолжение, свежи несколько сенаторов в красном мундире к графине Эмилии в день ее рождения, 29 января. Прекрасная очень любит очень красное.

А шутки в сторону, пошли ей от неизвестного в день рождения или на другой день, если письмо мое не придет в пору, блюдо вареных раков».

И сенаторы, носившие красные мундиры, и вареные

раки, и любовь Эмилии Карловны к кому-то «очень красному» — все это явления одного порядка.

Повторяю: письмо написано 26 января! Остались часы до трагической дуэли — картель уже послан.

Через несколько лет А. О. Смирнова-Россет напишет о январско-февральских днях следующего, 1838 года (вряд ли эта зима чем-либо могла отличаться от предыдущей):

«...Эта зима была одной из самых¹ блистательных. Государыня была еще хороша, прекрасные ее руки и плечи были еще пышные и полные, и при свечах на бале, танцуя, она еще затмевала первых красавиц. В Аничковом танцевали каждую неделю в белой гостиной, не приглашалось более ста персон. Государь занимался в особенности баронессой Крюденер, но кокетствовал, как молоденькая бабенка, и радовался соперничеством Бутурлиной и Крюденер...»

Фаворитки менялись. Сестра императрицы Александры Федоровны, мюнхенская красавица баронесса Амалия Крюденер, в очередь с Нелидовой, Бутурлиной и другими — ситуация обычная и неудивительная.

30 января, на следующий день после смерти А. С. Пушкина, императрица посылает записку своей фаворитке С. А. Бобринской.

«Ваша вчерашняя записка! Такая взволнованная, вызванная потребностью поделиться со мной, потому что мы понимаем друг друга, и когда сердце содрогается, мы думаем одна о другой. Этот только что угасший гений, трагический конец истинно русского, однако ж иногда и сатанинского, как Байрон. Эта молодая женщина возле гроба, как ангел смерти, бледная, как мрамор, обвиняющая себя в этой кровавой кончине... Бедный Жорж, что он должен был почувствовать, узнав, что его противник испустил последний вздох. После этого ужасный контраст, я должна Вам говорить о танцевальном утре, которое я устраиваю завтра».

Камер-фурьерский журнал сухо фиксирует события дворцовой жизни. 30 января, в тот же вечер, когда писалась записка, Александра Федоровна отправляется смотреть комедию-водевиль «Жена, каких много, или Муж, каких мало». Камер-фурьер помечает, не объясняя причин: «Дамы, приглашенные во дворец, были в траурных платьях». Нет, это не траур по Пушкину,—

камер-юнкер — это слишком маленький, незначительный чин для двора. «Во время раздевания,— записала императрица 27 января 1837 года,— весть о смерти старого великого герцога Шверинского». А точнее: прусского герцога Мекленбург-Шверинского.

Ничего не менялось, да и не могло измениться в дворцовой жизни. В Аничковом и в Зимнем, в ультрафешенебельных петербургских салонах Сухозанет, Синявиной, Нессельроде, Бобринской, Трубецких продолжались балы...

Посмотрим еще один документ, публикация которого в недавнем прошлом кое-кому показалась досадным недоразумением.

3. ДВА ДНЕВНИКА

В тридцатые годы прошлого столетия эпидемия холеры, прошедшая по многим губерниям России, включая Петербург, сменилась многолетним голодом и недородом. Впрочем, высший свет и тогда не прекращал веселья, это был поистине «пир во время чумы».

В дневнике 1833—1835 годов А. С. Пушкин писал иронически о тревогах общества по поводу введения дамских мундиров, «бархатных, шитых золотом», и это, отмечал он,— «в настоящее время, бедное и бедственное».

«Петербург занят преобразованием в костюмы фрейлин и придворных дам»,— записывал сенатор Дивов.

Меньше чем через месяц Пушкин снова отмечает:

«Кочубей и Нессельроде получили по двести тысяч на прокормление своих голодных крестьян. Эти четыре-ста тысяч останутся в их карманах... В обществе ропшут, а у Нессельроде и Кочубей будут балы (что также есть способ льстить двору)».

В марте 1834 года Пушкин опять возвращается к голоду в стране.

«Много говорят о бале, который должно дать дворянство по случаю совершеннолетия Г. Наследника, К. Долгорукий (обер-шталмейстер и П. Б. предводитель) и г. Шувалов распоряжаются этим...

Вероятно, купечество даст также свой бал. Что скажет народ, умирающий от голода?»

20 января 1836 года Жорж Дантес написал Геккерну в Париж: «Ночи танцуешь, утро проводишь в манеже, а после обеда спишь — вот тебе моя жизнь за последние

две недели, а мне предстоит вынести ее еще по крайней мере столько же».

Зимой 1836 года особым расположением императора Николая I пользовалась Нелидова.

Приближающаяся к своему сорокалетию императрица Александра Федоровна, она же прусская принцесса, дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III, — Фридерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина, окруженная двадцатилетними кавалергардами из ультрафешенеблей, предавалась веселью.

Соблюдая осторожность, через доверенное лицо, ближайшую подругу и опытную сводню графиню Софью Александровну Бобринскую, человека умного и хитрого, имеющего широкие родственные связи, племянницу Г. А. Строганова и В. С. Трубецкого, Александра Федоровна приближает к себе некоего Бархата.

Дневники, письма и записки императрицы впервые исследовала Э. Герштейн. Публикация выдержек из дневника Александры Федоровны вызвала в свое время критику.

«Эмма Герштейн, — писал М. Яшин, — потратила много усилий, чтобы посторонний материал, говорящий только о мелких интригах окружения императрицы и не имеющий никакого отношения к Пушкину, возвести в ранг большой значимости при изучении истории дуэли...»

Историку не следует спешить со столь категорическими выводами, заранее отметая все то, что представляется ему неважным. Трагические события разворачивались в определенной нравственной атмосфере.

И дневник Александры Федоровны, дневничок и письма Вяземского написаны в одно и то же время, как бы «из двух углов».

Впервые имя Бархат появляется в записках и дневниках императрицы в 1835 году. Имя Бархата расшифровано Э. Герштейн и подтверждено М. Яшиным — это кавалергард штаб-ротмистр князь Александр Васильевич Трубецкой.

В 1835 году в семье Александра Трубецкого случилась неприятность — его младший брат кавалергард Сергей Трубецкой за шалости (об этом дальше) переведен в Гродненский гусарский полк.

«Бархатные глаза (будем раз навсегда говорить обо всем *Бархат*, так удобнее) могут рассказать Вам о бале, — писала Александра Федоровна своей подруге и ку-

зине братьев Трубецких С. А. Бобринской, — они словно бы грустили из-за участи брата, но постоянно оставались на мне и задерживались около двери, у которой я провожала общество, чтобы перехватить мой последний взгляд, который между тем был не для него».

Вероятно, Трубецкой не был великим конспиратором, если императрица легко выделила его заинтересованное внимание.

Думаю, не очень трудно понять зрелую даму, на которую так безразлично смотрит двадцатитрехлетний красавец.

Александра Федоровна принимает сигнал, начинает вести через свою подругу, родственницу молодого человека, невинную игру в «кошки-мышки», где особо опасная роль «мышки» все же остается у кавалергарда. Не скрывая от подруги приятность происходящего, императрица принимает обличье этакого доброго старшего друга, мамушки, поглядывающей за милым дитятей с целью сохранения его нравственности и чистых манер истинного «ультрафешенебля».

Впрочем, трудно не заметить, что внимание, взгляды Трубецкого ей льстят, как бы подтверждая негаснущую молодость Александры Федоровны, ее женское очарование.

В августе 1836 года признания императрицы становятся более лиричными, а фигура Бархата все еще остается как бы в тумане.

«На днях, — сообщает она Бобринской, — мне принесли Вашу записку в Ораниенбаум, когда я одевалась, и я не знаю почему, мне вдруг показалось, что посыльным был Бархат, но нет, я знаю, что нет!.. Нужно, чтобы когда-нибудь Бархат передал одно из Ваших писем, надеюсь, что он его не испачкает, как записку кн. Барятинской, он Вам рассказал об этом? Он и Геккери на днях кружили вокруг коттеджа. Я иногда боюсь для него общества этого новорожденного».

Бобринская обязана понимать императрицу с полупамяткой. «Нужно, чтобы Бархат передал...» — это приказ.

Посыльным к императрице с запиской от Бобринской должен будет прийти Трубецкой, кузен Софьи Александровны.

Помимо указания о Трубецком-Бархате в отрывке из письма возникает и тема отношений его с Дантесом.

«Ультрафешенебль» Александр Трубецкой и «ново-рожденный» Дантес, человек с сомнительным настоящим,— эта дружба пока не очень желательна, она, по мнению Александры Федоровны, может скомпрометировать князя.

«Я хочу еще раз попросить Вас,— пишет она Бобринской 15 сентября 1836 года,— предупредить Бархата остерегаться безымянного друга, бесцеремонные манеры которого он начинает перенимать. По-моему, у него были хорошие манеры, но он начинает терять этот блеск хорошей семьи, и император это заметит, если он не примет мер и не будет за собой следить в салонах».

Позднее в письме к Николаю Вильгельм Оранский скажет:

«Здесь никто не поймет, что должно значить и какую цель преследовало усыновление Дантеса Геккерном, особенно потому, что Геккерн подтверждает, что они не связаны никакими кровными узами».

Отношения Трубецкого и императрицы, благодаря стараниям Софьи Бобринской, благополучно развивались. Центром событий становится дом... князя Василия Сергеевича Трубецкого, отца Александра и еще десяти взрослых детей. Может, поэтому императрица и зовет его «отцом розы», прекрасного многолепесткового цветка. Василий Сергеевич Трубецкой ко всему еще родной дядя Бобринской.

«Пироги у дяди удались,— пишет императрица приятельнице 26 октября 1836 года.— Он был так рад, видя меня у себя, угощая меня <...>. Остальная часть семьи тоже казалась довольной. Тетя играла на фортепиано серьезные пьесы, Бархат попросил вальс, и я сделала один тур, с кем бы вы думали? — совсем не с сыном, а с Père la Rose».

После подробного описания собственного тюрбана императрица продолжает:

«Вечером, когда я танцевала с Бархатом, со мной произошла очень, очень неприятная вещь: я почувствовала,— пусть не думают об этом дурно,— что у меня спадает <...> пришлось убежать в другую комнату, и хотя все произошло в мгновение ока, меня мучил стыд из-за фатальности этого происшествия. Скажите, что он Вам говорил об этом? Мне так стыдно».

На следующий день, 26 октября, императрица заносит это удивительное событие в свой дневник.

«К Трубецким на рождение. Père la Rose и все дети.

Завтрак сервирован для старых и молодых, фортепиано. Вечером <...> я в тюрбане и соответствующем платье. Во время вальса потеряла подвязку, как раз с Труб[ецким] ».

27 января Александра Федоровна записала в своем дневнике: «Н[икс] сказал о дуэли между Пушкиным и Дантесом, бросило в дрожь».

28 января императрица пишет записку Бобринской, приглашая ее быть в театре:

«О Софи, какой конец этой печальной истории между Пушкиным и Дантесом. Один ранен, другой умирает... Мне сказали в полночь, я не могла заснуть до трех часов, мне все время представлялась эта дуэль, две рыдающие сестры, — одна — жена убийцы другого <...>. Пушкин вел себя непростительно, он написал наглые письма Геккерну, не оставляя ему возможности избежать дуэли... Сегодня вечером, если Вы придете на спектакль, как часто мы будем отсутствующими и рассеянными...»

Судя по записи камер-фурьера, этим вечером императрица смотрит французский водевиль «Молодой муж».

30 января, на следующий день после гибели Пушкина, она приказывает Бобринской: «Я Вас предупреждаю, чтобы Бархат не пропустил и чтобы Вы тоже пришли к вечеру».

31 января Бобринская выполняет просьбу императрицы, Бархат-Трубецкой отмечен среди присутствующих на дворцовом балу.

Необычный «интерес» очень заметного «ультрафешенебля» заставляет общество насторожиться, а кое-кто, видимо, уже повернул лорнеты в сторону Трубецкого. Это тем вероятнее, что молодой кавалергард, как мы увидим из записок Александры Федоровны, ведет себя неосторожно, допускает один просчет за другим.

«Рассказывал ли Вам Бархат, — с тревогой спрашивала императрица у Бобринской, — что вчера утром он танцевал у меня? Это была неловкость, которую совершил мой брат. Мои четыре кавалергарда сопровождали полковой оркестр. С ума сойти!»

Не посвященный в «тайну» брат Александры Федоровны, прусский принц Карл, невольно допускает бестактность — приглашает Трубецкого на бал «по случаю рождения Ея Королевского Высочества принцессы

прусской Марии-Луизы-Александрины». Видимо, этого делать было нельзя.

А Трубецкой? Понимая, что он компрометирует императрицу, все же идет во дворец, не избегает приглашения, раздражает царя.

«В час пополудню по повелению Государыни Императрицы в концертный зал введены музыканты кавалергардского Ея Величества полка — в то же время собрались в Золотую гостиную комнату Их Императорские Высочества <...>. После фрештака Их Императорские Высочества... с прусским принцем Карлом и гостями проходили в концертный зал, где несколько провели время в танцах, и потом откланялись гостям 15 минут 3-го часа пополудни.

Государь Император также изволил краткое время быть на празднике в Золотой гостиной комнате».

Несомненно, благоволение императрицы к Трубецкому не только придавало ему вес среди товарищей, но и делало его героем, лидером, поднимало его на недостижимую высоту в глазах друзей и товарищей по полку, воспринималось как факт «гвардейской» лихости, удачества, бравады, что и поведение Дантеса.

«Служба <...> согласно с тогдашними кавалерийскими нравами,— писал историк Зиссерман, биограф князя Барятинского, ближайшего друга князя Трубецкого,— была рядом шалостей, кутежей, праздной светской жизни. Все это не считалось чем-либо предосудительным не только в глазах товарищей и знакомых, но и в глазах высших властей, даже напротив, как последствия молодости и удалства, свойственных военному человеку вообще, а кавалеристу в особенности, все эти кутежи и повесничанья <...> доставляли высшим властям особый род удовольствия».

«Круги по воде» из-за «шалостей Трубецкого» шли далеко и заметно, тем более что «ультрафешенебль» обладал всеми нужными для этого качествами, был болтлив, хвастлив и несдержан.

Опережая события, следует, вероятно, сказать, что миф об Александре Васильевиче Трубецком рос от часа к часу, обретая при этом совершенно невероятные для героя формы. В сентябре 1839 года вюртембергский посланник князь Гогенлоэ-Кирхберг попытался объяснить своему правительству возникший в заграничных газетах слух о заговоре в Петербурге. Гогенлоэ писал:

«Раскрытый в С.-Петербурге заговор, о котором

говорят иностранные газеты и в рассказах о котором в первую очередь фигурирует имя госпожи Рылеевой, родственницы господина Рылеева, сыгравшего заметную роль в восстании 1825 года (Sis!), насколько я знаю, является не более чем плодом недоброжелательного воображения, поскольку мы, живущие в столице, ни разу не слышали ни о каком событии подобного рода. История, которая могла послужить основанием для этих слухов, такова. Некто господин Жеребцов, молодой русский, путешествующий по Италии со своими родственниками, будучи во Флоренции, сказал в присутствии некоего графа Орлова, брата генерал-адъютанта, что-де в скором времени мы услышим о больших переменах в России, которые произойдут благодаря обществу молодых людей из самых лучших семейств страны, недовольных нынешним положением дел; к их числу якобы принадлежат князь Александр Трубецкой, сын генерал-адъютанта и капитан Кавалергардского полка Ея Величества Императрицы, молодой человек, хорошо принятый при дворе (...) и другие. Граф Орлов, пораженный этими словами, потребовал у господина Жеребцова объяснений и предупредил его, что обо всем услышанном доложит в С.-Петербург; господин Жеребцов дал на это свое согласие, и теперь, после того как донос сделан, за князем Трубецким, как того и следовало ожидать, следят...».

Не стану подробно характеризовать сына тверского помещика Жеребцова, человека пылкого воображения и чуточку поэта, который, по словам отца, «имел наклонность к свободомыслию», подчеркну еще раз, что вольнодумец, видимо, не случайно назвал одним из лидеров придуманного им заговора столь громкую и одиночную фигуру, как Александр Васильевич Трубецкой.

Вернемся к событиям 1837 года. Можно предположить, что чем «героичнее» выглядел в своей среде Трубецкой, тем внимательнее к нему приглядывались люди Николая да и сам император.

В марте 1837 года в дневниковых записях императрицы начинают появляться имена Бенкендорфа и генерал-адъютанта графа Орлова.

«Долго катались на салазках... придумали новую игру — бросаться снежками в лицо друг другу. Маска (Г. Я. Скарятин — имя расшифровано Э. Герштейн. — С. Л.) и Бархат, как всегда, в нашем хвосте, следя, чтобы мы не опрокинулись. После обеда — на гору.

Маска всегда на переднем месте, чтобы подать мне руку. Бархат только один раз, по обыкновению помогая другим дамам, садится в санки. Вы знаете: чтобы я не утомлялась, мои казаки вносят меня в гору — но вот Бетанкур и Маска занимают их места и несут своего *шефа* — потом переодевание, обед, музыка, тирольские песни, игры. Комплот моих четырех кавалергардов со мной против Орлова, чтобы помешать ему меня схватить».

В дневнике императрицы появляется и еще одна запись о поездке на Елагин остров 14 марта 1837 года: «Играли в снежки<...>, тирольские песни<...>. Орлов на корде безумный, я прямо против него, четыре кавалергарда: Бетанкур, Куракин, Скарятин, Трубецкой...».

22 марта Александра Федоровна, чувствуя нечто неладное, начинает и сама проявлять беспокойство.

«Вы могли бы сделать кое-какие замечания Бархату, со всей возможной мягкостью и как будто бы от своего имени. Если мы опять поедem на Елагин, нужно будет соблюдать особую осторожность».

В марте 1837 года Александра Федоровна начинает понимать, что «окружена» преследователями.

«Я вам говорила,— писала императрица Бобринской,— что Бенкендорф, Орлов и Раух (флигель-адъютант принца Карла.— *С. Л.*) составили союз против этих бедных молодых людей, которые вели себя безукоризненно».

И чуть дальше:

«Все эти ухаживания проходили далеко от императора, но на глазах у Бенкендорфа, которого я выбрала своим покровителем»,— пишет она.

Вот так так! Бенкендорф, выбранный императрицей в покровители,— финал этой истории явно начинал приближаться.

Тогда же в марте 1837 года Александра Федоровна записала в дневнике:

«Император со мной говорил от своего имени и от имени других».

И императрица и ее подруга Бобринская начинают всерьез волноваться за судьбу Бархата-Трубецкого.

«Чтобы Вас успокоить, я должна начать с того, чтобы сказать, что был назван не он один, но, к счастью, два брата тоже, потому что все трое окружали мать и дочь в играх».

Бенкендорф не берет на себя смелость говорить

с Александрой Федоровной о ее предосудительном поведении; это может позволить себе только Николай I.

«Император говорил со мной мягко,— пишет она Бобринской,— но это навело на меня тоску в последний вечер, и Бархат, который меня понял, отдалился, отдалился почти слишком. В первый раз тоска и слезы, которые я пролила в своей постели, довели меня до бессонницы и безумной головной боли».

Наконец, Александра Федоровна записывает грустную развязку:

«Бархат решил, и это исходит не от меня, и это не причинило мне горя, и я благодарю Бога».

21 июля 1838 года Александра Федоровна писала Бобринской из Германии:

«...Как вы поживаете на Островах? Кто Вас навещает, кто верен Вашим предвечерним собраниям? Я вспоминаю бедного Дантеса, как он бродил перед Вашим домом. Не удивляйтесь, что я о нем думаю, я читала описание дуэли в поэме Пушкина *Онегин*, это мне напомнило ту печальную историю. Одно место меня поразило своей правдивостью, напомнив о Бархате:

В красавиц он уж не влюблялся
И волочился как-нибудь,
Откажут — мигом утешался,
Изменят — рад был отдохнуть,
Он их искал без упоенья
И оставлял без сожаленья».

Александра Федоровна сама подчеркнула последнюю строчку.

«О, что мне приснилось сегодня ночью,— писала она уже в 1839 году.— Будто мать приводит его ко мне, чтобы проститься, потому что его отправляют на Кавказ без моего разрешения. Я протягиваю ему руки и взволнованным, дрожащим голосом говорю: «Что же Вы такого натворили?» Я чувствую, как он берет мою руку и целует ее,— и просыпаюсь».

И наконец — трезвое о самой себе:

«Нужно только наблюдать за собой и всегда просить Бога, чтобы он помог тебе не ослепляться на свой счет. Сказать себе вовремя правду, печальную правду, что тебе уже не двадцать лет».

Но вернемся к дневничку Вяземского «К Незабудке».

18 января 1837 года Вяземский, как я уже писал,

говорит о каком-то «красном человеке». Сам Петр Андреевич, где только может, при любом удобном случае подчеркивает, что он бы так опрометчиво, как этот «красный», не поступил.

«Вечером я отправился к графине Мари... Я оставался там до полуночи, а в полночь поехал к Люцероде, которые устроили вечер для молодых Геккернов. Вечер был довольно обычный, народу было мало.

Трубецкой по-прежнему пруссак.

Как можно быть пруссаком, когда нужно быть финляндцем?

Как можно не быть финляндцем, когда у тебя есть глаза, сердце и на плечах своих ты можешь носить несколько аршин красного сукна? Боже мой, будь у меня какое-либо право на красное сукно, уж как бы я этим воспользовался!»

Пожалуй, одного этого достаточно, чтобы с уверенностью сказать: Александр Трубецкой — вот тот человек, над которым с неизменной осторожностью, но постоянно подшучивает Вяземский.

Посмотрим детальнее текст.

«Трубецкой по-прежнему пруссак».

Подчеркнуто неосторожное, по мнению императрицы, поведение Бархата — А. В. Трубецкого («Бархатные глаза... постоянно останавливались на мне...»), нескромное, с точки зрения власти, а следовательно, компрометирующее Александру Федоровну внимание молодого штаб-ротмистра Кавалергардского полка («Император говорил со мной мягко...»), — факт бесспорный.

Шутливая фраза Вяземского легко поддается расшифровке. Можно себе представить, что, незадолго до описываемых событий, А. В. Трубецкой, дававший некоторую надежду одной из первых петербургских красавиц графине Эмили Карловне Мусиной-Пушкиной... вдруг стал засматриваться на другую даму, не только менее привлекательную, но и старше чуть ли не вдвое.

«Как можно быть пруссаком, — возмущается Вяземский, — когда нужно быть финляндцем?»

И продолжает:

«Как можно не быть финляндцем, если у тебя есть глаза, сердце...»

И действительно! Сорокалетняя пруссачка и «блед-

ная, молчаливая, подобная не то букету белых лилий, не то пучку лунных лучей» Мусина-Пушкина, рожденная в холодной Финляндии («Финляндка Пушкина»), — хорош выбор!

«...и на плечах своих ты можешь носить несколько аршин красного сукна».

«Бархат» из дневника императрицы и «красный» (носящий на плечах своих «красное сукно») из дневника П. А. Вяземского — одно и то же лицо.

«Ультрафешенебль» и кавалергард в красной парадной форме.

«Боже мой! — восклицает князь Петр Андреевич. — Будь у меня<...> право на красное сукно, уж как бы я этим воспользовался!»

А 24 января, через неделю, пересыпая очередную страничку дневничка «множеством красного», он скажет:

«...посылаю несколько пачек красной бумаги, самой красной, которую мне удалось здесь найти.

Я только что написал в Париж, чтобы мне прислали пунцовую по образчику кавалергардского сукна, который я туда послал».

Позднее Вяземский не отказывается от привычных каламбуров и шифра. 13 мая 1837 года на Пасху он пишет Эмили Карловне очередное письмо.

«Поздравляю Вас с красными яйцами, которые принесли Вам Ваши вассалы (вероятно, дворовые. — С. Л.), с их стороны это очень трогательно.

«...>Намедни был большой ежегодный парад на Марсовом поле, но Вас бы он не заинтересовал: красные в тот день были белыми...» (повседневная форма кавалергардов. — С. Л.).

14 августа 1837 года Вяземский пишет снова:

«Идет дождь, холодно, грустно. Тем не менее продолжают балы. Вчера был бал у графини Евдокии Гурьевой¹. Ничего стоящего внимания там не происходило, но там были некоторые красные, поскольку это был праздничный день, однако самого что ни на есть красного, очень красного, то есть пре-красного, там не было, так что Вы там долго не оставались. Я видел, как Вы входите, оглядываете всех красных и улетаете через окно, не найдя на этом бале того, кого искали. Я про-

¹ Сестра М. Д. Нессельроде.

никся Вашим разочарованием, и сие отсутствие пронзило мне сердце».

И все же не стоит отбрасывать высказанное в 1964 году в книге «Судьба Лермонтова» мнение Э. Герштейн о том, что Вяземский ведет разговор о нескольких «красных». Э. Герштейн называет имена А. Куракина и П. Урусова.

Видимо, необходимо сказать, что оба имени встретились мне дважды. Приведу выдержки из писем, в первом случае год написания не отмечен, вероятнее всего это 1838-й.

«...Например, 24 и 26 ноября (не стоило следить с пристрастием), потому что по случаю дня Святой Катерины и Святого Георгия красные, не в обиду Вам будет сказано, были красными, несмотря на отсутствие двора. Говорят, один из красных женится на бледнолицей графине Гурьевой. Но не желайте и не зеленейте, это не тот красный — сын Красного моря, а просто-напросто Куракин».

Оставим «Красное море», к этому важному шифру мы еще вернемся, моя задача назвать единственное имя того «красного».

Что касается князя Пьера (Петра) Урусова, то он служит не в Кавалергардском, а в лейб-гвардии Измайловском полку. В письме Вяземского от 16 января 1837 года скорее говорится о «тени» Урусова, которая возникает в воображении князя как бы рядом с исчезнувшей для него, Вяземского, тенью Эмилии Карловны. Мне кажется, что разговор идет о «московской опасности» для «страдающего петербургского друга».

«Нынче вечером бал в Благородном собрании. Я буду там, чтобы поглядеть, не танцуете ли Вы мазурку с Пьером Урусовым и не поручите ли Вы мне разузнать о причине отсутствия отдельных лиц. Во всяком случае, я буду неослабно бдителен в отношении Пьера Урусова, я буду с ним неразлучен, как с собственной тенью. Увы, то, что я буду искать подле него, тоже всего лишь тень!»

Затем, после обширного и уже приведенного раньше веселого пассажа о «красных», наблюдение за которыми было поручено именно Петру Андреевичу его корреспонденткой, князь восклицает: «Кончаю, дабы поспешить в собрание. Предчувствую, что Вы уже танцуете с Урусовым».

Итак, из всех перечисленных Э. Герштейн «красных» все же остается единственный «пре-красный», «очень

красный», «самый что ни на есть красный» или «наикраснейший» — это князь Александр Васильевич Трубецкой, кавалергард, штаб-ротмистр.

Выходит, что именно о нем и писал П. А. Вяземский в своем трагическом письме от 16 февраля 1837 года: «На этом красном... столько же черных пятен, сколько и крови».

Тайна, известная Вяземскому, открывается. «Красный», на котором, по свидетельству самого осведомленного из современников, лежит кровавая вина,— это один из «коноводов общества», князь А. В. Трубецкой.

В дневниковой записи Вяземского от 18 января 1837 года становится важной каждая строка.

Вернемся к двум моментам текста.

а) «Я... поехал к Люцероде, которые устроили вечер для молодых Геккернов».

Саксонский посланник устраивает бал в честь Дантеса и Екатерины, фрейлины императрицы. Бал, как мы узнаем, немногочислен и скучен, представлен самый узкий круг «ультрафешенеблей», но и в этом узком кругу, помимо императрицы и «пруссак» Трубецкого, находится вездесущий князь Петр Андреевич.

Обратим внимание: присутствие императрицы у Люцероде за несколько дней до трагических событий еще раз подчеркивает полное расположение Александры Федоровны к Геккернам.

б) «...будь у меня какое-либо право на красное сукно...» — Вяземский затеял было забавную светскую шутку...

«Я надеялся через Вашего мужа,— писал он 16 января Мусиной-Пушкиной,— передать Вам подарок, который бы доставил Вам удовольствие, но придется отложить это для другого раза».

Но уже через месяц в трагическом письме открывает этот не осуществленный им «секрет»:

«Я готовил Вам свой портрет в красном одеянии, бальную сцену, где выступают преимущественно красные, но поставьте над этим крест, в этом цвете нет более ничего забавного, всякая шутка по этому поводу будет отныне святотатством».

Итак, Вяземский впрямую винит «красных» и «красного» в смерти поэта. Наступает осознание происшедшего.

20 января, через день после названного бала у Люцере, Вяземский сообщает Эмили Карловне о бале у Синявиной, где собрались «сливки» общества, его «цвет».

«Красный человек, как и подобает, танцевал с пруссачкой, а на следующий день презренный протанцевал целое попури с госпожой Фредерикс на балу у Фикельмонов. Вы покраснели от негодования на него или от гнева на меня? Кстати, госпожа Марченко в тот вечер была в красном платье. Но моей краснокожей, той, чьим поклонником меня заставляют теперь быть, там не было. А посему я сидел без дела, и если бы не клубничное мороженое, мои уста остались бы герметически закрытыми на ночь. Бал длился до четырех утра.

Мать всего красного, или Красное море, если Вам так больше нравится, успокоилась только с последним взмахом смычка.

Знаете ли Вы, что она очень энергично кокетничает с человеком, который не танцевал, но, как видно, подшвы у нее горят сильнее, чем сердце. Госпожа Элиза Хитрово очень возмущена этим и говорит, что эта сорочкалетняя баба ведет себя как девчонка.

Я тоже так считаю, что у всего этого семейства нет сердца, а есть одни только ноги, притом весьма неуклюжие, потому что они наступают на ноги другим.

Вы видите, что все, что в моем отчете относится до кровавого, я пишу красными чернилами».

Начало дневниковой записи от 20 января любопытно тем, что Вяземский несколько расширяет объем эпитетов и прозвищ по отношению к «красному человеку». Он называет его в той же фразе еще и «презренным», «*misérable*».

Э. Герштейн категорически относил «*misérable*» к Сергею Трубецкому, переводя это слово — «отверженный», «несчастный».

Однако в этом отрывке речь идет не о двух разных людях, а только об одном «красном человеке», который на первом балу, «как и подобает, танцевал с пруссачкой» (будучи «пруссак» в записи от 18 января), а на следующий день этот «презренный» умудрился протанцевать с госпожой Фредерикс. Возмутительная неверность «красного человека» должна, вероятно, заставить

покраснеть от обиды уязвленную уже не в первый раз Эмилию Карловну.

Нет, Вяземский не собирается ограничивать свою поэтическую фантазию, он называет очередные «красноты»: и платье госпожи Марченко, и некую «краснокожую», чьим поклонником его обрекли быть, и «клубничное мороженое», которое, как известно, тоже красное.

И тут в текст вкрапливается уже встречавшееся ранее понятие...

«Мать всего красного, или Красное море, если Вам так больше нравится, успокоилась только с последним взмахом смычка<...> подошвы у нее горят сильнее, чем сердце <...> эта сорокалетняя баба ведет себя как девчонка».

По-французски «mère» (мать) и «mer» (море) омонимы. Вяземский — несравненный мастер каламбуров.

При первой публикации этого материала в 1982 году мне показалось, что ответ логичен и совершенно понятен: речь идет об императрице, а следовательно, и о ее паже, мальчике, «сынке» Трубецком.

«Случайно ли выбрано Вяземским такое обозначение: «Мать всего красного, или Красное море»? — задавался вопросом я. И категорически отвечал: — Нет, не случайно».

Ах, как красиво и убедительно у меня все получалось!

«Императрица была действительно «матерью всех красных, или Красного моря,— шеф Ея Величества Кавалергардского полка». На парадах и смотрах она объезжает строй верных ей кавалергардов, строй, напоминающий колышущееся «Красное море». Мощное «ура!» волной растекается от эскадрона к эскадрону. На императрице специально сшитый «для этих торжеств кавалергардский красный мундир, под нею — белая лошадь».

Возможно, моей ошибки и не было бы, если бы не два случайных и, казалось бы, не очень-то важных обстоятельства, ставшие роковыми для всей высказанной мной идеи.

В справочнике Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» была допущена неточность. В первом издании годы жизни Софьи Алексеевны Трубецкой (урожд. Вейс) были названы 1776—1850, следовательно, в дни

написания приведенного письма Вяземского княгине Трубецкой исполнился шестьдесят один год.

Во втором издании эти данные изменены: Софья Андреевна (не Алексеевна) Трубецкая родилась в 1796 году, умерла в 1848 году. А вот «старый» Трубецкой действительно родился на двадцать лет раньше, в 1776 году, и ему в январе 1837 года уже шел шестьдесят второй год.

Конечно, матрона на седьмом десятке и «сорока-летняя баба», которая «ведет себя как девчонка», при том что у нее одиннадцать детей,— разница существенная!

Вторым обстоятельством оказался поистине трагический для меня случай.

Из письма П. А. Вяземского при переводе случайно была пропущена фраза в постскриптуме. Письмо написано 15 января 1837 года, и меня в нем особенно интересовала еще одна неиспользованная ранее ссылка на «красных».

Повторю отрывок: «Бал (поскольку совершенно необходимо рассказать Вам о бале) был блестящим, многолюдным, элегантным, оживленным. Отношения развивались своим путем. Каждый кавалер подле своей [дамы]. Красные, хотя на этом вечере и были зелеными (игра слов, «бодрыми» — *фр.*), блистали более чем всегда. Одним словом, все шло как обычно».

Но в постскриптуме оказалось чрезвычайно важное дополнение, оно-то и было пропущено: «Старик Трубецкой, глядя вчера на свою молодую жену, которая протанцевала весь бал от первого танца до последнего, сказал: „Вы гоните натуру в дверь, а она возвращается к Вам через форточку“».

Таким образом, «мать всего красного», «у которой подошвы горят сильнее, чем сердце», из дневничка и «молодая жена» в только что приведенной цитате из письма от 15 января — одно лицо. «Мать красных, или Красное море» и есть Софья Андреевна Трубецкая, «покровительница» целого «моря» «красных» детей.

И все же обратимся и к другим упоминаниям «Красного моря».

Кровь Пушкина на «красном в высшей степени» — слишком серьезное обвинение.

«18 апреля 1838 года.

Бал у Браницких был очень хорошим и очень душевным. Новые святые, то есть девицы де-сент-Альдегоит, причислены к лику святых и у нас. Эти красивые осанки, очень смуглые и очень южные. Не буду скрывать от Вас, что сын Красного моря уже весьма усердно волочится за сими дочерьми Черного моря».

Камер-фурьерский журнал фиксирует 18 апреля 1838 года «высочайший выезд на бал к егермейстеру графу Браницкому». Среди присутствующих указаны и Трубецкие. Отмечен в журнале и генерал-майор граф де-сент-Альдегоит с двумя дочерьми.

В ноябрьском письме от 1838 года, которое я уже цитировал, после сообщения о свадьбе графини Гурьевой и одного из «красных», объяснялось: «Это не тот красный — сын Красного моря, а просто-напросто Куракин».

7 апреля 1837 года в письме к княгине Ольге Александровне Долгоруковой в Баден-Баден, в ответ на ее просьбу сообщить подробности убийства Пушкина, Вяземский вначале говорит о том, что «предмет щекотлив» и, «чтобы объяснить поведение Пушкина, нужно бросить обвинения против других лиц, замешанных в этой истории», затем заключает: «...но единственная, благородная жертва — сам Пушкин!»

И дальше — неожиданно:

«Княгиня Трубецкая еще не успела поостыть от пляски на масленице и уже готова плясать на светлое воскресенье. Эта женщина на глазах молодеет, и если так будет продолжаться, то скоро придется крестить ее снова, так как *она превратится в новорожденную*».

Последний пассаж фактически повторяет его же слова, но в письме к Мусиной-Пушкиной от 20 января 1837 года.

Что же касается «щекотливости предмета», то и на этот вопрос ясно отвечает камер-фурьерский журнал. «Обед во дворце, — записывает дворцовый летописец. — От Императора с левой стороны супруга княгиня Трубецкая, от Императрицы с правой стороны генерал-адъютант князь Трубецкой».

В январе 1837 года, несмотря на некоторое «нездоровье» Александры Федоровны, императорская чета по-прежнему принимает своих ближайших друзей, среди которых семь раз «кушают» супруги Трубецкие, часто

повторяются имена Бобринских и Строгановых, ближайших родственников Трубецких.

Обвинение П. А. Вяземского в письме от 16 февраля 1837 года против «высших кругов», «сыгравших пошлую и постыдную роль», как и лермонтовское «потомки <...> жадною толпой стоящие у трона», обретает конкретное обозначение.

Посмотрим все затронутое Вяземским, связанное с «красным» и «красными».

«Я тоже считаю,— писал Вяземский,— что у всего этого семейства нет сердца, а есть только ноги, притом довольно неуклюжие, потому что они наступают на ноги другим...»

В письме от 16 января, полном шутивых «краснот», Вяземский писал:

«Вот Вам последние новости: некий кавалергард по имени Трубецкой,— не знаю, заметили ли вы его во время своего пребывания в Петербурге? — так сильно наступил на ногу юной Барятинской, танцуя с ней на балу у французского посланника, что весь чулок у нее был залит кровью и ей пришлось покинуть зал. Меня всегда поражала неуклюжесть этого человека».

Ирония Вяземского очевидна... Он шутит: «...не знаю, заметили ли вы его во время своего пребывания в Петербурге?» — хотя упоминаниями именно о нем, о князе Трубецком, полны в угоду Мусиной-Пушкиной письма Вяземского.

История с «раздавленной ногой» занимала, оказывается, и А. И. Тургенева — он сообщает эту чрезвычайную новость Булгакову:

«Не было и без беды кровавой, прелестной княжне Барятинской наступили на китайскую ножку, так что показалась кровь».

Впрочем, гипербола Вяземского объяснима: для усиления интереса Эмилии Карловны ему требуются катастрофы.

Описывая очередной бал у княжны Белосельской 16 января, Вяземский подчеркивает:

«Бал в общем удался. К счастью, на нем не было раздавителя ног».

И еще раз в отрывке, который точно датировать не удастся:

«Вчера был большой раут у графини Ливен. Двор прибыл туда неожиданно. Было много блеска, было

очень жарко, толкались, наступая друг другу на ноги. в общем вечер удался на славу».

И наконец, завершая дневниковую запись, 20 января Вяземский прямо указывает на Трубецкого: «...что в моем отчете относится до кровавого, я пишу красными чернилами». Указание на «раздавителя ног» — буквальный смысл этой фразы.

Слова «у всего этого семейства есть только ноги», конечно же, относятся и к княгине С. А. Трубецкой, матери «красного».

В феврале 1839 года Вяземский дважды сообщает Э. К. Музиной-Пушкиной об одном и том же любопытном событии.

«Вот и конец масленицы,— пишет он,— которая была более танцевальной, чем когда-либо. Вчера была очередь Красного моря. Вы ведь знаете, что случилось у них в семье. Однако молодых на балу не было, они, кажется, в Павловске или в Царском Селе, на месте пребывания полка, в котором служит муж. Именно там наслаждаются они своим *медовым или уксусным месяцем*. Жена поистине достойна жалости и, вероятно, дорогой ценой заплатит за свою ошибку».

И в другом письме, видимо отправленном в близкие к предыдущему дни:

«Вы, должно быть, уже знаете от Вашей *belle soeur* *романтическую историю, или исторический роман в семействе Красного моря*, и мне нет надобности говорить еще что-то по этому поводу».

Что же за громкое событие, какой «исторический роман» произошел в семье «Красного моря» зимой 1839 года?

В сентябре 1838 года императрица пишет наследнику за границу: «Самая свежая и поразительная наша новость, Маша Трубецкая выходит замуж за гусарского офицера Столыпина, зятя Философова».

Записки, дневниковые пометы императрицы, которые приводит Э. Герштейн в своей книге «Судьба Лермонтова», говорят о том, что свадьба Марии Трубецкой имела для высочайшей особы какой-то дополнительный смысл.

24 января Александра Федоровна пишет сыну: «Кстати, позавчера состоялась свадьба Марии Трубецкой и Столыпина. Это была прелестная свадьба. Жених и невеста<...>, восхищенные родственники той и другой

стороны. *Мы*, принимающие *такое* участие, как будто невеста — дочь нашего дома. Назавтра все явились ко мне, отец, мать, шафера (Александр Трубецкой и Монго-Столыпин.— *С. Л.*) с коробками конфет и молодожены».

«К 8-ми часам вечера,— записывает камер-фурьер,— по приглашению от Императорских Величеств по случаю имеющегося быть в церкви Собственного дворца браковенчания лейб-гвардии гусарского полка ротмистра Алексея Григорьевича Столыпина с фрейлиною Ея Императорского Величества княжною Мариєю Васильевною Трубецкою, дочерью генерал-адъютанта, съезжались в Собственный Его Величества дворец родственники как со стороны жениха, равно и невесты, и собрались: первые с женихом в церкви, а последние с невестой в Белой комнате».

Для нас, сегодняшних, конечно, имеет значение, что на свадьбе среди приглашенных был родственник от жениха Михаил Юрьевич Лермонтов. Однако свет меньше всего обращал внимание на поэта. Камер-фурьер фиксировал более важных гостей семейства Трубецких — обер-шенка Г. А. Строганова, генерал-адъютанта А. Г. Строганова, семейства Бобринских, Фредериксов и других.

В феврале молодые действительно находятся в Царском Селе, «на месте пребывания полка, в котором служит муж».

И все же почему Вяземский говорит о том, что Трубецкая-Столыпина «достойна жалости», что она «дорогой ценой заплатит за свою ошибку», а в следующем письме называет замужество Марии Трубецкой «историческим романом»? И отчего тогда «медовый месяц» обретает как бы равнозначное определение, Вяземский называет его «уксусным месяцем»?

Значительно позднее того 1839 года Петр Долгоруков называет Марию Васильевну Столыпину (урожд. Трубецкая) женщиной «замечательной красоты, ума бойкого и ловкого, искусною пройдохой и притом весьма распутною, находившейся в связи в одно и то же время и с цесаревичем и с Барятинским».

Судя по эпитетам и намекам Вяземского, связь фрейлины Трубецкой и цесаревича была предметом светских пересудов. А столь серьезное участие в свадьбе царской семьи косвенное тому подтверждение.

Александра Федоровна дважды сообщает о свадьбе

цесаревичу Александру в письмах. Цесаревич отвечает со спокойной благосклонностью.

А через четыре месяца Столыпин выходит из лейб-гусарского полка и назначается адъютантом герцога Максимилиана Лихтенбергского, вступившего в брак с великой княжной Марией Николаевной. Молодые супруги покидают Петербург, — не исключено, что молве, по желанию императорской семьи, необходимо было утихнуть.

17 февраля 1837 года, продолжая письмо, начатое 16-го, Вяземский называет еще одно имя в связи с «Красным морем». Он пишет:

«...Перовский, Оренбургский генерал, — вот кто баламутит Ваше гадкое Красное море, а старый Нептун ее ревнует. Его трезубец, или, иначе, его длинный нос, имеет грозный вид».

У Даля — БАЛАМУТИТЬ: мутить, волновать, беспокоить, тревожить попусту, поселять раздор сплетнями, наговорами, неуместными советами, прочее...

Трудно сказать, о чем сообщает Вяземский Мусиной-Пушкиной, какое мутное волнение в глубинах «Красного моря» поднимал генерал Перовский. Ясно одно: «старый Нептун» — это старый Василий Сергеевич Трубецкой, которому явно не так-то спокойно со своей неутихающей и «вечно молодеющей» женой.

13 мая 1837 года в одном из очередных писем Вяземский сообщал: «Намедни был большой ежегодный парад на Марсовом поле, но Вас бы он не заинтересовал: красные в тот день были белыми, а что до красного, там были только «невыразимые» графа Фикельмона — что до Красного моря, то оно высыхает: источники, его питавшие, отправлены в Оренбург».

Итак, «Оренбургский генерал» отправляется в Оренбург, «Красное море», она же С. А. Трубецкая, начинает «высыхать», а точнее — сохнуть, теряя «питающий ее» «источник». Василию Сергеевичу Трубецкому, кажется, немного спокойнее становится жить...

...Итак, 16 февраля 1837 года Вяземский назвал графине Эмили Карловне Мусиной-Пушкиной одного из конкретных виновников гибели Пушкина, одного из

главных действующих лиц «презрительного кружка», «коновода высшего общества» штаб-ротмистра Кавалергардского полка князя Александра Васильевича Трубецкого, «красного человека».

«Я содрогаюсь при одной мысли, что Вы можете думать обо всем этом не так, как я...», — восклицал он.

Покровительство Бархату со стороны императрицы, особая к нему благосклонность, высокое положение при дворе генерал-адъютанта Василия Сергеевича Трубецкого и княгини Софьи Андреевны Трубецкой, близкие родственные отношения с ближайшими к царю обершенком графом Строгановым и Бобринским — все это способствовало тому, что «самый что ни на есть красный» и его «красные» друзья, чинившие «адские козни», оказывались достаточно защищенными.

Люди, расставившие поэту «адские сети», были теми «сливками общества», его «цветом», «ультрафешенеблями», о которых не раз писал в своем дневничке князь Петр Андреевич. Напомню несколько фраз из его писем:

«Чем больше думаешь об этой потере, чем более проводишь обстоятельств, доньше бывших в неизвестности и которые время начинает раскрывать понемногу, тем более сердце обливается кровью и слезами», — писал он 10 февраля.

И через два месяца, 7 апреля, в письме к Долгоруковой:

«Вы спрашиваете меня о подробностях этого прискорбного события, очень бы хотел Вам сообщить, но предмет щекотлив. Чтобы объяснить поведение Пушкина, нужно бросить суровые обвинения против других лиц, замешанных в этой истории. Обвинения не могут быть обоснованы известными фактами».

А «предмет», о котором говорил Вяземский, был не только щекотлив, но и крайне опасен. И Вяземский решил молчать. Верноподданнический тон его писем, восторг перед милостями императора, несомненно, не только дань времени, но и расчет и страх.

4. УЛИКИ

Имя «наикраснейшего», «на котором столько же черных пятен, сколько и крови», пушкинской крови, имя штаб-ротмистра Кавалергардского полка князя А. В. Трубецкого — *бесспорно*.

Однако, раскрывая «тайну» Вяземского, необходимо

попытаться ответить и на другой вопрос: какие «адские козни» подразумевал князь Петр Андреевич в своих письмах?

Первопричиной зла в письмах Вяземского неоднократно возникает тема *клеветы*, «безымянных писем», то есть анонимного пасквиля.

«Анонимные письма — первопричина всего», — писал Вяземский 5 февраля.

Вяземский не просто обвиняет «красных» и «красного человека» в «гнусном и позорном событии», но и подчеркивает, что осуществление козней было делом групповым, что травля Пушкина превратилась этими людьми «в дело партии, в дело чести полка».

Какие же факты могут подтвердить подозрение, падающее на Трубецкого как на автора анонимного пасквиля?

Помните, императрица писала Бобринской: «Бархатные глаза<...> словно бы грустили из-за участи брата, но постоянно останавливались на мне...»?

«Участь брата», о которой говорит Александра Федоровна, — это история «шалости» Сергея Трубецкого. Александр Трубецкой в этой забаве не участвовал, но, возможно, он был просто не назван друзьями при расследовании.

Вот запись биографа одного из «шалунов».

«На Невке, на Черной речке весь аристократический бомонд праздновал чьи-то именины в разукрашенных гондолах, с музыкой, певцами и проч., вдруг в среду гондол влетает ялик, на котором стоит черный гроб, и певчие поют «со святыми упокой». Гребцы — князь Александр Иванович Барятинский, кавалергарды — Сергей Трубецкой, Кротков, у руля тоже их товарищ. Гроб сбрасывают в воду, раздаются крики: «Покойника утопили!» — произошла ужасная суматоха, дамы в обморок, вмешательство полиции, бегство шалунов!..

Однако окончилась для шалунов эта история довольно печально — продолжительным арестом на пять или шесть месяцев поплатился князь Александр Иванович, князь Трубецкой переведен тем же чином в армейский полк».

Об этом же событии оставил свою запись А. И. Арнольди, служивший в Гродненском полку, считавшемся «местом ссылки или какого-то чистилища».

«У нас был прикомандирован князь Сергей Трубецкой, товарищ по Пажескому корпусу, из Кирасирского орденского полка, в который попал из кавалергардов за какую-то шалость, выкинутую целым полком во время стоянки Кавалергардского полка в Новой Деревне. Говорили тогда, что кавалергарды устроили на Неве какие-то великолепные похороны мнимо умершему графу Борху».

Фигура Иосифа Борха появляется в арсенале развлечений и *игрищ* «ультрафешенеблей» задолго до анонимного пасквиля, в котором он упомянут с титулом «несменного секретаря ордена рогоносцев».

Неясное и, конечно же, подозрительное в моральном плане «усыновление» Дантеса, язвительные шутки кавалергардов, отзвук этих шуток, который слышится в письме императрицы к Бобринской по поводу «ново-рожденного» и его дурных манер, письмо Николаю I Вильгельма Оранского о странном усыновлении Дантеса — все это как бы подчеркивает неслучайность появления в «дипломе» фигуры «несменного секретаря ордена рогоносцев Иосифа Борха».

Ассоциация «Борх — Дантес» очевидна. Ухаживание за Натальей Николаевной такого же «выродка», как Борх, — извращенца Дантеса — еще одна оскорбительная стрела, пущенная в Пушкина, намек, понятный ему.

Серьезен, мне думается, и другой факт. В декабре 1836 года граф В. Соллогуб перед отъездом из Петербурга зашел проститься с д'Аршиаком, который «показал ему несколько печатных бланков с разными шутовскими дипломами на разные нелепые звания». В «Воспоминаниях» Соллогуб писал, что «венское общество целую зиму забавлялось рассылкой подобных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, посланного Пушкину. Таким образом, гнусный шутник, причинивший ему смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал».

Д'Аршиак — не только будущий секундант Дантеса на дуэли, он один из самых близких людей к этой группе гвардейского офицерства, к самому Трубецкому, Бетанкуру, Барятинскому и другим.

Как и Бетанкур, д'Аршиак — шафер на свадьбе

Дантеса. О нем неоднократно пишет Идалия Полетика Дантесу и Екатерине в Париж.

Обращение «типового дипломата» в этой среде, в руках нескольких «ультрафешенеблей», тем более — кавалергардов, — факт достаточно выразительный.

Чем громаднее ложь — тем она была желаннее. Ложь частично выдумывалась и раздувалась для забавы императрицы, ложь развлекала царя.

«А так как люди всегда люди, — писал Николай I сестре Марии Павловне 4 февраля 1837 года после гибели Пушкина, — то болтали много вздору, а я слушал, полезное занятие для тех, кто это умеет делать».

Но не меньше, чем ложь, развлекали «фешенеблей» и «красных» неистовство Пушкина, его «белиенство», его ранимость и незащищенность, а главное — его беспомощность перед злом.

«Наикраснейший» — активнейший участник этих пересудов, именно его вызывает к себе императрица, видимо надеясь получить дополнительные и наиболее достоверные подробности.

4 февраля 1837 года Александра Федоровна сообщает Бобринской в письме:

«Итак, длинный разговор с Бархатом по поводу Жоржа. Я хотела бы уже знать, что они уехали, отец и сын».

Известно, что 1 февраля В. А. Жуковский получил анонимное письмо, в котором автор требовал не только высылки Геккерна из России, но и строгого наказания убийце.

Жуковский рассказывает о письме императрице, она — императору. Бенкендорф запрашивает у Жуковского и письмо и подробности о нем.

Возможно, и императрица говорит об этом анонимном письме, когда пишет Бобринской: «Я знаю теперь все анонимное письмо, подлое и вместе с тем отчасти верное», однако можно предположить, что разговор с Бархатом был шире, Александру Федоровну интересовали иные подробности, не для того же явился во дворец Бархат, чтобы *ему* сообщать о малоинтересном анонимном письме. Конечно же, «наикраснейший» явился во дворец со своими новостями, столь желанными императрице.

Кроме того, нет оснований предполагать, что ано-

нимное письмо от 1 февраля имело какое-то новое содержание, несло неизвестную ранее информацию о дуэли. Если же его смысл был только в требовании изгнать из России Геккерн, а Дантеса строго наказать за убийство, то об этом уже всюду говорилось, и не анонимно.

Куда сильнее была реакция всего Петербурга на стихотворение М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта». Первые пятьдесят шесть строк, широко известные к тому же 1 февраля, были встречены Николаем I и Бенкендорфом вполне спокойно, — раздражение наступило только через две недели, когда появились прибавленные шестнадцать гневных строк.

Нет, не случайно вызывался Бархат покровительницей — информация «из первых рук» была очень необходима.

Правнук Ж. Дантеса — Клод де Геккерн, характеризуя собственный архив, сохранившийся в Сульце и в Париже, так писал мне:

«Жорж был дружен с кавалергардами. У меня есть письма от них и от самого Трубецкого, который оказался злобным стервецом и завидовал успеху моего прадеда, и даже написал о нем оскорбительное суждение...»

Судьба Пушкина занимала Трубецкого всю жизнь. Отголоски рассказней «наикраснейшего», «красного в высшей степени» возникали неоднократно.

В октябре 1836 года высшее петербургское общество начинало съезжаться с дач.

16 октября вернулись Бярятинские, ближайшие друзья Трубецкого и Дантеса.

Юная княжна Бярятинская, которой неуклюжий Трубецкой в январе 1837 года наступил на «китайскую ножку», в эти дни не домогала.

«Я лежала в первые дни после нашего приезда, — записала она в дневнике 23 октября, — все приходили в мою комнату. Было уже несколько молодых людей, приходивших утром, а мы всего неделя как здесь... Лили Толстой¹ рассказывал, что госпожа Соловова² спросила его: «Ну как, устраивается ли свадьба Вашей

¹ Ближайший родственник Бярятинских. Князь А. И. Бярятинский — брат Мари — был наследником состояния Толстых.

² Жена ротмистра Кавалергардского полка Петрово-Соловова, друга Бярятинского и Трубецкого.

кузины?» Лили изумленно спросил: «С кем?» — «С Геккерном». Вот мысль, никогда не приходившая мне в голову, так как я чувствовала бы себя несчастнейшим существом, если бы должна была выйти за него замуж. Он меня забавляет, вот и все. Она говорит: «Но теперь поздно, он был бы в отчаянии, если бы ему отказали». Я знаю, что это не так, так как я ему ничуть не подхожу. (...) И татап узнала через Тр[убецкого], что его отвергла госпожа Пушкина. Может, потому он и хочет жениться. С досады! Я поблагодарю его, если он осмелится мне это предложить».

Трубецкой всюду. Он добывает, а то и создает новости, понимая, что именно такого рода коммеражии особенно интересны Александре Федоровне. Пушкин и его жена — мишени Трубецкого; незащищенность поэта веселит и притягивает князя и его друзей.

Запись Марии Барятинской — документ удивительный! — сделана за неделю до получения анонимного письма.

23 ноября, через месяц, императрица написала Бобринской:

«Со вчерашнего дня для меня все стало ясно с жеманностью Дантеса, но это секрет».

Известно, что царь принимал Пушкина 23 ноября после четырех часов пополудни. Императрица говорит о дне вчерашнем, то есть о 22 ноября.

Не стану повторять хода рассуждений некоторых исследователей, они считают, что записка императрицы — отклик на разговор Жуковского с государем. Правда, в камер-фурьерском журнале об этой встрече ничего не записано, но комментаторы допускают, что разговор мог быть неофициальным, в кулуарах.

Не следует буквально принимать уверения Александры Федоровны в том, что ей «со вчерашнего дня ясно...». Речь идет скорее всего об очередном слухе, о новой сплетне, идущей или от самого Дантеса, или от его ближайших друзей, и в первую очередь — от Александра Трубецкого.

Именно в эти дни высший свет наводнен такого рода слухами и сплетнями.

Записка императрицы от 23 ноября будто бы получает свое естественное продолжение в подробном письме Бобринской к мужу, написанном 25 ноября:

«Никогда еще, с тех пор как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных. Геккери-Дантес женится! Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустную молву... Если ты будешь меня расспрашивать, я тебе отвечу, что ничем другим я вот уже целую неделю не занимаюсь, и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-либо в ней понимаю. Это какая-то тайна любви, героического самопожертвования, это Жюль Жанен, это Бальзак, это Виктор Гюго... Это возвышенно и смехотворно».

«Возвышенно» — это Дантес с его «героическим самопожертвованием».

«Смехотворно»?..

29 декабря Софья Карамзина пишет брату о «непрестанной комедии», за которой они с интересом и удовольствием наблюдают:

«Пушкин продолжает вести себя самым глупым и нелепым образом; он становится похож на тигра и скрежещет зубами всякий раз, когда заговаривают на эту тему...»

И чуть ниже: «Ах, смею тебя уверить, это было ужасно смешно».

Месяцем раньше почти теми же словами пишет Бобринская:

«В свете встречают мужа, который усмехается, скрежеща зубами».

А 22 января фрейлина Мердер записывает о Пушкине в своем дневнике: «Какое чудовище!»

Крайне интересна осведомленность Бобринской по поводу анонимных писем:

«Анонимные письма самого гнусного характера обрушились на Пушкина. Все остальное — месть, которую можно лишь сравнить со сценой, когда каменщик замуровывает стену».

Это из того же письма от 25 ноября.

Н. Б. Востокова, публикатор письма, предполагает, что Бобринская получает сведения от Жуковского.

Однако нельзя забывать, что Бобринская — кузина Трубецкого; она постоянно встречается и с ним, и с его друзьями, и с императрицей.

16 февраля 1837 года, в тот самый день, когда Вяземский пишет трагическое письмо Мусиной-Пушкиной о вине «красного» и «красных», Софья Бобринская едет в Одессу своей кузине:

«Говорят о танцевальных утрах, о вечерних катаниях с гор. Масленица заглушила шумом своих бубенчиков ужасный отголосок смерти нашего Пушкина. Я сообщила сестре (родная сестра С. Бобринской тоже жила в Одессе.— С. Л.) все подробности этого трагического конца. Расспросите ее об этом. Это нас привело в оцепенение в течение недели, но масленица закружила головы самым пылким и... Такова жизнь!»

Не до конца оценен еще один поздний документ — воспоминания Фаллу, прибывшего в Петербург летом 1836 года.

Приятельница Нессельроде Свечина рекомендовала Фаллу ультрафешенебельному Петербургу. Этого было достаточно, чтобы принять иностранца с предельной расположенностью и гостеприимством. Фаллу посещал все главные петербургские салоны, из которых особо выделил салон С. А. Бобринской.

Гидами по Петербургу, а затем и друзьями Фаллу стали «ультрафешенебли»: сын министра Дмитрий Нессельроде, кавалергард Жорж Дантес, кавалергард князь Александр Трубецкой и кирасир князь Александр Барятинский.

Вернувшись в Париж, Фаллу не порывает с Петербургом, друзья активно переписываются. Особенно подробно пишет ему Трубецкой, в частности он сообщает Фаллу о дуэли Дантеса с Пушкиным.

«Д'Аршиак передал мне вчера письмо от Александра Трубецкого,— торопится сообщить Фаллу 8 марта 1837 года Дантесу в Петербург,— скажите ему, что оно доставило мне невыразимое удовольствие. Доказательство памяти обо мне Вас обоих, поверьте, всегда будет трогать меня до глубины души, надеюсь, что Трубецкой получил от меня длинное письмо приблизительно в то же самое время, как писал мне. Я надеюсь, что наши мысли еще не раз невольно встретятся таким образом».

В 1838 году, через год после путешествия в Россию, Фаллу встречает в салоне Свечиной мадам Нессельроде, с которой говорит о дуэли Дантеса и Пушкина. А через сорок четыре года, в 1882 году, Фаллу пишет воспоминания, где, ссылаясь на «непререкаемый источник», описывает конфликт между Дантесом и Пушкиным.

П. Е. Щеголев решил, что Фаллу черпал сведения

у Нессельроде, хотя в воспоминаниях Фаллу этот факт не прочитывается.

Кроме того, разговор с Нессельроде, конечно же, за сорок четыре года был забыт в подробностях; чтобы сохраниться таким, каким он был рассказан, нужны письма. Воспроизводимый Фаллу диалог между Дантесом и Пушкиным — это, скорее всего, материалы из сохранившихся писем друзей Дантеса, в первую очередь — Трубецкого.

«Однажды утром господин Геккерн увидел входящим к себе в комнату Пушкина,— писал Фаллу,— поэта, заслуженно самого популярного в России. «Как объяснить, барон,— сказал он ему с наружным спокойствием,— что я нашел у себя эти письма, написанные Вашей рукой?» — у него в руках были письма, содержавшие в самом деле выражения самой пылкой страсти. «Вы не имеете основания быть ими оскорбленным,— отвечал Геккерн,— госпожа Пушкина изъявила согласие принимать их только для того, чтобы передавать их своей сестре, на которой я желаю жениться». — «Тогда женитесь». — «Моя семья не дает мне своего согласия». — «Добейтесь его».

Этот разговор создавал очень щекотливое положение, и если бы брак не состоялся, то госпожа Пушкина могла бы быть сильно скомпрометирована.

Жорж Дантес долго не стал колебаться, и вскоре после этого Петербург поздравил его с законным браком.

⟨...⟩ Прошло шесть месяцев. Пушкин вошел в квартиру Геккерна со спокойным и мрачным лицом. «Вы думаете, что меня обманули, так я изобличу Ваш обман. Если бы Вы меня убили шесть месяцев назад, Вы бы, быть может, женились на моей жене. Теперь Вы связаны, Вы должны стать отцом. Давайте драться».

Жорж де Геккерн обладал достаточным мужеством, чтобы изодраться в попытках избежать отвратительного подобного поединка, но все было напрасно, и Пушкин оказался непреклонным.

Место встречи было установлено, секунданты выехали из Петербурга вместе с обоими противниками, расчистили снег на опушке небольшого леса и положили, с согласия Геккерна, что Пушкин будет стрелять первым.

Пушкин прицелился в своего бофрера, опустил свое оружие, снова поднял его с оскорбительной улыбкой,

выстрелил, и пуля просвистела около уха его противника, не задев его.

Геккери прибл с твердым убеждением выстрелить на воздух, после того как выдержит выстрел Пушкина, но эта холодная ненависть, продолжающаяся до последнего часа, заставила его самого потерять хладнокровие, и Пушкин пал мертвым на месте».

История, рассказанная старым Фаллу, восходит к версии, распространявшейся князем А. В. Трубецким. Чтобы убедиться в этом, обратимся еще к одному документу, давно известному пушкинистам.

В июле 1887 года известный историк и журналист, автор многочисленных трудов по немецкому средневековью, а затем многоотомного серьезного исследования по истории царствования Екатерины II — Василий Алексеевич Бильбасов, зять А. А. Краевского, еще совсем недавно редактировавший газету «Голос», человек крайне пунктуальный и столь же добросовестный, встретился на даче своего тестя в Павловске с приехавшим в Петербург из Одессы семидесятичетырехлетним генерал-майором князем А. В. Трубецким.

По всей вероятности, не Бильбасов искал Трубецкого, а Трубецкой, мучимый собственной тайной, искал солидного историка, чтобы внушить ему свою версию событий полувековой давности. При этом Трубецкой не желал, чтобы его воспоминания были опубликованы сразу, — он, видимо, взял с Бильбасова слово напечатать их после его, Трубецкого, смерти.

Первая публикация «Рассказа» Трубецкого была сделана Бильбасовым в Одессе в 1898 году, в количестве десяти-пятнадцати экземпляров, через одиннадцать лет после смерти князя.

В 1901 году Бильбасов публикацию повторил (кстати, текст одесского издания уже распространялся в списках!), издав «Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу» в «Русской старине». При публикации были допущены некоторые купюры и разночтения. В последующие годы «Рассказ» Трубецкого (по одесскому изданию) неоднократно воспроизводился Щеголевым в его знаменитой книге.

Н. П. Смирнов-Сокольский, имевший брошюру в собственной библиотеке, отметил ряд неточностей, допущенных П. Е. Щеголевым в своих переизданиях.

Допуская возможные расхождения текста с оригиналом, я предпринял поиски рукописи, которая оказалась в архиве В. А. Бильбасова и А. А. Краевского.

Первой записи, сделанной Бильбасовым сразу же после разговора с Трубецким, в этом архиве нет. Однако «Рассказ» Трубецкого нашелся в списке, изготовленном, судя по титульному листу, помеченному цифрой 1а, после 1901 года; здесь тем же почерком и теми же чернилами, что и в тексте, отмечена публикация в «Русской старине».

Рукопись представляет собой тринадцать страничек мелко исписанной, пожелтевшей бумаги.

«Рассказ» записан в форме изложения; рассказчик, со слов которого рассказ записывается, именуется князь Трубецкой. Предисловие, которое читалось раньше как текст В. А. Бильбасова, оказывается уже рассказом самого князя Трубецкого.

В свете всего вышесказанного этот документ приобретает исключительную важность.

В неоконченной повести «Гости съезжались на дачу» Пушкин написал будто бы о самом себе:

«Злословие даже без доказательств оставляет почти вечные следы. В светском уложении правдоподобие равняется правде...» Шеголев не до конца отделял это «правдоподобие» от действительной правды. Шеголев даже пытался романтизировать рассказ Трубецкого.

«Несомненно, память князя Трубецкого,— писал Шеголев,— многое исказила в былой действительности, да и трудно требовать точной передачи, точных дат от глубокого старика, рассказывающего о событиях через пятьдесят лет после их свершения. Но ведь старик вспоминал о самом дорогом ему времени, о своей молодости, когда ему было двадцать четыре года и когда из поручиков кавалергардского полка он был произведен в штаб-ротмистры. Можно забыть отдельные факты, эпизоды молодости, но нельзя забыть чувства жизни в эти годы в ее характерных особенностях. Князь Трубецкой забыл детали, но хорошо помнил общий фон...»

Нет, князь Трубецкой, конечно же, ничего не забыл: он хорошо помнил обстоятельства, которые знал и создавал сам.

Пожалуй, только А. Ахматова правильно оценила рассказ Трубецкого.

«Воспоминания Трубецкого,— писала она, назвав перед этим сочинение князя тем «питательным буль-

оном», на котором щедро произрастала отрава,— из маразматического бормотания<...> превращаются в документ первостатейной важности: это единственная и настоящая запись версии самого Дантеса».

Однако и Ахматова не предполагала участия «рассказчика» в убийстве Пушкина, не думала о его «кровавой роли», не могла знать участников «презрительного кружка», этой объединенной против Пушкина великосветской мафии.

Теперь, перечитывая рассказ, мы можем говорить о психологическом оружии, о своеобразной идеологии, которой эта мафия пользовалась. Трубецкой был одним из лидеров этой мафии, хотя бы потому, что ему покровительствовала сама императрица.

Поразительно звучат слова Вяземского из письма к великому князю Михаилу Павловичу в Геную, написанного 14 февраля, за пятьдесят лет до «Рассказа» Трубецкого:

«Клевета продолжала чернить память Пушкина, как при жизни терзала его душу...»

А в письме к А. О. Смирновой-Россет он словно бы развивал собственную мысль:

«Проклятые письма, проклятые сплетни приходили к нему со всех сторон... Горько знать, что светское общество (по крайней мере некоторые члены оногo) не только терзало ему сердце своим недоброжелательством, но и озлобляется против его трупа».

...Скрыв свои лица, они преследовали Пушкина. «Злословие даже без доказательств оставляет вечные следы» — это они понимали.

Они действительно были «красными», но от пушкинской крови.

«...Что в моем отчете относится до кровавого, я пишу красными чернилами», — шутил Вяземский за неделю до убийства, не предполагая, как он близок к правде.

Не станем полностью перепечатывать «Рассказ» Трубецкого, помня, что он уже неоднократно публиковался П. Е. Щеголевым.

Отбросим банальные грубости, которые позволяет себе Трубецкой, и поищем в рассказе какие-нибудь новые факты об «отношении Пушкина к Дантесу».

Аргументированных фактов, оказывается, нету.

Впрочем, Трубецкой, видимо, уверен, что клевета

и не требует фактов, она должна быть голословной. Аргументация может вызвать сомнение, даже яростное опровержение.

Рассказ начинается вроде бы с правдивого утверждения, что сам Трубецкой «не был приятельски знаком с Пушкиным, но хорошо его знал по частым встречам в высшем петербургском обществе и, еще более, по своим близким отношениям к Дантесу».

Лето 1836 года было особенно удачно для Трубецкого. Кавалергарды стояли в крестьянских избах Новой Деревни, и Трубецкому «посчастливилось» жить в одной хате с Дантесом, «который сам сообщал ему о своих любовных похождениях, вернее, о своих победах над женскими сердцами».

Какие же «подвиги» Дантеса были тогда известны «наикраснейшему»?

Оказывается, утверждает Трубецкой, Дантес летом 1836 года постоянно посещал дачу Пушкиных и «приударял» за Натальей Николаевной, а Пушкин к этому, оказывается, относился вполне благосклонно.

Стоит ли доказывать, какая чушь такое утверждение. Известно, что в конце мая Наталья Николаевна родила младшую дочь и долго болела, в свете она вновь стала появляться только глубокой осенью.

Летние визиты Дантеса на дачу к Пушкиным — ничем не подтвержденный голословный вымысел. Ложь!

Дальше Трубецкой сообщает удивительный по нелепости эпизод, который случился будто бы в семье Пушкиных тем летом. Думаю, его следует привести целиком не только для того, чтобы сохранить стилистику «Рассказа», но и как документ, говорящий о выборе средств, к которым прибегали «красные» и «наикраснейший» с целью дискредитации Пушкина и его жены.

«...Нередко, возвращаясь из города к обеду, Пушкин заставал у себя на даче Дантеса. Дантес засиделся у Наташи, приезжает Пушкин, входит в гостиную, видит Дантеса рядом с женой и, не говоря ни слова, даже обычного «bonjour», выходит из комнаты. Через минуту он является вновь, целует жену, говоря ей, что пора обедать, что он проголодался, здоровается с Дантесом и выходит из комнаты.

«Ну, пора, Дантес, уходите. Мне надо идти в столовую», — сказала Наташа. Они поцеловались, и Дантес вышел.

В передней он столкнулся с Пушкиным, который пристально посмотрел на него, язвительно улыбнулся, и, не сказав ни слова, кивнул головой и вошел в ту же дверь, из которой только что вышел Дантес...

На другой день все разъяснилось. Накануне, возвращаясь из города и увидев жену с Дантесом, Пушкин не поздоровался с ним и пошел прямо в кабинет, там он намазал сажей свои толстые губы и, войдя вторично в гостиную, поцеловал жену, поздоровался с Дантесом и ушел, говоря, что пора обедать.

Вслед за тем Дантес простился с Натали, причем они поцеловались, и, конечно, сажа с губ Натали перешла на губы Дантеса.

Когда Дантес столкнулся в передней с Пушкиным, который, очевидно, поджидал его у входа, он заметил пристальный взгляд и язвительную улыбку, — это Пушкин высмотрел следы сажи на губах Дантеса.

Взбешенный Пушкин бросился к жене и сделал ей сцену, приведя сажу в доказательство. Натали не знала, что ответить, и, застигнутая врасплох, солгала: она сказала мужу, что Дантес просил руки у ее сестры Кати, что она дала свое согласие, в знак чего и поцеловала Дантеса, но что поставила свое согласие в зависимость от решения Пушкина.

⟨...⟩ Вскоре состоялся брак Дантеса с Екатериной Николаевной Гончаровой⟨...⟩. Теперь Дантес являлся к Пушкину как родной, он стал своим человеком в их доме, и Пушкины уже не выражались о нем иначе как в самых дружественных терминах...

Думаю, всем известно, каким «родным» стал Дантес для Пушкина после женитьбы на Екатерине и в каких «терминах» говорил о нем Пушкин.

Впрочем, глупая выдумка Трубецкого была прокомментирована еще А. И. Кирпичниковым в «Русской старине» за 1901 год.

«История с обличительным поцелуем есть «бродячая повесть», очень почтенная по своей древности, встречающаяся в огромном количестве приурочений у разных народов, а сюда попавшая из какого-нибудь французского сборника...».

Э. Герштейн, комментируя книгу А. Ахматовой «О Пушкине», уточняет источник истории с сажей, рассказанной Трубецким. «Подобный эпизод, — пишет она, — встречается в «Декамероне» Боккаччо».

Вот, оказывается, и вся «новость», перенесенная

Трубецким из бытовавших в его среде литературных пересказов.

Еще удивительнее комментарий Трубецкого о причинах дуэли. Теперь он и сам обращается к «авторитетному источнику новостей, своей приятельнице, пресловутой Идалии Полетике, другу Дантеса и пожизненному врагу Пушкина. У Полетики своя, выгодная ей, версия: Пушкин ревновал не Натали, а Александрину, в которую был влюблен. «Подумайте же,— восклицает «наикраснейший» князь,— мог ли Пушкин при этих условиях ревновать свою жену к Дантесу? Если Пушкину не нравились частые посещения Дантеса, то вовсе не потому, что Дантес балагурил с его женой, а потому, что, посещая дом Пушкиных, Дантес встречался с Александриней. Влюбленный в Александрину, Пушкин опасался, чтобы блестящий кавалергард не увлек ее».

Теперь, уже не заботясь не только о правде, но и каком-либо минимальном правдоподобии, Трубецкой предлагает новую умопомрачительную историю.

«...Вскоре после брака, в октябре или ноябре, Дантес с молодой женой задумали отправиться за границу, к родным мужа. (Трубецкой даже не заботится о точности дат.— *С. Л.*). В то время сборы за границу были несколько продолжительнее нынешних, и во время этих сборов, в ноябре или декабре, оказалось, что с ними собирается ехать и Александрина. Вот что окончательно взорвало Пушкина, и он решил во что бы то ни стало воспрепятствовать их отъезду. Он опять стал придираться к Дантесу...»

Завершая фантаσμαгорию, Трубецкой, наконец, будто бы обращается и к собственному воспоминанию:

«Как теперь помню, на святках был бал у португальского, если память не изменяет, посланника, большого охотника... Во время танцев я зашел в кабинет, все стены которого были увешаны рогами различных животных, убитых ярым охотником, и, желая отдохнуть, стал перелистывать какой-то кипсэк. Вошел Пушкин. «Вы зачем здесь? Кавалергарду, да еще не женатому, здесь не место. Вы видите.— Он указал на рога.— Эта комната для женатых, для мужей, для нашего брата». — «Полноте, Пушкин, вы и на бал притащили свою желчь; вот уж ей здесь не место». Вслед за этим он начал бранить всех и вся, между прочим Дантеса, и так как Дантес был кавалергардом, то и кавалергардов. Не желая ввязываться в историю, я вышел из кабинета...»

И, наконец, еще одно подобное «сообщение» Трубецкого:

«Пушкин все настойчивее искал случая посориться с Дантесом, чтобы помешать отъезду Александрины. Случай скоро представился. В то время несколько шалунов из молодежи,— между прочим, Урусов, Опочинин, Строганов, мой кузен,— стали рассылать анонимные письма мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин. В другое время он не обратил бы внимания на подобную шутку и, во всяком случае, отнесся бы к ней, как к шутке, быть может, заклеил бы ее эпиграммой. Но теперь он увидел в этом хороший предлог и воспользовался им по-своему».

Примитивные рассуждения, отсутствие каких-либо фактов мало тревожат Трубецкого. Для пушек «выразительности» он заключает свои «воспоминания» патристической фразой: «Обстоятельства <...> набрасывают тень на человека, имя которого так дорого каждому из нас, русских...»

Впрочем, дальше мы встретимся еще с одним чрезвычайно любопытным документом, в котором разоблаченный, прижатый к стене Трубецкой в целях спасения возопит о его собственном, Трубецкого, «русском патристизме».

Хочу подтвердить подлинность опубликованного П. Е. Щеголевым «Рассказа» Трубецкого другим дневниковым материалом, обнаруженным Натаном Яковлевичем Эйдельманом и любезно присланным мне. Это запись писателя, журналиста и одного из первых пушкинистов — В. П. Гаевского, сделанная в те же, что и запись Бильбасова, дни, то есть 5 и 8 июля 1887 года. Правда, на конверте, в котором был запечатан дневник Гаевского, помечен год 1884-й, но эту дату следует считать ошибочной. Она противоречит и возрасту Трубецкого, указанному Гаевским, и пометке «вскрыть не раньше 1926 года», то есть через 50 лет после записи, и году отставки Трубецкого, и «прикомандированию к артиллерийскому складу» — последнему месту его приписки.

Любопытно, что Трубецкого к 1887 году уже фактически забыли. Его «геростратова слава» начала постепенно нарастать после публикации Бильбасова.

«5 июля. Вчера был у Краевского. <...> У Краевского был на днях приехавший из Одессы генерал-майор князь Трубецкой, рассказавший много о Пушкине. Этот Трубецкой был в 30-х годах кавалергардом вместе с Дантесом, жил с ним на одной квартире, был женат на дочери Тальони и теперь служит в Одессе под начальством фон дер Роона, заведую каким-то складом.

Он рассказывает, что дуэль Пушкина была вызвана совсем иными причинами, а не ревностью к Дантесу и его ухаживанием. Дантес сделал предложение Екатерине Гончаровой, скоро на ней женился, и Пушкин совсем успокоился. Но в это же время он влюбился в младшую сестру жены — Александрину...

Между тем молодые Дантесы, собираясь за границу, чтобы повидаться с родственниками, хотели взять с собой Александрину. Это взбесило Пушкина. Он написал Геккерну ругательное письмо, в котором выставлял его сводником своего вы...дка. По словам Трубецкого, это было сделано, чтобы расстроить заграничную поездку, хотя между письмом к Геккерну и романом с Александриной я не вижу ни малейшей связи. О своем романе Александрина, оставшаяся в девицах, говорила будто бы своей тетке Полетике, недавно умершей в Одессе.

<...> В. А. Бильбасов записал все слышанное от князя Трубецкого, Краевский должен прочесть и поправить записанное, о сомнительном переспросить же у Трубецкого, который должен быть у них завтра, в последний раз перед отъездом в Одессу.

<...> 8 июля.

В городе я нашел у себя записанный Бильбасовым рассказ кн. Трубецкого о Дантесе и причинах его дуэли с Пушкиным. Он совершенно согласен с тем, что записано мною 5 июля.

Нового в нем только весьма неправдоподобный рассказ о причинах сватовства Дантеса у себя на даче на Черной речке, куда ежедневно возвращался к обеду [Пушкин]. Не поздоровавшись с Дантесом, он прошел к себе, вымазав сажею губы, поцеловал жену и сказал, что пора обедать. Жена проводила уехавшего Дантеса, на лице которого отпечаталась сажа. Пушкин видел в этом измену, но жена объяснила, что она действительно поцеловала Дантеса, потому что он только что сделал предложение ее сестре. Вслед за тем прислана была ею Дантесу с горничной Лизой в Новую Деревню, где стояли кавалергарды, записка, разрешающая сделать

официальное предложение, на которое, со своей стороны, Пушкин согласен. Записка уже не застала Дантеса, уехавшего куда-то обедать, но по возвращении он говорил Трубецкому, что и не думал делать предложение, но теперь должен его сделать, чтобы спасти Пушкину, притом Катерина ему нравится, и он не прочь жениться на ней.

Письмо было на Вы и, по мнению Дантеса, писано под диктовку Пушкина».

Итак, записи обоих журналистов содержат одинаковую информацию, разночтений почти нет.

Читая запись Бильбасова, Щеголев воскликнул: «Каждое слово ошибка!»

Нет! Каждое слово Трубецкого — это ложь, ложь, ложь! Все тринадцать страничек текста Бильбасова, как и запись Гаевского, с первой до последней строчки злонамеренный, вопиющий вымысел грязного человека.

Однако, если попытаться поглядеть на «Рассказ» Трубецкого глазами людей его круга, всех этих «ультрафешенеблей», то «Рассказ» — это *их точка зрения, их взгляд на Пушкина, уровень их мышления.*

Фактически этот «Рассказ» и есть то *оружие*, та клевета, те «адские сети и адские козни», при помощи которых «ультрафешенебли» травили величайшего поэта России еще при его жизни, приближая трагический конец. И чем ничтожнее был вымысел, чем бездоказательнее он был, тем в него легче и охотнее верили, тем шире он распространялся, набирая новые комментарии, тем *беспомощнее и незащищеннее* чувствовал себя Пушкин.

Впрочем, нельзя забывать, что Пушкин оказался не единственным предметом злобной клеветы Трубецкого, Идалии Полетики и их друзей. «Красные», все их «Красное море», чернили и его жену, подменяя правду правдоподобием.

На потеху «ультрафешенеблям», «влюбленный» Дантес явно специально выказывал эту свою «влюбленность». Он закатывает глаза, повсеместно подчеркивает свою страсть, а сам одновременно, как записывает Софья Николаевна Карамзина в июне 1836 года, «развлекал своими дурачествами».

«Балаганил», — скажет после гибели Пушкина о Дантесе П. П. Вяземский.

Не устаешь дивиться, как прочно укореняются «в

светском уложении» клевета и грязь, делаются несмываемыми.

«Люди съедят ее», — говорил о жене своей умирающий Пушкин.

Стоит подчеркнуть, что ни у Трубецкого, ни у его друзей не было личных причин травить Пушкина и его жену. Однако после «Моей родословной» у Пушкина нарастал конфликт с высшим слоем русской аристократии. Трубецкой и его закадычные друзья, издеваясь над Пушкиным, чувствовали молчаливое одобрение людей своей касты.

«Все, что диктует Трубецкой в Павловске на даче, — решительнее и определеннее всех высказалась А. Ахматова, — голос Дантеса, подкрепленный одесскими воспоминаниями Полетики. Трубецкой ни Пушкина, ни его писем, ни сочинений о нем не читал».

Это же самое можно сказать обо всех «ультра», «презрительных невеждах», как в одном из черновиков «Смерти поэта» назвал их Лермонтов.

Да, «презрительный кружок» был не только вне Пушкина, но и вне всей русской культуры. Пушкин никогда не общался с большинством из этих людей. Диалог Трубецкого и Пушкина — такая же выдумка, как и все остальное.

Они действительно были «сливками общества», «блестящими людьми», но блеск этот шел от блеска денег и мундиров. Выше «ультрафешенеблей» были только император и императрица, иначе — трон, под сенью которого, как под «сенью закона», они безнаказанно «развлекались».

5. ПРИКЛЮЧЕНИЕ С «КОНСТАНТИНОВСКИМ» РУБЛЕМ

Интерес к А. В. Трубецкому, казалось бы, можно считать исчерпанным, если бы не одна чрезвычайная история, сделавшая «наикраснейшего» фигурой одиозной, заставившая заговорить о Трубецком как о преступнике века. Для нас она особенно любопытна, так как *типология* преступления, характер действий преступника становятся еще одной значительной уликой, подтверждающей участие Трубецкого в истории с пасквилом.

Впрочем, вначале придется напомнить кое-какие давние события и обстоятельства...



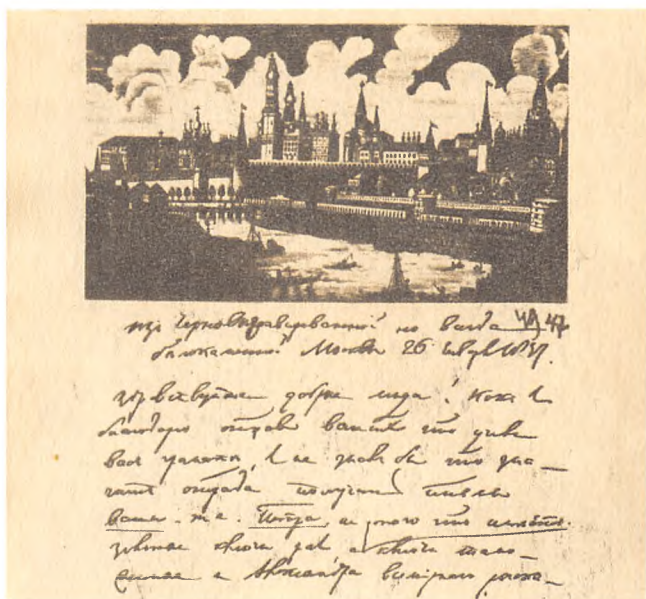
Петр Андреевич Вяземский.



К. П. Брюллов.
Василий Андреевич Жуковский.



Александр Иванович Тургенев.



Первая страница письма
 А. Я. Булгакова П. А. Вяземскому «из черновыгравированной,
 но всегда белокаменной Москвы.
 26 января 1837 г.»



Т. Райт. А. Я. Булгаков. 1843.



Н. де Куртейль.
Пушкин и Вяземский в Архангельском.
Фрагмент.



Г. Г. Гагарин. Бал у кн. М. Ф. Барятинской.
1830-е гг. Акварель.



Великосветский салон.
Акварель неизвестного художника. 1830—1832.



Князь
Александр Васильевич
Трубецкой
(«наикраснейший»)
1870-е гг.



«Рубль Трубецкого»—
поддельный рубль
Константина.



«Рубль Трубецкого»—
поддельный рубль
Константина.



П. Ф. Соколов.
Графиня С. А. Бобринская.
1827.



Графиня
Э. К. Мусина-Пушкина.



Софья Карамзина.
Копия с оригинала П. Орлова. Масло.



Неизвестный художник.
Д. Н. Гончаров.
1835.

Андрей Карамзин.
Литография Л. Вагнера.





А. П. Брюллов. Н. Н. Пушкина.
1831—1832.

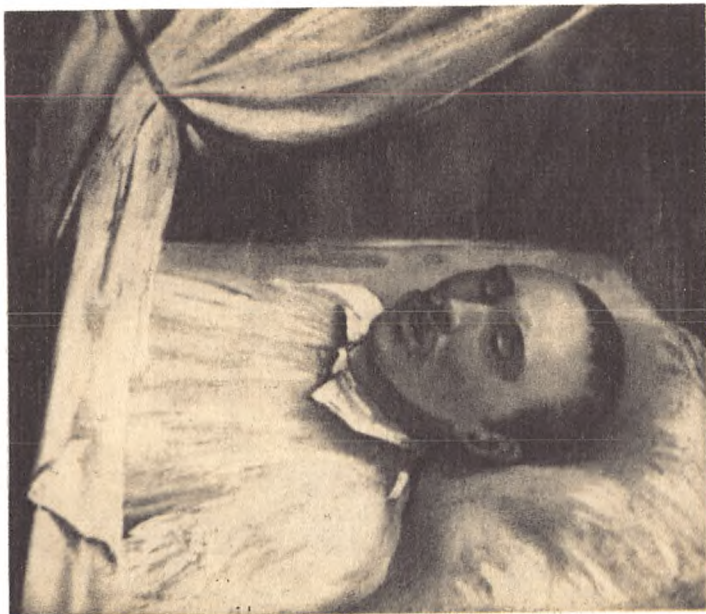


Ф. А. Бруни. Пушкин в гробу.
30 января 1837 г.





Князь А. И. Барятинский.
1830-е гг.



Р. К. Шведе. Лермонтов на смертном одре.
Масло. 1841.

...27 ноября 1825 года гонец из Таганрога привез в Петербург весть о неожиданной смерти императора Александра I. На престол должен был взойти, как известно, Константин, брат Александра. Константину, через час после известия о смерти старшего брата, присягнул Николай. А еще через час в Государственном совете был вскрыт секретный пакет с отречением Константина, написанным еще в 1819 году и известным только Александру и вдовствующей императрице.

В эти дни из Петербурга в Варшаву и из Варшавы в Петербург мчались с тайными сообщениями гонцы.

Междуцарствие длилось с 27 ноября по 14 декабря 1825 года.

В дни, когда будущие декабристы мечтали о свободе своей родины, русские чиновники вынашивали маленький угоднический план.

По приказу графа Канкрин на Монетном дворе тайно изготавливали серебряные рубли с ликом Константина, как предполагалось, будущего императора.

Монету чеканил известный гравер и коллекционер Рейхель.

12 декабря пять серебряных монет рублевого достоинства с ликом несуществующего императора были изготовлены, но... декабрьское восстание и восшествие на престол Николая I сделали замысел льстецов чуть ли не государственным преступлением. Рубли с ликом Константина были «арестованы».

И все же разговоры о рублях велись в свете постоянно, это были «разговоры вполголоса», тайные мечты «ультрафешенебельных» нумизматов.

В 1857 году, через год после смерти Николая I, известный коллекционер монет Шуберт опубликовал каталог своей коллекции и в нем не только описал, но и воспроизвел русский уникум, имеющуюся у него редчайшую монету — «константиновский» рубль. Шуберт не объяснял, как этот рубль попал к нему, но, по всей вероятности, это был экземпляр Рейхеля, который мог сделать для себя шестой рубль, но уже без гуртовой (боковой) надписи.

С шубертовского рубля были сняты гальванопластические копии, которые приобрели несколько коллекционеров. Теперь рубль стал известен в мире, цена на него постоянно росла.

Николай I умер, на престоле новый монарх, бывший товарищ по шалостям, Александр II. Трубецкой получа-

ет не бог весть какую должность, становится консулом в Марселе.

В 1860—1870-е годы Трубецкой увлекается нумизматикой.

В 1867 году Трубецкой сообщает в Петербург, что он получил в Марселе письмо от таинственного незнакомца, не пожелавшего быть названным.

«Князь,— обращается к Трубецкому аноним,— зная Вашу безупречную честность и щедрость Вашего характера, я предлагаю Вам дело, в котором сам я принимаю участие из чистой любезности и сострадания, а посему Вы поймете, что мне не хотелось бы привлекать внимание к себе. Вопрос идет о продаже редких предметов другим лицом, тоже не желающим быть названным.

Если Вы поклянетесь честью хранить мое имя в тайне и не разглашать моего содействия, которое я оказываю из чистой дружбы, то я сообщу Вам, что желает продать неназванное лицо и каким образом Вы сможете вступить с этим лицом в переговоры. Если Вы хотите встретиться, то мой адрес... улица... дом...»

Заинтригованный предложением, Трубецкой тут же дает честное слово хранить тайну:

«Мсье, даю Вам все гарантии... и обещаю, показывая Ваше письмо, опускать имя владельца и адрес».

Редким предметом оказались пять «константиновских» рублей. Тайный владелец хотел расстаться с ними «блоком», то есть продать сразу все.

Откуда, как оказались за границей «константиновские» рубли? Трубецкой пересказывает версию «анонима».

Владелица этих монет — вдова недавно скончавшегося польского повстанца, участвовавшего в 1831 году в нападении на Бельведерский дворец, резиденцию великого князя Константина Павловича в Варшаве. Монеты взяты со стола, стоявшего в кабинете великого князя. Теперь вдова бедствует, и аноним, ее земляк и друг мужа, хотел бы ей помочь.

«Я должен был оценить их подлинность, так как монеты были для меня новыми,— сообщал Трубецкой,— и я вынужден был положиться на свой нумизматический инстинкт».

Трубецкой делает решительный и однозначный вывод: монеты подлинные. Он сам обращается к соотечественникам, предлагает им купить «константиновские» рубли. Как и в «Рассказе об отношении Пушкина к Дан-

тесу», Трубецкой пользуется патриотической фразеологией, он взывает к чести русского человека, советует вернуть России потерянные ею ценности.

В качестве посредника Трубецкой пишет в три адреса: барону Кене, руководящему милицейским кабинетом Эрмитажа; своему кузену, известному нумизмату графу Сергею Строганову; принцу Александру Гессенскому, товарищу по кавалергардскому полку, родному брату императрицы. Трубецкой объясняет каждому из них, что, будь у него соответствующая сумма, он приобрел бы рубли сам.

Кене ответил Трубецкому резко, почти оскорбительно. Он дал понять, что считает монеты поддельными, так как корнет гусарского полка Сабуров говорил ему, Кене, что лично доставил великому князю пресловутые рубли: их было только три, а не пять.

Примерно так же написал Трубецкому и «старинный друг» Александр Гессенский: «Возвращаю корреспонденцию с таинственным поляком, но факты противоречат тому, что когда-то рассказывал мне Рейхель. В Варшаву было послано три монеты, а не пять».

Заподозрил обман и Сергей Строганов:

«Я и мой сын получили отпечатки монет Константина с таинственным предложением. Не представляю, как эти монеты не оказались разрозненными за столько лет и сохранились в одном месте? И как же монета Шуберта, если она имела тоже польское происхождение, не уменьшила их числа до четырех? Я слышал от самого графа Канкрин (умер в 1845 г. — С. Л.), что после отправки монет в Варшаву штампы были разбиты».

Обиженный Трубецкой, желая спасти свою репутацию, издает в 1873 году отдельной книгой тиражом в 40 экземпляров всю переписку с Кене, Строгановым и принцем Гессенским.

Комментируя создавшуюся ситуацию, Трубецкой подчеркивает чистоту своих побуждений и безукоризненность действий. Книгу он пересылает в Петербург, первый экземпляр получает Сергей Строганов.

Впрочем, и печатное слово никак не убеждает осторожного графа, неоднократно уже попадавшего на удочку к разным фальсификаторам и шарлатанам.

На полях своей брошюры Строганов оставляет довольно выразительный комментарий: «Какая чушь!», «Ничего не доказано!», «Басня фальсификатора!»

Действия и предложения Трубецкого оказались на-

столько подозрительными, что в 1878 году барон Кене открыто обвинил Трубецкого в подделке. Он писал:

«К сожалению, появились во множестве фальшивые константиновские рубли... Они сработаны одним весьма искусным парижским резчиком, который, как уверяют, предпринял эту работу не по собственному убеждению, а по заказу. Один из поддельных рублей был приобретен как образец искусной подделки для императорского Эрмитажа».

Трубецкой меняет версию. В 1879 году он выпускает еще одну брошюру, цель которой — дополнить и уточнить первую. Оказывается, за это время монеты были куплены неким американским дельцом Жиро, прибывшим во Францию из Кентукки. Жиро отправил три монеты на корабле «Город Бостон» в Америку, но корабль потонул. Два рубля Трубецкой выменял у него на всю свою античную коллекцию. Один из них — послал в Эрмитаж.

Но он просчитался. Он не знал, что в декабре 1878 года было разрешено открыть секретный архив министерства финансов. *Все пять «константиновских» рублей и девятнадцать нетронутых штемпелей лежали в сейфе.*

На следующий год в «Русской старине» был опубликован рапорт чиновника Монетного двора от 20 декабря 1825 года: «...представляю все штемпели и прочие приготовления, сделанные насчет известного рубля, закупоренные в ящики. На Монетном дворе ничего не осталось».

Подлинные монеты, по решению Александра II, еще в 1879 году (одновременно с выходом второй брошюры Трубецкого) были переданы: одна — в Эрмитаж, одна — великому князю Георгию Михайловичу, одну взял Александр II, одна — великому князю Сергею Александровичу и одна — Александру Гессенскому.

Великий князь Георгий Михайлович, занимаясь русской нумизматикой, издал многотомный каталог монет XVIII—XIX веков. Это богатейший свод по истории монетного дела в России.

«Существует брошюра о константиновских рублях, написанная Трубецким в Марселе в 1873 году и приращение к ней <...>, но они серьезного внимания не заслуживают,— писал Георгий Михайлович.— Один из рублей <...> находится ныне в Эрмитаже, у него обе стороны совсем другие, чем у настоящих, и можно с уве-

ренностью предположить, что штемпеля для этих поддельных рублей были кем-то скопированы за границей, вероятно, по гальваническому снимку с рубля из собрания Шуберта... Таким образом, можно удостоверить тот факт, что константиновских рублей было чеканено всего шесть, из коих пять хранились в Министерстве финансов, а шестой находился в собрании Шуберта... Таким образом, засвидетельствованное несколькими лицами, что чеканено всего было шесть экземпляров, вполне подтвердилось, и все экземпляры, кроме поименованных... которые когда-либо появятся, должны считаться поддельными!!!»

В 1890 году в очередном томе каталога сказано о монетах Трубецкого: «Чеканили в Париже по заказу А. В. Трубецкого».

...Итак, шулер на старости лет попробовал вновь разыграть свою старинную, легко удавшуюся ему партию. Но то, что сошло с рук в январе 1837 года, не сошло теперь. Бывшие друзья стали «презрительными» врагами.

И все же удивительна привязанность Трубецкого к одним методам, к одной технологии: анонимные письма, подделанный почерк никогда не существовавшей «бедной вдовы повстанца», подделанный почерк ее друга-«земляка», печатные оправдания задним числом, благородная поза, патриотические восклицания...

Впрочем, привязанность Трубецкого к испытанным методам понять можно. «Опыт» с первым анонимным письмом удался. Удался и рассказ Бильбасову. И теперь, спустя сто лет, многое из рассказанного этим грязным аферистом остается в сознании некоторых людей, к сожалению, как возможная правда...

6. «ПРЕЗРИТЕЛЬНЫЙ КРУЖОК», ИЛИ «КЛИКА ЗЛОСЛОВИЯ»

Э. Герштейн в работе «Вокруг гибели Пушкина» называет кавалергардов из свиты императрицы, «красных», как их именует Вяземский. Это Трубецкой и его друзья — Г. Скарятин, А. Куракин, П. Урусов, А. Бетанкур.

Все варианты прозвища «красный», как я уже показывал, — и «красный человек», и «очень красный», и «красный в высшей степени» — относились в письмах Вяземского *только* к Александру Трубецкому.

Но 16 февраля 1837 года Вяземский действительно говорил не об одном человеке, а о группе лиц: «Мои насмешки над красными принесли несчастье».

Кто же эти «красные», окружавшие Трубецкого и императрицу, равно с ними виновные в гибели Пушкина?

Об отношении Г. Я. Скарятин и А. О. Бетанкура к Пушкину мы серьезными сведениями не располагаем.

Штаб-ротмистр Г. Я. Скарятин, сын крупного вельможи, одного из убийц Павла I, — тот, кого Александра Федоровна в своих записках к Бобринской называет «Маской».

Известна дневниковая запись А. И. Тургенева от 27 января: «Скарятин сказал мне о дуэли Пушкина и Геккерна».

Штаб-ротмистр А. Бетанкур также всюду сопровождает императрицу. В Калише, где происходила торжественная встреча прусских и русских войск, Бетанкур командовал сводным гвардейским эскадроном.

Многочратно упоминает Бетанкура как своего ближайшего друга и друга Дантеса небезызвестная Идалия Полетика.

«Мы часто говорим о Вас с Бетанкуром, — писала она Дантесу в Париж. — Это один из моих верных, я вижу его через день».

На свадьбе Дантеса и Екатерины Гончаровой Бетанкур — шафер со стороны жениха.

Бетанкур, бесспорно, один из тех «красных», о которых говорит Вяземский, доказательство тому — его связь с врагами Пушкина: Трубецким, Полетикой, самим Дантесом, а также его принадлежность к свите императрицы.

Наиболее выразительными сведениями мы располагаем о штаб-ротмистре кавалергардов князе А. Б. Куракине.

Куракин — сын министра двора, родственник Несельроде.

27 марта 1837 года Куракин отправляет Дантесу письмо, впервые опубликованное Щеголевым, в котором подчеркивает свою солидарность с убийцей Пушкина.

«Если, дорогой друг, Вам тяжело было покидать нас, то, поверьте, что и мы были глубоко удручены злосчастным исходом Вашего дела... Огорчение, которое мы

испытали, особенно я, оттого что не смогли проститься с Вами перед Вашим отъездом, было чрезвычайно велико. Я надеюсь, что Вы не сомневаетесь в моей дружбе, дорогой Жорж.

Бог знает, встретимся ли мы когда-либо, тогда, быть может, мы вспомним более счастливые времена.

Едва я узнал, что Вас высылают, я бросился первым делом в кордегардию Адмиралтейства, чтобы обнять Вас, но было уже поздно, Вы были уже далеко от нас, я этого не подозревал...

Я надеюсь, что Ваша супруга будет столь добра, что передаст Вам мое письмо, равно как и небольшой подарок, сопровождающий его, это безделица и весьма слабый залог моей дружбы, дорогой Жорж, но примите их, так как я посылаю это от души, уверяю Вас...

Целую Вас нежно, дорогой Геккерн, и прошу Вас вспомнить порою Вашего сослуживца и друга, будьте счастливы и верьте той искренней привязанности, которую я к Вам питаю.

Ваш искренний друг».

Немаловажна и женитьба А. Куракина на Е. Гурьевой, сестре М. Д. Нессельроде,— все это известные и последовательные враги А. С. Пушкина.

«О презрительном кружке» (coterie), о людях, «в которых нет ничего русского», «коноводах нашего общества», знал, конечно же, не только Вяземский. Чего-то явно не договаривает в своих дневниках и письмах А. И. Тургенев.

В главе о Строгановых я писал об интриге, которую, вероятно, всеми силами пытался закамouflировать старый граф, обеспокоенный престижем собственного семейства и своего имени. Но, конечно, события вокруг гибели Пушкина касались не только одного высокопоставленного клана. «Кто они, «надменные потомки»?» — я еще раз к этому вернусь в следующей, «лермонтовской» главе.

Любопытно более позднее свидетельство. Приятель Лермонтова Муравьев, брат Мордвинова, управляющего III Отделением, записал: «Ходила молва, что Пушкин был жертвою тайной интриги, по личной вражде возбуждавшей его ревность. Деятели же были люди высшего общества».

Но, пожалуй, наиболее интересными и особенно серъ-

езным свидетельством существования такой группы «ультрафешенеблей» являются письма великого князя Михаила Павловича к жене — великой княгине Елене Павловне.

3 февраля Николай I отправил записку своему брату Михаилу в Геную, в которой, не решаясь писать лишнего, так как «бумага не все терпит» — это слова уже самого императора! — просит положиться на верного человека, адъютанта великого князя А. И. Философова.

23 февраля, после приезда Философова в Геную, Михаил Павлович пишет своей жене об убийстве Пушкина:

«Не является ли это еще одним последствием происков этого любезного комитета общественного спасения, который хочет во все вмешиваться и все улаживать, а делает одни глупости».

27 февраля, отвечая Елене Павловне на письмо, великий князь Михаил Павлович пишет подробнее:

«Увы, мои предвиденья слишком осуществились, и работа клики злословия привела к смерти человека, имевшего, несомненно, наряду с недостатками, большие достоинства. Пусть после такого примера проклятие поразит этот подлый образ действия, пусть, наконец, разберутся в махинациях этой конгрегации, которую я называю комитетом общественного спасения и для которой злословить — значит дышать».

Д. Д. Благой утверждает, что под «кликлой злословия», как и под «комитетом общественного спасения» Михаил Павлович подразумевал Нессельроде. С этим трудно согласиться.

Слова Михаила Павловича о «любезном комитете», который «хочет все улаживать», а делает «одни глупости», предполагают скорее Александру Федоровну и ее услужливых помощниц вроде Бобринской, вечно вторгавшихся в чужую жизнь, но, по сути, делавших «одни глупости». Неоднократные истории — то с обручением Сергея Трубецкого и Екатерины Мусиной-Пушкиной, то свадьба Марии Трубецкой со Столыпиным, то другие «улаживания» конфликтов — как раз и подчеркивают подобные пристрастия этого «комитета».

Положение великого князя дает ему право на такого рода суждения, — правда, в личном письме.

Императору Михаил Павлович пишет сдержаннее:

уже не подчеркивая участия «комитета злословия», пишет о дуэли как о **громадной** катастрофе, вызванной «мерзкими и гнусными сплетнями».

7. УЧАСТИЕ III ОТДЕЛЕНИЯ

Знал ли граф Бенкендорф и подведомственное ему III Отделение об участии «клики злословия» в травле, а позднее и в убийстве Пушкина?

И если Бенкендорф знал, то какими путями действовал, скрывая следы кровавого преступления, столь опасного для исторического престижа государственной власти?

«Подлинное военно-судное дело» над Дантесом велось сугубо как дело дуэлянта-одиночки, конфликт которого с Пушкиным был конфликтом изолированным, личным.

Во время «процесса» не было задано ни одного вопроса о возможных авторах анонимных писем, хотя суду была известна роль этого момента в развитии конфликта:

Опрос секундантов касался только самой дуэли.

Военным судом не были опрошены друзья Дантеса, которые могли быть посвящены в конфликт.

Анонимный пасквиль в «военно-судной комиссии, проводившей дело о дуэли, не разбирался». Это отметил еще Щеголев.

III Отделением был сделан формальный запрос по поводу «руки» Дантеса. Надлежало получить почерк подследственного, однако Дантес на поставленные перед ним вопросы ответил по-французски. Образец почерка был приколот к делу, а подозрение с Дантеса снято. Впрочем, предположение, что Дантес сам написал анонимный пасквиль, было нелепым.

Таким образом, можно сказать, что расследование обстоятельств дуэли шло чисто формальным путем, приговор, как известно, был predetermined заранее, перед судьями стояла задача — «не расширять дела», не касаться иных лиц, кроме Дантеса, Пушкина и... Натальи Николаевны.

П. Е. Щеголев, первым прикоснувшийся к документам департамента полиции, был поражен тем, что

«дел III Отделения о Пушкине довольно много, а о смерти его в них почти ничего нет»;

Пасквиль на Пушкина был обнаружен после 1917 года в секретном досье.

Эту секретную папку, помеченную номером 739, отыскал А. Поляков и тоже отметил скудость содержащихся в ней материалов.

Помимо пасквиля, в «Деле № 739» оказалась только одна «записка для памяти», написанная самим Бенкендорфом:

«Некто по имени Тибо, друг Россети, служащий в Главном штабе, не он ли написал гадости о Пушкине?»

Запрос сработал.

Оказалось, в Главном штабе Тибо не служил, а служит... по почтовому ведомству.

Полозов, начальник первого округа жандармов, вскоре сообщил, что в Петербурге живут два брата Тибо, титулярные советники, один — помощник контролера, другой — помощник почтмейстера.

Почерк проверялся только у одного из братьев, у второго не проверялся.

Щеголев писал: «III Отделение в своих поисках шло по ложному следу и, производя розыски, точно отбывало какую-то тяжелую и неприятную повинность».

Примерно так же заключал свои розыски и Поляков:

«В деле Пушкина жандармская власть «безмолствовала», она держалась в стороне, не принимая никакого участия... в следствии об анониме».

Почему? Чем объяснить такое вопиющее безразличие властей?

Бенкендорф, столь пристально следивший за всем, что окружало Пушкина, так активно вторгавшийся в его личную жизнь, перлюстрировавший даже его письма к жене, не доверявший Жуковскому, даже предупреждавший его, что «ничто не может и не должно миновать государственного интереса», приставивший к Жуковскому Дубельта при разборе личных бумаг поэта, приславший жандармов в дом умирающего Пушкина, оцепивший не только дом, но и улицы вокруг дома Пушкина полицией, так безразлично отнесся к авторству *анонимного пасквиля*?

Ответить конкретно на этот вопрос, думаю, трудно. Наиболее вероятным мне кажется «невыгодность» до расследования. Можно допустить, что III Отделение

если и не знало авторов анонимного письма, то прекрасно осознавало их высокий уровень...

Николай тем временем с явной поспешностью благотворительствовал семье Пушкина, способствуя и поощряя всякое распространение вестей о монаршей милости и добrote.

«Во всем этом прекрасна роль одного государя,— писал Вяземскому Булгаков 10 февраля 1837 года.— <...> Кто не знал прегрешений Пушкина против его верховной власти».

А 6 февраля, несколькими днями раньше, Булгаков заключил:

«...Пушкин, проживши еще пятьдесят лет, не принес бы семейству своему той пользы, которой доставила оной смерть его. А жаль! жаль!...»

Другими словами, «милости императора», широко рекламируемые «благodeяния» семье Пушкина были не чем иным, как фактом еще одной столь необходимой властям общественной дезинформации. Эту же функцию, нужно сказать, выполняли и верноподданнические, несущие всего лишь часть правды, а следовательно — неправду, письма Вяземского.

Но в эти же самые февральские дни тысячи людей с воодушевлением переписывали, учили наизусть, зачитывали беспримерный по смелости документ, буквально набатом прозвучавший в России, расцененный властями как «воззвание к революции». Я говорю о шестнадцати строчках прибавления к стихотворению Лермонтова «Смерть поэта». Впрочем, это уже другая, самостоятельная история...

* * *

Как же сложилась жизнь А. В. Трубецкого, «наикраснейшего»?

Оставив двор (под давлением Бенкендорфа и самого Николая), Трубецкой оказался вне привычной для него среды. Двери особняков «ультрафешенеблей», тех «сливок общества», плоть от плоти которых он был, как и двери Аничковского дворца и Зимнего, для него закрылись навсегда.

Могу допустить, что какую-то роль в судьбе Трубецкого сыграла и напраслина «бунтаря» и вольно-

думца Александра Жеребцова, который явно преувеличил роль князя в высшем обществе. Однако Жеребцов невольно подключил к наблюдению за Трубецким III Отделение, что само по себе должно было лишить Александра Васильевича прежнего высочайшего благорасположения.

Осенью 1837 года в Петербург приезжает знаменитая танцовщица Мария Тальони.

«В балете царит мадемуазель Тальони,— писала Дантесу в Париж друг Дантеса и Трубецкого Идалия Полетика,— я езжу ее смотреть всякий раз, и хотя прежде не восхищалась никакой танцовщицей, ее я не устаю смотреть, она очаровательна».

Трубецкой ведет себя скандально: начинает открыто ухаживать за «Любашей-цыганкой», как однажды назовет знаменитую танцовщицу Александра Федоровна.

25 января 1838 года Вяземский сообщает Мусиной-Пушкиной:

«Наикраснейший мало появляется в свете. Говорят, будто он поменял балы на балет и пребывает у ножек Тальони».

Императрица с обидой следит из дворцового заточения за развитием этого романа. Она пишет Бобринской: «Саша Трубецкой как безумный».

Карьера Трубецкого рушится. 18 января 1842 года Александра Трубецкого «из ротмистров Кавалергардского Ея Императорского Величества полка» увольняют «по обстоятельствам полковником и с мундиром».

Князь начинает добиваться разрешения уехать за границу.

Но разрешение приходит только через десять лет.

«Отставной гвардии полковник князь Александр Трубецкой с Высочайшего соизволения в конце сентября 1852 года отправился за границу для окончательного устройства дел своих на три месяца и отнюдь не более, на честном слове».

В Ливорно Трубецкой женится, но не на Тальони, которая старше его на десять лет, а на... ее воспитаннице девице Эде, записанной под именем графини Жильбер де Вуазен.

По истечении отпуска Трубецкой обращается к генерал-адъютанту графу Орлову «об исходатайствовании высочайшего соизволения на бессрочное пребывание за границею».

Николай категорически отказывает в этом Трубецкому¹.

«На основании существующих узаконений,— повелевает император,— сделать ему формальный вызов о немедленном возвращении в Россию, назначив ему для сего двухмесячный срок, если же он не исполнит сего, то подвергнуть его действию законов».

В январе 1853 года «высочайшее повеление» объявляется Трубецкому русским генеральным консулством в Венеции с подпискою.

Трубецкой «в отечество не возвратился».

«Дело» вновь затягивается.

В феврале 1854 года Николай сам запрашивает Государственный совет, оставив на «обертке Мемории», касаемой других лиц, несколько строк:

«Узнать у М. В. Дел, когда представлено будет в Совет дело об отставном полковнике князе Трубецком за невозвращение по данному указанию».

С.-Петербургский уголовный суд теперь спешно выносит решение:

«Князя Трубецкого, лишив всех прав состояния, считать вечным изгнанником из общества».

29 марта 1854 года Правительствующий сенат это решение утверждает:

«Согласно решения судебных мест отставного полковника князя Александра Трубецкого, сорока лет, за неявку в отечество из-за границы, по сделанному от правительства вызову, лишить всех прав состояния и имеемых им ордена св. Анны 3 степени с бантом, серебряной медали «За взятие Варшавы» 25—26 августа 1831 года и польского знака отличия за военные достоинства 4 степени и подвергнуть вечному изгнанию из пределов государства. Каковое определение Правительствующего Сената повергнуть на Высочайшее благоусмотрение Его Императорского Величества установленным порядком».

¹ В это же время император с поразительной заинтересованностью и жесткостью «выслеживает младшего брата Трубецкого — Сергея Трубецкого, похитившего жену Почетного гражданина Жадимировского,— писал П. Щеголев.— Пойманный полицией в Тифлисе, Сергей Трубецкой был посажен в Алексеевский рavelин, судим, а затем лишен чинов, ордена Анны 4 степени с надписью «За храбрость», дворянского и княжеского достоинства, отправлен рядовым в Петро-заводский гарнизонный батальон под строжайший надзор, на ответственность батальонного командира».

Испуганный жестким решением, Трубецкой обращается с верноподданническим письмом к наследнику — великому князю Александру Николаевичу, с которым в свое время дружил.

Александр Николаевич ходатайствует за Трубецкого перед отцом.

Николай делает новую собственноручную надпись:

«Князь А. Трубецкой обратился к Наследнику с прошением дозволить ныне же вступить в службу рядовым, я на это согласен и потому приговор, хотя и утверждаю вполне, дозволяю отложить в исполнение, если он явится на службу не позднее 15 июня [1854 года], но если сего не исполнит, то приговор над ним привести в действие».

15 июня военный министр князь Долгоруков уведомляет государственного секретаря, что князь Александр Трубецкой не явился на службу.

«Дело» Трубецкого вновь начинает двигаться по инстанциям.

Военный министр Долгоруков снова пишет государственному секретарю 22 мая 1855 года:

«...Князь Трубецкой в назначенный срок 15 июня не явился и просьбы о продлении его на службу рядовым... не подавал.

Ныне же князь Александр Трубецкой подал просьбу в инспекторский департамент об определении его на службу с назначением в уланский принца Александра Гессенского полк».

Воцарение Александра II меняет настроение «сиятельного красного».

Трубецкой возвращается в Россию и определяется на службу в Борисоглебский уланский полк подполковником.

В июне 1855 года его переводят в Новомиргородский уланский полк, а в декабре — в штаб войск Евпаторийского отряда.

Судя по всему, Трубецкой все еще надеется на благоволение нового царя. Но продвинуться по службе ему не удастся.

В 1857 году он вновь увольняется «полковником и с мундиром».

Материальное положение «красного в высшей степени» предельно ухудшается, и он опять начинает искать выгодной службы.

«Долго думал я,— пишет он военному министру,—

после столь милостивого приема Вашего высокопревосходительства, каким образом воспользоваться милостивым благорасположением Его Императорского Величества в минуту столь важную для будущности детей моих... Если точно, как оказывается Государь Император желает *вспомнить* старые годы и хотя разновременно разбитую, но старательную двадцатилетнюю службу и всю мою жизнь... то милость его может дать мне в ожидании того места, зачислив меня в свиту свою *генералом* по указу 1772 года...»

Трубецкого снова зачисляют полковником «с содержанием и квартирными деньгами по чину», а 1 ноября 1874 года направляют в Оренбургский округ, затем переводят еще дальше — в Туркестанский военный округ.

По всей вероятности, здесь уже сказываются последствия истории с «константиновским» рублем.

В 1880 году шестидесятисемилетний князь самовольно возвращается в Петербург. Его обнаруживают и сразу докладывают об этом императору.

Александр II раздраженно повелевает:

«Приказать ему отправиться к своему месту, так как Я не допускаю, чтобы находящиеся на службе шатались здесь без дела».

На этот раз Трубецкого выручает смерть Александр II. На трон восходит Александр III, к нему и обращается Трубецкой с просьбой о переводе в Одессу, где живут его друзья по кровавым игрищам 1836—1837 годов — генерал-губернатор граф Александр Строганов и его сводная сестра Идалия Полетика.

Так он и остался армейским полковником, только при отставке получил генерал-майорский чин.

В 1887 году, незадолго до скоропостижной смерти, Трубецкой снова приезжает в желанный, когда-то хорошо его знавший С.-Петербург. Он ищет историка, которому жаждет поведать повесть, давно мучившую его, — рассказать об «отношениях Пушкина к Дантесу».

...А что же Вяземский, человек, который знал «кровавую» тайну?

Конечно, князь Петр Андреевич понимал, что нити интриги, потянувшиеся от «наикраснейшего» и его друзей, невольно бросали тень и на власть. Стоило Вяземскому заявить о своем опасном знании, как против него восстали бы представители обширного клана «стоящих у трона» Строгановых, Трубецких, Бобринских, Баря-

тинских, Нессельроде и других. Но самым опасным была бы царская немилость.

Как же менялся с годами князь Петр Андреевич? Он начинал как либерал. Поэзия Вяземского, как и он сам, была полна «вольнлюбивых мечтаний», среди его друзей были будущие декабристы, впрочем, к тайным обществам он никогда не принадлежал.

В 1819 году, служа у Н. Н. Новосильцова в Варшаве, Вяземский охотно трудится над проектом русской конституции и по поводу этого проекта представляется Александру I. Его письма друзьям дышат свободой, они полны ненависти к крепостному праву, ожидания перемен.

В 1821 году Вяземского увольняют со службы «без прошения» и за ним устанавливается длительный негласный надзор полиции, его переписку перлюстрируют: Вяземский — человек для государства опасный.

Впрочем, не одна тайная жизнь Вяземского вызывает недовольство власти, еще больше раздражают стихи. Он пишет «Петербург», откровенный призыв к свободе.

Пушай уставов дар и оных страж — свобода,
Обетованный брег великого народа,
Всех чистых доблестей распустит семена.
С благоговеньем ждет, о царь, твоя страна,
Чтоб счастье давший ей дал и права на счастье!

Вяземский томится русской действительностью, он сетует на «интеллектуальное заточение».

«Я очевидно здесь деревянею...— пишет он А. И. Тургеневу.— Неужели честному русскому можно быть русским в России?»

С тридцатых годов либерализм Вяземского словно бы гаснет. Начинается его светское и государственное возвышение. Да и талантливых строк в его поэзии становится меньше, он сам это начинает ощущать.

В декабре 1837 года Вяземский пишет очерк на французском языке о пожаре Зимнего дворца — это восторженный панегирик Николаю I по поводу его общения с народом на площади перед дворцом.

В августе 1839 года Вяземский становится членом Российской Академии и действительным статским советником.

«Уже лакеи теперь не говорят про меня: карета князя Вяземского,— с грустной иронией говорит он сам о себе,— а генерала Вяземского».

В это же время он восстанавливает отношения с бывшими своими врагами и врагами Пушкина. В письме к дочери в Баден он еще старается оправдаться хотя бы перед собой — истинная руководительница министерства иностранных дел «графиня Пупкова» сейчас так нужна ему для устройства дел:

«В последнее воскресенье у России и в полном смысле последнее (ибо она за множеством охотников и посетителей должна закрыть свой салон) вдруг через всю залу ломится ко мне графиня Нессельроде в виде какой-то командорской статуи и спрашивает меня об Вас. Разумеется, я отвечал ей очень учтиво и благодарно, и вот поневоле теперь должно будет мне кланяться с нею. Видишь ты, Надинька, чего ты мне стоишь? Ты расстраиваешь весь мой политический характер и сбиваешь меня с моей политической позиции в Петербурге. Не кланяться графине Пупковой и не вставать с места, когда она проходит, чего-нибудь да значило здесь. А теперь я втерт в толпу. Я превосходительный член русской академии и знаком с племянницею, чем же после этого я не такая же скотина, как и все православные».

Дружба с «графиней Пупковой» невольно повела и к восстановлению отношений с другими врагами Пушкина, в частности — с княгиней Белосельской, падчерицей Бенкендорфа.

«Прежде заезжал я на часок к княгине Зенаиде, которая принимает у младших Белосельских, к коим, между прочим, я езжу,— писал он жене в марте 1840 года.— Но с молодою княгинею с нынешней зимы начал опять кланяться».

Сегодняшний литературовед так написал о Вяземском: «В 1840-х годах Вяземский начал менять политическую ориентацию. Вместе с падением дворянской революционности закончился и самый плодотворный период в его творческой деятельности, хотя и в последующие годы он написал много прекрасных, отмеченных печатью большого таланта, произведений. И все-таки счастливые удачи выглядели случайностями на общем фоне словообильных и вялых стихотворений».

В двадцатых и в начале тридцатых годов Вяземский не раз выступает против Булгарина и Греча, сотрудничает в пушкинском «Современнике» и в «Литературной газете», его перо разительно и даже беспощадно.

«Я — термометр: каждая суровость воздуха дей-

ствуется на меня непосредственно и скоропостижно», — заявляет он о себе.

В 1822 году Вяземский советит молодого Пушкина за его восторг перед подвигами Ермолова и Котляревского.

«Гимны поэта, — писал он А. И. Тургеневу по поводу «Кавказского пленника», — не должны быть славословием резни».

В 1860 году Вяземский пишет оду фельдмаршалу А. И. Барятинскому, покорителю Кавказа, восторженный панегирик, полный имперского самодовольства:

«Вас избрал Царь — и глаз державный вождя по сердцу угадал. Ему в ответ, Ваш подвиг славный Его доверье оправдал. Ура Царю! Ура! три раза. Ура! младый фельдмаршал, Вам! Ура! Вам, ратникам Кавказа, Вам, древних дней богатырям».

С 1855 года Вяземский заведует делами печати, возглавляет цензуру. За несколько лет до этого он уже заявляет в печати, что в России «каждое слово есть обиняк» и «журналы наполнены этих обиняков и намеков».

Постепенно князь Петр Андреевич все выше и выше продвигается по государственной лестнице: он получает звание обер-шенка двора, посты товарища министра народного просвещения, сенатора, члена Государственного совета.

* * *

Пройдет восемьдесят четыре года, и Александр Блок с пророческим прозрением скажет:

«Пушкина убила не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха».

Глава пятая

«НАДМЕННЫЕ ПОТОМКИ». КТО ОНИ?

Итак, попытаемся прикоснуться еще к одной вроде бы неожиданной загадке. Отчего вот уже почти полтора века не затихают литературоведческие споры вокруг хрестоматийного стихотворения «Смерть поэта»? О каких «вопиющих несоответствиях» заявляет Ираклий Андроников, когда пишет о лермонтовском шедевре?

Почему продолжают смущать ученых несогласованность начала и конца, эпиграфа и шестнадцати знаменитых строк прибавления?

Впрочем, не достаточно ли вопросов? Обратимся к известным текстам.

Эпиграф:

Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

Последние шестнадцать строк, прибавление:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью —
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Итак, что при сравнении бросается в глаза?

Действительно, если в эпиграфе автор, обращаясь к монарху, требует от него проявить справедливость («Отмщенья, государь!.. Будь справедлив...»), то в прибавлении появляется совершенно неожиданное: правды и тем более справедливости ждать в этом мире неоткуда («Пред вами суд и правда — все молчи!..»).

Убийца-чужестранец, казнь которого могла бы послужить в назидание «злодеям», в заключительных строчках превращается в преступников совершенно иного толка, в палачей, исполнителей чьей-то злой воли. И «сень закона», «трон», государство служат этим людям надежным укрытием.

Иначе говоря, убийца становится палачом, точнее, палачами; возможная справедливость на земле оказы-

вается невозможной; наказуемость превращается в ненаказуемость; вместо француза, приехавшего в чужую страну «на ловлю счастья и чинов», в прибавлении появляются «надменные потомки» с сомнительной родословной, чьи отцы прославлены были какой-то «известной подлостью...».

Что это, метафора или неразгаданная конкретность? Убийца всем известен, у него есть имя, но кто же «потомки», если разговор, предположим, идет о разных людях? И о какой «известной подлости» говорит Лермонтов?

Ответы на вопросы так и не были найдены...

Беспомощность перед текстом, как ни странно, заставляла не раз принимать почти анекдотическое решение: убирали эпиграф. Зачем оставлять строки, которые запутывают смысл, заставляют людей недоумевать?

За сто пятьдесят лет жизни стихотворения и более ста двадцати пяти лет со времени первой его публикации примерно каждые тридцать лет эпиграф то ставился, то снимался.

Побеждала и, к сожалению, побеждает до настоящего времени то одна позиция, то другая. Так, с 1860 года (первая публикация) и по 1889 год эпиграф решают не печатать. Предполагается, что эпиграф дописан по соображениям цензурным, «чьей-то досужей рукой».

В 1889 году издатель собрания сочинений Лермонтова П. Висковатов восстанавливает эпиграф, затем стихотворение с эпиграфом перепечатывают все издания до 1917 года.

С 1924 года и по 1950-й и советские издания печатают «Смерть поэта» с эпиграфом, но с 1950 года по 1976-й снова торжествует мнение, «что эпиграф поставлен с целью уменьшения политической резкости заключительных строк», правда, самим Лермонтовым. И раз, как заключает И. Андроников, это «уловка» самого поэта, то эпиграф лучше перенести в примечания.

«Во многих полных копиях эпиграф отсутствует,— писал Ираклий Андроников в переиздающихся примечаниях к различным собраниям сочинений Лермонтова, в частности и к собранию сочинений 1983 г.— Из этого вытекает, что он предназначался отнюдь не для всех, а для определенного круга читателей, связанных с дво-

ром». В копии, снятой родственниками поэта для А. М. Верещагиной и, следовательно, достаточно авторитетной, эпиграфа нет. Но снабженная эпиграфом копия фигурирует в следственном деле. Есть основания думать, что довести до III Отделения полный текст с эпиграфом стремился сам Лермонтов. Упоминание о троне, окруженном жадной толпой палачей свободы, напоминание о грядущей расплате касались не только придворных сановников, но и самого императора. Эпиграф должен был *смягчать* смысл последней строфы: ведь если поэт обращается к императору с просьбой о наказании убийцы, следовательно, Николаю незачем воспринимать стихотворение по своему адресу. В то же время среди широкой публики стихотворение ходило без эпиграфа.

На основании изложенных соображений в настоящем издании Лермонтова эпиграф перед текстом стихотворения не воспроизводился.

Но *цели своей поэт не достиг*: эпиграф был понят как способ ввести правительство в заблуждение и это усугубило вину Лермонтова».

Справедливости ради следует сказать, что в некоторых последних изданиях снова появляется эпиграф в тексте стихотворения.

В примечаниях этих собраний сочинений введено объяснение: «По своему характеру эпиграф не противоречит шестнадцати заключительным строкам. Обращение к царю с требованием сурово покарать убийцу было неслыханной дерзостью... Нет оснований полагать поэтому, что эпиграф написан с целью смягчить остроту заключительной части стихотворения. В настоящем издании эпиграф вводится в текст».

Переменчивость мнений по отношению к эпиграфу говорит о том, что споры могут еще продолжаться, что истина так и не найдена, что объяснения в комментариях то снятия эпиграфа, то его восстановления происходят без достаточных доказательств, по внутреннему ощущению издателей. Стихотворение «Смерть поэта» занимает исключительное, можно сказать, переломное место не только в творческой биографии Лермонтова, но и в его судьбе.

Почему Лермонтову был необходим эпиграф? Может, и теперь наши знания недостаточно совершенны? Нам кажется, что мы знаем о классиках больше их современников, а иногда и больше их самих, но ведь

нельзя не понимать, что всегда нам будет не хватать того, что знали современники и что знали классики о самих себе. Значит, поиск истины будет бесконечным.

Ах, если бы побывать рядом с Лермонтовым, принять участие в его споре со Столыпиным, когда поэт, «кусая карандаш, ломая грифель», не дождавшись ухода противников, начнет писать гневные заключительные строки о «наперсниках разврата», виновных в гибели Пушкина. И Столыпин, стараясь свести к шутке гнев Мишеля, скажет: «La poésie enfante!» (Поэзия разрешается от бремени! — *фр.*) Если бы!..

Да, если бы заполнить пустоту нашего незнания новыми фактами, то, может, стихотворение «Смерть поэта» поразило бы нас не противоречиями своими, которые до сегодняшнего дня все же продолжают отмечать лермонтоведы, а цельностью.

А ведь именно дважды — и без эпиграфа и без прибавления, а затем и с эпиграфом и с прибавлением — читали стихотворение Бенкендорф и Николай I, в окончательном варианте оно было доставлено им агентами III Отделения, на *таком* списке и стоят их жесткие резолюции-приговоры.

Попробуем, собрав свидетельства очевидцев, представить ситуацию, в которой находился Лермонтов в те далекие дни...

История создания «Смерти поэта» известна. Пятьдесят шесть строк элегии написаны Лермонтовым 30—31 января 1837 года. Найденный список, датированный 28 января, вероятно, ошибочен: вряд ли стихи появились еще при жизни поэта. Впрочем, слухи о гибели Пушкина уже будоражили Петербург.

Дневниковые записи и упоминания в письмах о «Смерти поэта» начинаются со 2 февраля.

«Стихи Лермонтова прекрасные», — записал А. И. Тургенев в своем дневнике.

«Из появившихся стихов на его смерть замечательнее прочих Лермонтова», — писал 3 февраля Н. Любимов.

«Я сейчас получил стихотворение на См[ерть] Пуш[кина], написанное одним из наших однокашников, лейб-гусаром Лермонтовым. Оно написано на скорую руку, но с чувством. Знаю, что будешь рад, и посылаю его тебе...» — писал М. Харенко 5 февраля.

10 февраля Софья Николаевна Карамзина посылает стихи своему брату:

«...Вот стихи, которые сочинил на его смерть некий господин Лермантов, гусарский офицер. Я нахожу их такими прекрасными, в них так много правды и чувства, что тебе надо знать их <...> Мещерский принес эти стихи Александре Гончаровой, которая попросила их для сестры, жаждущей прочесть все, что касается ее мужа, жаждущей говорить о нем, обвинять себя, плакать».

Но не только свет принимает доброжелательно элгию Лермонтова, лояльно относятся к стихам и власти. Вот как записывает А. И. Муравьев разговор с Мордвиновым, своим братом, начальником канцелярии III Отделения:

«Поздно вечером приехал ко мне Лермонтов и с одушевлением прочел свои стихи, которые мне очень понравились. Я не нашел в них ничего особенно резкого потому, что не слыхал последнего четверостишия, которое возбудило бурю против поэта <...> Он просил меня поговорить в его пользу Мордвинову, и, на другой день, я поехал к моему родичу.

Мордвинов был очень занят и не в духе. «Ты всегда со старыми новостями,— сказал он.— Я давно читал эти стихи Бенкендорфу, и мы не нашли в них ничего предосудительного». Обрадованный такой вестью, я поспешил к Лермонтову, чтобы его успокоить, и, не застав дома, написал ему от слова до слова то, что сказал мне Мордвинов. Когда же возвратился домой, нашел у себя его записку, в которой он опять же просил моего заступления, потому что ему грозит опасность».

Итак, отношение властей к «Смерти поэта» мгновенно меняется с появлением прибавленных строк. Резко вырастает и резонанс у читающей публики.

Первое упоминание о новых строках в стихотворении «Смерть поэта» мы встречаем в письме А. И. Тургенева псковскому губернатору А. Н. Пешурову.

«Посылаю стихи, которые достойны своего предмета. Ходят по рукам и другие строфы, но они не этого автора и уже навлекли, сказывают, неприятности истинному автору»,— писал А. И. Тургенев 13 февраля.

«Как это прекрасно, Катишь, не правда ли? — пишет М. Степанова в альбоме Тютчевой, переписывая стихи Лермонтова.— Но, пожалуй, чересчур вольнодумно».

Наконец, оценка Е. А. Арсеньевой, бабушки Лермонтова:

«Мишенька по молодости и ветренности написал стихи на смерть Пушкина и в конце написал не прилично на шет придворных».

Но среди перечисленных свидетельств выделяется документ исключительной важности — это резолюции графа А. Х. Бенкендорфа и Николая I на списке стихотворения, доставленного в III Отделение 17—18 февраля.

«Я уже имел честь сообщить Вашему Императорскому Величеству, что я послал стихотворение гусарского офицера Лермонтова генералу Веймарну, дабы он допросил этого молодого человека и содержал его при Главном штабе без права сношения с кем-либо извне, покуда власти не решат вопрос о его дальнейшей участи и о взятии его бумаг как здесь, так и на квартире его в Царском Селе. Вступление к этому сочинению дерзко, а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное. По словам Лермонтова, эти стихи распространяются в городе одним из его товарищей, которого он не захотел назвать».

А. Бенкендорф».

Император пишет собственное мнение:

«Приятные стихи, нечего сказать, я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружатся еще другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону».

Начинается следствие по делу «о непозволительных стихах». Лермонтова допрашивают «без права сношения с кем-либо», он содержится под стражей, как опасный «вольнодумец».

А ведь стихи Лермонтова не единственные в те дни. Более двадцати поэтов, среди которых были и Вяземский, и Тютчев, и Жуковский, и Языков, и Кольцов, откликнулись скорбными строками. И все же только «Смерти поэта» была уготовлена такая судьба.

«Вступление... дерзко, а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное».

«...не помешан ли он»?!

Эти слова напишут люди, хорошо помнящие «дерзких» и «преступных вольнодумцев», вышедших на Сенатскую. Остановить распространение вольнодумного сочинения, оказывается, невозможно.

Тогда же А. И. Тургенев сообщит брату за границу: «Вот стихи с преступной строфой, о которой я узнал много позже стихов».

Итак, и вступление и прибавление император и Бенкендорф рассматривают как преступление. И все же более века периодически торжествует мнение, что «преступной строфой» являются только последние строки «Смерти поэта».

«Пистолетный выстрел,— писал Герцен в 1856 году,— убивший Пушкина, пробудил душу Лермонтова. Он написал элегическую оду, в которой, заклеив низкие интриги, предшествующие дуэли, интриги, затеянные министрами-литераторами и журналистами-шпионами, воскликнул с юношеским негодованием: «Отмщение, государь, отмщение!» *Эту единственную непоследовательность* свою поэт искупил ссылкой на Кавказ».

В 1861 году в Лондоне выходит сборник «Русская потаенная литература», в котором стихотворение печатается без вступительных строк. Эпиграф был снят издателями, как противоречащий демократической идее... самого Лермонтова.

Странный вывод! Выходит, Лермонтов хотел скрыться за верноподданническими строками эпиграфа, но правительству его компромисс показался недостаточным, и Бенкендорф приказал Лермонтова арестовать, а Николай пожелал удостовериться, «уж не помешан ли» Лермонтов?

Нет, что-то не так! Почему же арестованные Лермонтов и Раевский не воспользовались на допросах своей, можно было бы сказать, остроумной уловкой, не попросили для себя снисхождения, а словно бы забыли о спасительных строках? Не потому ли, что им-то было ясно, как мало в них «спасительного»?!

Отсутствие эпиграфа в копии Верещагиной, мне думается, немного объясняет. Стихи распространялись в два периода, достаточно вспомнить слова А. И. Тургенева. Не имел эпиграфа и список С. Н. Карамзиной.

Если же говорить о копии Одоевского, то она была самоцензурной. Одоевский надеялся напечатать «Смерть поэта» и, конечно, как опытный журналист,

никогда бы не стал предлагать цензуре последний вариант. Впрочем, и предложенный элегический текст не был допущен к печати.

Вряд ли можно согласиться с мнением, что Лермонтов, используя эпиграф как «уловку», рассчитывал на круг читателей, связанных с двором.

Распространение стихов — акт неуправляемый, он не зависит от воли автора. Стихотворение куда больше переписывалось демократическим читателем, чиновниками и студентами. Если же говорить о дворе, то именно там стихотворение Лермонтова было названо «возвращением к революции».

Но может быть, у нас недостаточно фактов, чтобы объяснить стихотворение «Смерть поэта»? Может, нам неизвестны какие-то обстоятельства, заставившие Лермонтова все же не только написать шестнадцать заключительных строк, но и прибегнуть к эпиграфу?

Попробуем еще раз остановиться на споре Лермонтова с камер-юнкером Н. А. Столыпиным, принесшим в дом поэта отголоски великосветских разговоров...

Итак, 29 января Лермонтов пишет пятьдесят шесть скорбных строк, кончающихся словами:

...Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

Печать — символ вечного молчания... «Остановился златоуст» — словно бы о Пушкине толкует словарь В. Даля.

Призыва к возмездию еще нет, есть безысходное горе. 29 января Лермонтов пишет то же, что пишут многие из его современников в стихах и в письмах.

Приведу письмо Павла Бестужева брату от 2 февраля 1837 года.

«Любезный Александр!

Сообщи для тебя неприятную новость: вчера мы похоронили Александра Пушкина. Он дрался на дуэли и умер от раны. Некто г-н Дантес, француз, экс-паж герцогини Беррийской, облагодетельствованный нашим правительством, служивший в кавалергардах, был принят везде с русским радушием и за нашу хлеб-соль и гостеприимство заплатил убийством.

Надобно быть бездушным французом, чтобы поднять святотатственную руку на неприкосновенную жизнь по-

эта, которую иногда шадит сама судьба, жизнь, принадлежащая целому народу <...>»

Пушкин сделал ошибку, женившись, потому что остался в этом омуте большого света. Поэты с их призванием не могут жить в параллель с обществом, они так не созданы. Им нужно сотворить себе новый парнас для жительства. Иначе они наткнутся на пулю, как Пушкин и Грибоедов, или того еще хуже, на насмешку!!»

Общность содержания удивительна, иногда возникают одни и те же слова и определения.

Бестужев: «Надо быть *бездушным французом*, чтобы поднять святотатственную руку на неприкосновенную жизнь поэта...»

Лермонтов: «Его убийца *хладнокровно* Навел удар... спасенья нет: *Пустое* сердце бьется ровно, В руке не дрогнул пистолет».

Бестужев: «<...> жизнь поэта, <...> *жизнь, принадлежащая целому народу*».

Лермонтов: «Смеясь, он дерзко презирал Земли чужой язык и нравы; Не мог шадить он нашей славы, *Не мог понять в сей миг кровавый*, На что он руку поднимал!...»

Бестужев: «Поэты с их призванием не могут жить в параллель с обществом <...>. Иначе они наткнутся на пулю <...> или, хуже того, *на насмешку!*»

Лермонтов: «Отравлены его последние мгновенья Коварным шепотом *насмешливых невежд...*», «И для потехи раздували Чуть затаившийся пожар».

Элегия до появления прибавленных строк отражала те общие разговоры, которые возникали повсюду в дни гибели Пушкина.

Но через несколько дней «песня печали», как назовет «Смерть поэта» Нестор Котляревский, превратится в «песнь гнева».

Лермонтова и Раевского арестовывают. В тюрьме они пишут подробные «объяснения».

Большинство исследователей считают «объяснения» Лермонтова и Раевского искренними, другие хотя и подтверждают искренность, но все же видят в них «самозащиту».

Но если арестованный преследовал защитные цели,

он должен был думать о том, как бы не дать противнику опасных для себя фактов. И уже осторожность сама по себе исключала *искренность*. Да и какая искренность в когтях полиции? И Лермонтов, и Раевский понимали, что каждое искреннее их слово утяжелит наказание, ожесточит приговор. Записка Раевского камердинеру Лермонтова требует от Лермонтова не доверяться чувству, не быть *искренним*.

«Андрей Иванович! — обращался Раевский к камердинеру Лермонтова. — Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал Министру. Надобно, *чтобы он отвечал согласно с нею*, и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже».

Сравним тексты «объяснений» Лермонтова и Раевского.

Лермонтов:

«Я был болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. *Некоторые из моих знакомых* привезли мне ее *обезображенную разными прибавлениями, одни, приверженцы* нашего лучшего поэта, рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, вынужден был сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противников Пушкина, называли его (Дантеса. — С. Л.) благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собою, — они говорили также, что Пушкин негодный человек и прочее... Не имея, может быть, возможности защитить нравственную сторону его характера, никто не отвечал на эти последние обвинения.

Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою Божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого: и врожденное чувство в душе неопытной, защищать всякого невинно осуждаемого, зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезни раздраженных нерв. Когда я стал спрашивать, на каких основаниях они восстанут так громко против убитого, — мне отвечали: вероятно, чтобы

придать себе больше весу, что весь высший круг общества такого же мнения. Я удивился — надо мной смеялись. Наконец после двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкин умер; вместе с этим известием пришло другое, утешительное для сердца русского: Государь Император, несмотря на его прежние заблуждения, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность Его поступка с мнением (как меня уверяли) высшего круга общества увеличила первого в моем воображении и очернила еще более несправедливость последнего. Я был твердо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства Императора, Богом данного защитника всем угнетенным, но тем не менее я слышал, что некоторые люди, единственно по родственным связям или вследствие искательства, принадлежащие к высшему кругу и пользующиеся заслугами своих достойных родственников,— некоторые не переставали омрачать память убитого и рассеивать разные невыгодные для него слухи. Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами выразил нестройное столкновение мыслей, не полагая, что написал нечто предосудительное, что многие ошибочно могут принять на свой счет выражения, вовсе не для них предназначенные. Этот опыт был первый и последний в этом роде, вредным (как и прежде мыслил и ныне мыслю) для других еще более, чем для себя. Но если мне нет оправдания, то молодость и пылкость послужат хотя бы объяснением, ибо в эту минуту страсть была сильнее холодного рассудка...»

Спор, оказывается, шел с дамами, сторонниками Дантеса, а Лермонтов, преисполненный к царю восторга и благодарности за «чудную противоположность Его поступка», совершенно не полагал... «предосудительного».

Посмотрим «объяснение» Раевского:

«...Лермонтов имеет особую склонность к музыке, живописи и поэзии, почему свободные у обоих нас от службы часы проходили в сих занятиях, особенно в последние три месяца, когда Лермонтов по болезни не выезжал.

В Генваре умер Пушкин. Когда 29 или 30 эта новость была сообщена Лермонтову с городскими толками о безымянных письмах, возбуждающих ревность Пушкина и мешавших ему заниматься сочинениями в октябре и ноябре (месяцы, в которых Пушкин, по слухам, исключительно сочинял), — то в тот же вечер Лермонтов написал элегические стихи, которые оканчивались словами:

И на устах его печать.

Среди них слова: «Не вы ли гнали его свободный чудный дар» — означают безымянные письма — что совершенно доказывается вторыми двумя стихами:

И для потехи возбуждали
Чуть затаившийся пожар.

Стихи эти появились прежде многих и были лучше всех, что я узнал из отзыва журналиста Краевского, который сообщил их В. А. Жуковскому, князьям Вяземскому, Одоевскому и проч. Знакомые Лермонтова беспрестанно говорили ему приветствия, и пронеслась даже молва, что В. А. Жуковский читал их Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику и что Он изъявил свое высокое одобрение.

Успех этот радовал меня, по любви к Лермонтову, а Лермонтову вскружил, так сказать, голову — из желания славы. Экземпляры стихов раздавались всем желающим, даже с прибавлением 12 (16) стихов, содержащих в себе выходку против лиц, не подлежащих суду Русскому, — дипломатов и иностранцев, а происхождение их есть, как я убежден, следующее:

К Лермонтову приехал брат его камер-юнкер Столыпин. Он отзывался о Пушкине невыгодно, говорил, что он неприлично себя вел среди людей большого света, что Дантес обязан был поступить так, как он поступил. Лермонтов, будучи, так сказать, обязан Пушкину известностью, — невольно сделался его партизаном и по врожденной пылкости повел себя горячо. *Он и половина гостей* доказывали, между прочим, что даже иностранцы должны щадить людей замечательных в государстве, что Пушкина, несмотря на его дерзости, щадили два государя, и даже осыпали милостями, и что затем об его строптивости — мы не должны уже судить.

Разговор шел жарче, молодой камер-юнкер Столыпин сообщал мнения, рождавшие новые споры, — и в

особенности настаивал, что иностранцам нет дела до поэзии Пушкина, что дипломаты свободны от влияния законов, что Дантес и Геккери, будучи знатные иностранцы, не подлежат ни законам, ни суду русскому.

Разговор принял было юридическое направление, но Лермонтов прервал его словами, которые после почти вполне поместил в стихах: «если над ними нет закона и суда земного, если они палачи гения, так есть Божий суд».

Разговор прекратился, а вечером, возвратясь из гостей, я нашел у Лермонтова и известное прибавление, в котором явно выражался весь спор.

Раз пришло было нам на мысль, что стихи темны, что за них можно пострадать, ибо их можно перетолковать по желанию, но, сообразив, что фамилия Лермонтова под ними подписывается вполне, что высшая цензура давно бы остановила их, если бы считала это нужным и что Государь Император осыпал семейство Пушкина милостями, след. дорожил им, — положили, что, стало быть, можно бранить врагов Пушкина — оставили было идти дело так, как оно шло <...>

<...> Политических мыслей, а тем более противных порядку, установленному вековыми законами, у нас не было и быть не могло.

<...> Оба мы русские душою и еще более верно-подданные: вот еще доказательство, что Лермонтов не равнодушен к славе и чести своего Государя...»

Итак, «дамы» у Лермонтова, отстаивающие право Дантеса на любовь, превратились у Раевского в камер-юнкера Столыпина, защищающего право знатных иностранцев не считаться с законами русскими.

Лермонтов говорит о некоторых людях, «единственно по родственным связям или вследствие искательства принадлежащих к высшему кругу и пользующихся заслугами своих *достойных* родственников». (Но как же при этом прославленных «известной подлостью»?!)

Еще более показательны черновики «объяснения» Раевского, приложенные к «делу»:

«Он [и его парт] доказывали между прочим. И половина гостей доказывали между прочим, что [всякий] даже иностранец [должен] даже иностранцы должны щадить людей, замечательных в государстве».

«Молодой камер-юнкер Столыпин [и еще кто не помню] [передавал] <...>».

«Разговор принял было [пол] юридическое направление <...>».

Черновики Раевского саморазоблачительны. Какая «половина» гостей? Кто был у Лермонтова кроме Столыпина? Какое «пол [итическое] <...> направление» принимал спор Лермонтова и его противников? Что значит «партия Лермонтова»? Не кружок ли это таких же, как он и Раевский, «опасных вольнодумцев»? И что значит: «Кто — не помню»?!

Оговорок достаточно для расширения «дела», для дополнительного допроса Столыпина, но... следствие быстро заканчивается.

Раевский высылается в Олонецкую губернию, Лермонтов — на Кавказ, что не считается слишком суровым наказанием.

Запомним осторожность арестованных, их вынужденное, понятное раскаяние, в данной ситуации, конечно же, *уловку*.

Почему III Отделение будто бы не заметило несоответствия показаний арестованных содержанию «Смерти поэта»?

Литературовед В. Архипов находит самое легкое объяснение, — он называет Бенкендорфа человеком «недалеким». Но, во-первых, общеизвестно, что Бенкендорф был опытейшим и хитрейшим полицейским, и у него достало бы ума обнаружить неискренность в показаниях, свести объяснение к незначительным частностям, к безобидному разговору с «дамами» о любви. Да и не один Бенкендорф был в III Отделении, — не случайно Лермонтов рисует на полях списка «Смерти поэта» волчий профиль Дубельта.

Но если предположить, что III Отделению — в той острой ситуации января—февраля 1837 года — было просто *невыгодно* продолжать процесс над неизвестным поэтом, невыгодно расширять следствие, привлекать новых лиц, делать очные ставки, а наоборот, куда *выгоднее* расценить выходку двадцатидвухлетнего никому не ведомого корнета пустяком, постараться скорее прекратить процесс, выслать из Петербурга обоих арестованных и этим *успокоить* общественное мнение? Да и нужна ли конкретизация — кого подозревал поэт в каждой строчке прибавления? Куда деть строки о «наперсниках разврата», «стоящих у трона»? Кто они,

«палачи Свободы, Гения и Славы»? Не о светских же «дамах» говорил Лермонтов. Совсем не секрет, что знание частного, конкретного может в некоторых случаях глубже и зримее выявить размеры общего зла. Но, кроме того, по-разному лежит путь художника к истине. И для Лермонтова ход от частного к общему, от конкретного к широкому обобщению весьма возможен.

И. Андроников в известной работе «Лермонтов и парт...» приводит запись на списке «Смерть поэта», принадлежащего сотруднику Московского университета Н. С. Дороватовскому. Список этот, указывает Андроников, «исходил из круга лиц, близких Герцену».

Н. С. Дороватовский, обдумывая, кого же подразумевал Лермонтов, говоря о «наперсниках разврата» и о «надменных потомках», перечисляет ряд возможных фамилий:

«Любимцы Екатерины II: 1) Салтыков. 2) Понятовский. 3) Гр. Орлов (Бобринский, их сын, воспитанный в доме истопника, а потом камергера Шкурина). 4) Высоцкий. 5) Васильчиков. 6) Потемкин. 7) Завадовский. 8) Зорич — 1776

У Елизаветы и Разумовского дочь княжна Тараканова.

Убийцы Петра III: Орлов, Теплов, Барятинский. У Романа Воронцова три дочери: 1) Екатерина, любовница Петра III. 2) Дашкова. 3) Бутурлина...

Любовница Павла Софья Осиповна Чарторыжская, у нее сын Симеон — 1796. Убийцы Ивана Антоновича — Власьев и Чекин, заговорщик Мирович».

И. Андроников не останавливается ни на одном имени. Список Дороватовского рассматривали и другие исследователи и объявили его «случайным».

Между тем в списке есть имя цареубийцы (точнее, цареубийц). Жизненные пути их прямого потомка многократно пересекались с жизненными путями Лермонтова.

Я говорю о князе Александре Ивановиче Барятинском, будущем генерал-фельдмаршале, однокашнике Лермонтова по школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, злейшем и многолетнем враге Лермонтова.

Злобное отношение Барятинского к Лермонтову в течение всей продолжительной жизни Барятинского и теперь кажется непонятным.

Обратимся к биографии «покорителя Кавказа». *Не*

помогут ли воспоминания о нем приоткрыть загадку нескольких прибавленных строк стихотворения «Смерть поэта»?

Личный биограф Барятинского Зиссерман так писал о своем герое:

«Всех юнкеров (в школе гвардейских подпрапорщиков. — С. Л.) было двести сорок пять человек, но из их числа только два приобрели общую, громкую известность: один — Лермонтов, как замечательный поэт, к несчастью рано погибший, другой — природный талант, покоритель Кавказа и государственный человек».

Военная карьера обоих юнкеров несколько похожа по своему началу. Но если Лермонтов, проучившись в Московском университете, решает поступить в школу гвардейских подпрапорщиков, то Барятинского только готовят к университету, однако, не поступая туда, он меняет решение.

В отличие от Лермонтова Барятинский учится в школе юнкеров крайне плохо, впрочем, не знания, а иные качества обеспечивают Барятинскому лидерство в военной среде. Вот как рассказывает об этих годах А. И. Барятинского управляющий его имениями Инсарский:

«Князь Александр Иванович Барятинский говорил мне, что учился он в гвардейской школе самым отвратительным образом. Время проходило в кутежах и шалостях, большею частью замысловатого изобретения. Волочитство тоже было не последним занятием <...>. Когда наступило время выпуска, князь оказался совершенно несостоятельным, и ему предложено было поступить в армию или, если хочет, служить в гвардии, но оставаться еще год в гвардейской школе <...>. Таким образом, в конце 1833 года он поступил в лейб-кирасирский Гатчинский полк, но этот шаг никак не уничтожил самых коротких его связей с прежними товарищами, так что он только по форме принадлежал к Кирасирскому полку, но душой и сердцем — к Кавалергардскому. Ему дороги были интересы не Кирасирского, но Кавалергардского полка. Все, что делалось в этом полку, для него было несравнимо дороже, чем происходило в Кирасирском. Он считал себя принадлежащим к обществу кавалергардских офицеров и разде-

лял их воззрения, убеждения и различные демонстрации. Все, что радовало Кавалергардский полк,— и его радовало; все, что нравилось кавалергардским офицерам,— и ему нравилось. Одним словом, он был самым усердным членом кавалергардской семьи».

Свидетельство Инсарского мало чем отличается от характеристики Зиссермана.

«Двухлетняя служба в гатчинских кирасирах была, согласно с тогдашними кавалерийскими правилами, рядом кутежей, шалостей праздной светской жизни. Все это не считалось, однако, чем-либо предосудительным, не только в глазах товарищей и знакомых, но и в глазах высших властей, даже напротив, как последствия молодости, удалства, свойственного молодому человеку вообще, а кавалеристу в особенности, все эти кутежи и повесничанья не заключали в себе ничего бесчестного, доставляли высшим властям особый род удовольствия, скрываемый под личиной строгости...»

Из знаменитых шалостей молодого Барятинского известны два случая веселых «похорон» людей, чем-то неприятных всей «компании» его друзей, кавалергардских офицеров. Одни «похороны» — организованное шествие в сторону кладбища с пустым гробом как бы скончавшегося командира кавалергардского полка Егора Грюнвальда, преспокойно ужинавшего у себя на веранде и с негодованием взиравшего на это веселье.

Вторые «похороны» были устроены камер-юнкеру Борху, тому самому «несменному секретарю ордена рогоносцев». Впрочем, о Борхе я писал в предыдущих главах.

Наказание Барятинского, его арест оказывается только поводом к продолжению великосветских забав.

«Осмотрев комнату,— рассказывал Инсарский,— назначенную для него, князь в тот же час распорядился, чтобы на другой день явились мебельщики, обойщики и т. д. и убрали комнату самым роскошным и великолепным образом. Одному из знаменитых ресторанов приказано было, чтобы каждый день был готов изящный обед на десять-двадцать персон... Князь говорил, что время ареста было для него самым веселым и разорительным...»

Не оказалась гауптвахта и помехой для общения с «мамками» соседнего воспитательного дома.

Вот отрывок из письма художника Гагарина родителям:

«6 марта 1834 года. Вы мне говорите часто об обществе молодых людей. Мне бы не хотелось, чтобы вы составили неправильное представление о нем, во-первых, я им посвящаю мало времени, но иногда иду провести остаток вечера у Трубецких, где собирается небольшое общество исключительно добрых и честных юношей, очень дружных между собою. Каждый сюда приносит свой небольшой талант и, в меру своих сил, способствует тому, чтобы весело и свободно развлечься, значительно лучше, чем во всех чопорных салонах... Иной раз мы занимаемся гимнастикой, борьбой и разными упражнениями. Я здесь открыл, что я гораздо сильнее, чем я думал. После десятиминутной напряженной борьбы, под громкое одобрение остального общества, я бросил на пол Александра Трубецкого, который считался самым сильным из всей компании <...>».

Члены этого кружка Александр и Сергей Трубецкие, офицеры Кавалергардского полка, Бярятинский — офицер Кирасирского полка <...>, иногда Дантес, новый кавалергард, который полон остроумия и очень забавен».

«Вечная» приверженность Трубецкого к истории пушкинской дуэли, его дружба с Жоржем Дантесом, бесспорное расположение к нему императрицы делают фигуру Трубецкого не только исключительно важной, но и заставляют серьезнее посмотреть на знакомство Лермонтова с Трубецким и его ближайшими друзьями, среди которых особенно приметна личность князя Александра Ивановича Бярятинского.

В качестве характеристики отношений А. И. Бярятинского и М. Ю. Лермонтова — событие, произошедшее в доме Трубецких. Приведу любопытный эпизод, описанный биографом князя Александра Ивановича.

«В 1834 или в 1835 годах, раз вечером, у князя Т[рубецкого] было довольно большое собрание молодых офицеров, кавалергардов и из других полков. В числе их были Александр Иванович Бярятинский и Лермонтов, бывшие товарищи по юнкерской школе. Разговор был оживленный, о разных предметах, между прочим, Лермонтов настаивал на всегдашней мысли его, что человек, имеющий силу для борьбы с душевными недугами, не в состоянии побороть физическую боль. Тогда, не говоря ни слова, Бярятинский снял колпак с горящей лампы, взял в руку стекло и, не прибавляя

скорости, тихими шагами, бледный, прошел через всю комнату и поставил ламповое стекло на стол целым; но рука его была сожжена до кости, и несколько недель он носил ее на перевязи, страдая сильною лихорадкой».

Весной 1835 года Барятинский уезжает «охотником» на Кавказ, где его тяжело ранят. Положение оказывается критическим. Барятинский составляет завещание, в котором он завещает Александру Трубецкому перстень, Сергею Трубецкому — коня.

Однако раненый выздоравливает и, как герой, возвращается в Петербург. Благодаря дружбе матери Барятинского, баронессы Келлер, с императрицей, к которой она «ездила когда хотела, запросто», Барятинского навещает цесаревич и зачисляет в личную свиту. К этому времени Барятинский уже штаб-ротмистр.

Вместе с назначением в свиту, «составлявшим (по словам Долгорукова.— С. П.) <...> предмет пламенных желаний всех гвардейских офицеров», круг друзей Барятинского значительно сужается. Наиболее близкими остаются Трубецкой, Куракин, Нессельроде, Дантес, «ультрафешенебли», дети сановников.

Позиция Барятинского после дуэли чрезвычайно важна нам. Как и Трубецкого, Барятинского не смущают «рыдания» и «жалкий» лепет светской толпы; он во всеуслышание провозглашает поступок Дантеса рыцарским.

Письма Барятинского к Дантесу на гауптвахту, опубликованные еще Щеголевым, поражают своим цинизмом.

«Мне чего-то недостает с тех пор, как я Вас не видел, мой дорогой Геккерн, поверьте, что я не по своей воле прекратил мои посещения, которые приносили мне столько удовольствия и всегда казались мне слишком краткими, но я должен был прекратить их вследствие строгости караульных офицеров.

Подумайте, меня возмутительным образом два раза отослали с галереи под тем предлогом, что это не место для моих прогулок, а еще два раза я просил разрешения увидеться с Вами, но мне было отказано. Тем не менее верьте по-прежнему моей искренней дружбе и тому сочувствию, с которым относится к Вам вся наша семья.

Ваш преданный друг

Барятинский».

Конечно, позиция Барятинского многим кажется вызывающей. В салоне Нессельроде, в кругу своих друзей, Барятинский открыто говорит в поддержку Дантеса. Свет «безмолвствует», а скорее сочувственно молчит, понимая, какая сила за плечами этого человека.

Перед тем как решить, не связано ли имя Барятинского с известными словами лермонтовского прибавления, попробуем подробнее оценить отношения Лермонтова и Барятинского после января 1837 года.

Первый биограф Лермонтова П. А. Висковатов, находящийся около двух лет при князе А. И. Барятинском, не раз слышал резко отрицательные отзывы князя о великом поэте.

П. А. Висковатов, а за ним и другие биографы предполагали, что Барятинский не мог забыть однокашнику его юнкерской поэмы.

«В «Уланше», самой скромной из этих поэм,— писал П. А. Висковатов,— изображается переход конного эскадрона юнкерской школы в Петергоф и ночной привал в деревне Ижоры. Главный герой похождения — уланский юнкер «Лафа» (Поливанов.— *С. Л.*), посланный вперед квартирьером. Героиня — крестьянская девушка.

В «Гошпитале» описываются похождения товарищей-юнкеров: того же Поливанова, Шубина и князя Александра Ивановича Барятинского.

Все эти произведения Лермонтова, конечно, предназначались лишь для тесного круга товарищей, но проникали, как мы говорили, за стены «школы», ходили по городу, и те из героев, упоминавшихся в них, которым приходилось играть непохвальную, смешную или обидную роль, негодовали на Лермонтова. Негодование это росло вместе со славою поэта, и, таким образом, многие из его школьных товарищей обратились в его злейших врагов. Один из таковых — лицо, достигнувшее потом важного государственного положения,— приходил в негодование каждый раз, как мы заговаривали с ним о Лермонтове. Он называл его «самым безнравственным человеком» и «посредственным подражателем Байрона» и удивлялся, как можно им интересоваться для собирания материалов его биографии. Гораздо позднее, когда нам попались в руки школьные произведения нашего поэта, мы поняли причину такой злобы. Люди эти даже мешали ему в служебной карьере, которую сами проходили успешно».

Барятинский, находясь в свите цесаревича, мог, конечно, сделать много худого «опальному» Лермонтову.

Свое предположение о причинах обиды князя А. И. Барятинского Висковатов повторяет неоднократно.

«Александр Иванович Барятинский,— писал Висковатов в «Русской старине»,— играл весьма незавидную роль в донжуанском походе весьма непривлекательного свойства, предложенном хвастливым юношей на пари за полдюжины шампанского...»

А вот комментарий одного из первых издателей собрания сочинений Лермонтова — Ефремова, поместившего некоторые строки «Гошпиталя» во втором томе.

«У М. И. Семева мы видели один номер рукописного журнала № 4 «Журнал Школьная Заря». Этот номер начинается со стихов Лермонтова «Уланша» и оканчивается его же стихотворением «Гошпиталь», под которым он же подписывается «Граф Дарбекер».

В последнем стихотворении описываются приключения двух школьных товарищей Лермонтова: князя А. И. Барятинского и Н. И. Поливанова (Лафа).

Князь Барятинский в темноте по ошибке обнимает вместо красавицы горничной слепую дряхлую старуху, та кричит, вбегает слуга со свечой, бросается на князя и побивает его. На помощь является Поливанов, бывший у красотки, и выручает князя.

На страницах «Русской мысли» П. А. Висковатов снова повторяет мнение Барятинского о Лермонтове:

«Фельдмаршал князь Барятинский, товарищ Монго по школе гвардейских прапорщиков (...) очень недружелюбно отзывался о нем, как и о Лермонтове. Но тому были другие причины».

Уже в начале нашего века ученик Висковатова Е. А. Бобров опубликовал выдержки из письма Висковатова к нему по поводу отношения князя Барятинского к Лермонтову. Письмо, по словам Боброва, было личного свойства и не подлежало «в полном виде опубликованию», поэтому большая часть его изложена в пересказе.

«Более важным вопросом является отношение Лермонтова... к князю Барятинскому. Последнего Висковатов знал очень близко, потому что не один год состоял при нем в качестве личного секретаря.

Барятинский, по характеристике Висковатова, был

очень умен и из ряда вон талантлив. Но если у человека «сажень ума да сажень с вершком самолюбия, то в конце концов дурак в нем победит умного человека». Все такие чрезмерно самолюбивые люди не терпели Лермонтова. Была еще одна специальная причина нелюбви Барятинского к Лермонтову.

Лермонтову и Столыпину (Монго.— С. Л.) удалось спасти одну даму от назойливости некоего высокопоставленного лица. Последнее заподозрило в проделке Барятинского, потому что он ухаживал за этой дамой. И личный неуспех, и негодование на него высокого лица побудили Барятинского возненавидеть Столыпина и Лермонтова. Но самую главную причину неугасимой ненависти Барятинского к Лермонтову все-таки надобно считать описание неудач князя в эротической поэме «Гошпиталь». Этой поэмой Барятинский был уязвлен в самую ахиллесову пяту, потому что происшествие было передано хотя и цинично, но вполне истинно, прибавлены были лишь незначительные пикантные подробности. Мог ли Барятинский когда-нибудь забыть и простить при своем необъятном самолюбии эту поэму, помещенную в рукописном журнале и сделавшую Барятинского посмешищем в глазах товарищей.

Из сказанного понятно, как неприятно поражен был князь, очень желавший, чтобы Висковатов составил его биографию, уже и начатую, как однажды его секретарь, разговарившись с ним о Лермонтове, сообщил ему, что он-де собирается писать биографию великого поэта. Барятинский искренно удивился тому, как это находятся люди, считающие собирать материалы о таком человеке, о Лермонтове. Он не представлял себе, что потомство может иначе судить о Михаиле Юрьевиче, чем осмеянные им сотоварищи по школе. Барятинский стал настойчиво отговаривать своего молодого секретаря от этого предприятия, говоря, что биографию Лермонтова не следует, не стоит писать. «Вот поговорите-ка со Смирновой об этом,— советовал он.— Я вас познакомлю с нею». «Со Смирновой он меня познакомил,— пишет Висковатов.— И она, конечно, по просьбе Барятинского тоже отговаривала меня писать биографию Лермонтова».

Нелюбовь к Лермонтову со стороны самого Николая Павловича Барятинский объяснял таким оригинальным сравнением, якобы в то время смотрели на страну, как на бильярд, и не любили, чтобы что бы то ни было превы-

шало однообразную гладь бильярдной поверхности, а Лермонтов хотя сам по себе и был личностью в высшей степени неприятною, но все-таки выдавался выше уровня. Это признавал Барятинский при всей своей искренней ненависти к великому поэту. Так же, то есть тем, что «выдавался», объяснял Барятинский и известное расположение к нему самому...»

Плохо относились к Лермонтову и друзья Барятинского. Так, граф Адлерберг, адъютант цесаревича, как и Барятинский, отзывался о Лермонтове крайне худо. «Я никогда не забуду, — писал Д. Мережковский, — как в восьмидесятые годы, во время моего собственного юношеского увлечения Лермонтовым, отец мой передавал мне отзыв о нем графа Адлерберга, министра двора при Александре II, старика, который был лично знаком с Лермонтовым: „Вы представить себе не можете, какой это был грязный человек!“»

Посмотрим фрагменты «Гошпиталя», юнкерской поэмы, публиковавшейся или отдельными строками, или с сокращениями в разных изданиях.

Фактически полностью поэму Лермонтова помнили только лермонтовские однокашники-юнкера, одним из которых она была передана лермонтовскому музею.

Вот строки о Барятинском:

Однажды, после долгих прений
И осушив бутылки три,
Князь Б., любитель наслаждений,
С Лафой стал держать пари.

И дальше сцена спасения князя Барятинского другом Лафой.

Ужасней молнии небесной,
Быстрее смертоносных стрел,
Лафа оставил угол тесной
И на злодея полетел;
Дал в зубы, сшиб его — ногою,
Ему на горло наступил;
— «Где ты, Барятинский, за мною,
Кто против нас?» — он возопил.
И князь, сидевший за лоханкой,
Выходит робкою стопой,
И с торжествующей осанкой
Лафа ведет его домой.
Как шар по лестнице спустился
Наш... купидон,
Ворчал, ругался и бесился
И морщась спину шупал он.

В финале — общее благополучие, отчего конец «Гошпиталя» напоминает концы добрых народных сказок:

Но в ту же ночь их фактор смелый,
Клянясь доставить ящик целый,
Пошел Какушкин со двора
С пригоршней целой серебра.
И по утру смеялись, пили
Внизу, как прежде... а потом?..
Потом?! что спрашивать?.. забыли,
Как забывают обо всем.
Лафа с Марисой разошелся;
Князь мужика простил давно
И за разбитое окно
С беззубой барыней расчелся,
И, от друзей досаду скрыв,
Остался весел и счастлив.

Если вспомнить рассказы Барятинского о днях веселой юнкерской жизни, то строки «Гошпиталя» ничего не прибавляют к сказанному Барятинским о самом себе.

Висковатов, считавший «Гошпиталь» причиной смертельной обиды Барятинского, мне кажется, вряд ли был прав. Впрочем, об этом же писала известная исследовательница М. Г. Ашукина-Зенгер.

«Биографы Лермонтова, — писала Ашукина-Зенгер, комментируя воспоминания В. Боборыкина, — обычно преувеличивают значение этого эпизода в жизни семнадцатилетних мальчиков и ищут в нем разгадки дальнейшего отношения Барятинского к Лермонтову. Это поспешное заключение, конечно, неверно: расхождение их было глубоко принципиальным».

Ашукина-Зенгер заметила, что масштаб ненависти Барятинского к Лермонтову, будто бы смертельно, на всю жизнь обиженного шуточной поэмой, не соответствует поводу. Кстати, спор Лермонтова и Барятинского у Трубецких происходит после окончания юнкерского училища (собираются уже молодые офицеры), то есть спустя минимум год после написания поэмы «Гошпиталь». В споре Барятинского с Лермонтовым чувствуется не ненависть Барятинского к однокашнику, а скорее стремление князя утвердить собственное лидерство в офицерской среде.

Нельзя ли найти ответ на причину вечной ссоры Барятинского с Лермонтовым в биографии и в характере будущего генерал-фельдмаршала?

Приведу еще несколько цитат из книги управляюще-

го именами Барятинского, человека, преданного ему, Василия Антоновича Инсарского.

«Первое впечатление, произведенное на меня им (Барятинским.— *С. Л.*) было поразительным (...) Когда мне случалось видеть Государя-наследника, а это было преимущественно на блистательных балах Дворянского собрания, я постоянно видел подле него великолепную личность. Молодой человек (...) беспримерно стройный, красавец собой, с голубыми глазами, роскошными белокурыми вьющимися волосами, он резко отличался от других, составляющих свиту Наследника, и обращал на себя всеобщее внимание. Манеры его отличались простотою и изяществом. Грудь его была положительно осыпана крестами».

Показательно отношение Барятинского к близким родственникам:

«Родные его боялись до такой степени, которой я даже понять никогда не мог. Сама мать... не могла входить к нему без доклада. Братья его просто боялись: так он умел их поставить».

Удивительно признание самого Барятинского:

«Когда я говорю с кем-нибудь, я всегда смотрю: не нарушает ли он расстояния, какое должно быть между нами».

Надменность князя Барятинского, его высокомерие и холодность были настолько хорошо известны и понятны, что Л. Н. Толстой, работая над рассказом «Набег», с явным беспокойством записал в собственном дневнике 30 апреля 1853 года:

«Меня сильно беспокоит то, что Барятинский узнает себя в рассказе».

Опасение было не случайным. Характер Барятинского был точно схвачен несколькими штрихами.

Конечно, «Набег» написан позднее интересующих нас событий, но в данном случае я говорю о психологической характеристике Барятинского.

«Неприятель, не дожидаясь атаки, скрывается в лес и открывает оттуда жестокий огонь. Пули летят чаще.

— Какое прекрасное зрелище,— говорит генерал, слегка подпрыгивая по-английски на своей вороной тонконогой лошадке.

— Очаровательно! — отвечает, грассируя, майор и, ударяя плетью по лошади, подъезжает к генералу.— Истинное наслаждение воевать в такой прекрасной стране,— говорит он.

— И особенно в хорошей компании,— прибавляет генерал с приятной улыбкой.

Майор наклоняется.

В это время с быстрым неприятным шипением пролетает неприятельское ядро и ударяется во что-то: сзади слышен стон раненого. Этот стон так странно поражает меня, что воинственная картина мгновенно теряет для меня всякую прелесть, но никто, кроме меня, как будто не замечает этого: майор смеется, как кажется, с большим увлечением; <...> генерал смотрит в противоположную сторону и со спокойной улыбкой что-то говорит по-французски.

— Прикажете отвечать на их выстрелы? — спрашивает, подсакивая, начальник артиллерии.

— Да, поугайте их,— небрежно говорит генерал, закуривая сигару.

Батарея выстраивается, и начинается пальба. Земля стонет от выстрелов...»

Рассказ Толстого — произведение художественное, и, как художественное, оно не обязано следовать документу. Однако о высокомерии Барятинского имеется много других свидетельств.

«Князю было тридцать три года,— писал Зиссерман,— но у него было столько врожденных способностей, что они заменяли ему и недостаток солидного образования, и недостаток опытности... Кавказские войска... имели отличную способность весьма метко определять качество новичков из начальства, указывать все притворное, напускное, подвергая их осуждению, на смешкам: почти никто из новых, приезжих «из России» не избег такой критики. Не избег ее и князь Барятинский, как только стал относиться к офицерам с холоднонадменной педантичностью, применяя разные строгости и взыскания в не особенно важных случаях».

Итак, даже у биографов, содержащихся на средства Барятинского (таким был Зиссерман), призванных славить его, постоянно прорывается оценка Барятинского как педанта, высокомерного человека, не очень глубоко образованного. Будучи крайне честолюбивым, Барятинский держал трубадуров, которые распространяли вести о его исключительности.

Но существовала и другая литература. Автор обширного очерка о Барятинском был человек уникальный — отпрыск древнейшего дворянского рода князь Петр Владимирович Долгоруков.

Талантливые статьи-фельетоны Долгорукова, опубликованные им в эмигрантских газетах «Листок» и «Будущность», разили наповал тех, против кого Долгоруков направлял свое язвительное перо.

Наверное, не стоит забывать о характере Долгорукова, — раздражительный, иногда злобный в полемике, склонный к литературным перехлестам, князь терял объективность, что заставляет критически поглядеть на некоторые его оценки. Однако истина в его памфлетах была. Герцен высоко ценил литературный дар «князя-революционера».

Вот как писал о Бярятинском Долгоруков:

«Князь Бярятинский родился в 1814 году и лишился отца в отроческом возрасте. Воспитание он получил самое поверхностное: его выучили говорить по-французски и танцевать; мать его, женщина ума весьма ограниченного, гордая и чрезвычайно самолюбивая, обращала все свое внимание лишь на сохранение связей и значения при дворе, стараясь сблизиться с влиятельными лицами: одним словом, была истинная петербургская барыня. Под влиянием этих понятий князь Александр Иванович вырос и поступил в 1831 году в юнкерскую школу, где учился более чем плохо и за невыдержанием экзамена выпущен был... не в гвардию, а в лейб-кирасирский полк, в Гатчине стоящий».

Дальше Долгоруков рассказывает о поездке Бярятинского на Кавказ, о его ранении, благодаря которому «мать сумела устроить ему перевод тем же чином в лейб-гусарский полк», а затем «выхлопотала ему назначение в адъютанты к цесаревичу». Другим адъютантом оказался граф Александр Адлерберг, — мнение его о Лермонтове я цитировал.

«Будем продолжать наш рассказ, — не торопится Долгоруков, — о князе Александре Ивановиче Бярятинском, этом человеке, являющем разительный пример, какую блистательную карьеру может совершить в России *бездарный пустозвон*, сочетающий в себе хитрость и ловкость с безграничной самонадеянностью...

С самим цесаревичем Бярятинскому сойтись было не трудно: Александр Николаевич во всю жизнь боялся и терпеть не мог людей умных, литераторов и ученых; ему чрезвычайно под руки пришлось в Бярятинском *ограниченность ума и отсутствие познаний*, соединенные с наружным лоском и элегантностью, которая на некоторое время может служить прикрытием *бездарности*

и внутренней *пустоты*... Никто не умеет лучше Барятинского являться вкрадчивым, искательным, льстить и угождать при сохранении наружного вида всей величавости, надобной кандидату в вельможи. Мы говорим «кандидату», потому что в стране самодержавия, в стране произвола и бесправия истинных вельможей быть не может... а существует лишь «*холопия*», рабы сиятельные, превосходительные, рабы в звездах и лентах, но все-таки рабы».

Иронизируя, издеваясь, Долгоруков рассказывает, каким глубоким и, можно сказать, безнадежным было невежество Барятинского.

«Сведения Барятинского не простираются дальше знания правил правописания, но если это было ему полезно при дворе петербургском <...>, где бездарность составляет лучшую из всех рекомендаций <...>, ему выгодно было прослыть человеком серьезным <...>. Он покупал те из нововыходящих книг, о которых многие говорили <...>. Прочтет всегда предисловие, потом прочтет первые страницы <...> наконец прочтет последние пятнадцать-двадцать страниц и потом, при случае отважно излагает свое мнение. Люди, имевшие привычку судить обо всем поверхностно, говорили: Барятинский любит чтение».

Рассказывая о кавказской жизни Барятинского, Долгоруков подчеркивает «безмерное тщеславие», «хитрость» «необыкновенное чванство» князя.

Особое место в рассказе Долгорукова имеет родословная Барятинских: что помогло этому роду набрать богатство и силу.

«Иван Сергеевич Барятинский¹ находился флигель-адъютантом при Петре III, который однажды, будучи подшофе, приказал ему идти арестовывать Екатерину и отвести ее в Петропавловскую крепость».

Но Иван Барятинский приказа не выполнил. Он бросился к дяде Петра III, фельдмаршалу принца Голштинского, и стал просить его отговорить императора от такого шага.

Екатерина не забыла этой услуги Барятинскому.

Особую благодарность Екатерины заслужил брат Ивана Сергеевича — Федор Барятинский, который после низложения Петра III отправляется в Ропшу и там вместе с графом Алексеем Орловым... душат Петра III.

¹ Дед Александра Ивановича.

Позднее Орлов и Барятинский напишут записку, как бы прося прощения у императрицы за случившееся. Документ Екатерина будет хранить «для потомства» в особой шкатулке.

«Свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором, не успели мы разнять, как сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. А его уже не стало».

Иначе описывает убийство граф Воронцов.

«Встретив как-то одного из убийц, князя Федора Барятинского, спросил его: „Как ты мог совершить такое дело?“ На что Барятинский ответил ему, пожимая плечами: „Что тут было делать, мой милый? У меня было так много долгов“».

Александр Иванович Барятинский не только хорошо знал эту историю, но и любил рассказывать о ней близким знакомым.

«Фельдмаршал рассказывал историю убийства Петра III, — записала Александра Осиповна Смирнова-Россет. — Он говорил, что князь Федор Барятинский играл в карты с самим государем. Они пили и поссорились за карты. Петр первым рассердился и ударил Барятинского, тот наотмашь ударил его в висок и убил его».

Версия князя Александра Ивановича Барятинского явно благороднее, если это слово может подходить к убийству, чем другой, более ранний по времени рассказ графа Воронцова в переложении П. В. Долгорукова. «Надменному потомку», *«презрительному невежде»* (слова, оставшиеся в лермонтовском черновике) было неприятно рассказывать всю правду об «известной подлости».

Таким образом, первые две строки прибавления, мне думается, обретают доказательную конкретность:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов...

Конечно, Висковатов, даже находясь с Барятинским в походах, никогда бы не услышал от самолюбивого фельдмаршала истинной причины обиды. Но сам Барятинский, видимо, уже не мог забыть оскорбительных строк.

Николай Аркадьевич Столыпин, о котором я говорил раньше, чиновник министерства иностранных дел, входящий в дом Нессельроде, вероятнее всего, пришел на Садовую к Лермонтову от «презрительных невежд», друзей убийцы Пушкина.

Столыпины — обширный клан высшего петербургского света.

Генерал-адъютант А. И. Философов, женатый на Столыпиной, — лицо влиятельное; с ним отправляет Николай I письмо к брату Михаилу Павловичу в Геную о гибели Пушкина, письмо, «не терпящее любопытства почты».

В «Воспоминаниях» Петра Соколова описывается встреча с двумя молодыми людьми, которых ему представляет граф В. Соллогуб: «Столыпин и Трубецкой — столпы русского дворянства».

В январе 1839 года Столыпины становятся родственниками Трубецких.

Я писал, что Мари Трубецкая, любимая фрейлина императрицы, выходит замуж за Алексея Григорьевича Столыпина.

А еще через несколько лет имя Мари Столыпной (Трубецкой), «искусной пройдохи», «весьма распутной», окажется связанным одновременно и с цесаревичем, и с его ближайшим другом князем А. И. Барятинским.

Итак, «Смерть поэта», элегическая часть уже написана. Убийца заклеимен.

Но Дантес не один, существуют его друзья, люди, духовно опустошенные, — «Свободы, Гения и Славы палачи».

Исследователи, анализируя «Смерть поэта», словно бы не хотят замечать не только разницы адресатов, но и союза «а» в строке, отделяющей *убийцу* в первой части от *палачей* во второй.

Используя союз «и» в последней строке элегии — «И на устах его печать», — Лермонтов уже не может повторить этот же союз в следующей строке. Тогда-то вместо союза «и» появляется союз «а» в значении *сопоставления*.

Итак, если нам стал ясен «потомок», отцы которого были прославлены «известной подлостью», то кого же

мог подразумевать Лермонтов в третьей и в четвертой строках прибавления?

...Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!

Как известно, Пушкин в 1830 году написал широко распространяемое в списках стихотворение «Моя родословная».

Павел Петрович Вяземский вспоминал: «Распространение этих стихов, несмотря на увещевания моего отца, несомненно вооружило против Пушкина много озлобленных врагов».

Еще определеннее высказался по поводу «Моей родословной» Николай I.

«Что касается этих стихов,— поручает передать император Пушкину,— то я нахожу в них много ума, но еще больше желчи. Было бы больше чести для его пера и особенно для его рассудка — их не распространять».

Но Николай, видимо, не предполагал, что запрещение публикации только увеличит общий интерес к стихотворению.

«Желчь» Пушкина ожгла «массу влиятельных семейств в Петербурге».

У нас нова рождением знатность,
И чем новее, тем знатней.

В третьей строфе сатиры Пушкин перечисляет известных нуворишей. Это и князь Меншиков, фаворит Петра I,— «торговал блинами», и граф Разумовский — в царствование Елизаветы «пел на клиросе с дьячками», и граф Кутайсов при Павле «ваксил царские сапоги», и Орловы, попавшие «в честь» при Екатерине II за... возведение на трон (Орловы и Бярятинские, так вернее).

А что же Пушкин, его старинный род?

Во второй строфе поэт напоминает о своей родословной:

...Родов дряхлеющих обломок...

А через строку:

...Бояр старинных я потомок...

Невольно вспоминается лермонтовское:

Пятою рабскою поправшие *обломки*
Игрою счастья обиженных родов!

Слово «обломки», конечно же, из Пушкина. Но тогда

о какой «игре счастья» говорит Лермонтов, если он цитирует «Мою родословную»?

В седьмой строфе сатиры поэт вспоминает о своем деде Льве Александровиче Пушкине, артиллерийском подполковнике, отказавшемся во время переворота 1762 года присягать Екатерине II.

Напомню пушкинские строки:

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин,
И присмирел наш род суровый...

Верный «падению» Петра III, был арестован и посажен на два года в крепость Лев Александрович Пушкин, отец Сергея Львовича, дед поэта.

А что же Бяратинские?

«Известная подлость» была щедро вознаграждена. Бяратинские «попали в честь», их скудные земельные владения превратились в могучий майорат. Предательство, как оказывается, имело бóльшую цену.

Переключка «Смерти поэта» с «Моей родословной» не ограничивается названным.

Пушкинское гордое «Царю наперсник, а не раб» — о другом своем деде, чернокожем Ганнибале, — превращается у Лермонтова в разоблачительное — «наперсники разврата», в «палачей» Свободы, Гения и Славы.

Но тогда как объяснить противоречие между конкретным обращением в эпиграфе — «Отмщенья, государь, отмщенья!» — и обобщенным прибавлением: «Вы, жадную толпой стоящие у трона... наперсники разврата»?

Ответ, мне кажется, ясен: речь у Лермонтова идет о разных людях.

И если в элегической части Лермонтов говорит об убийце поэта, то в прибавлении — о друзьях убийцы, о многочисленной дворцовой камарилье, фактически всем институте самодержавия. Им-то и бросает Лермонтов гневное слово:

Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда¹ — все молчи!..

¹ «Суд и правда» — термин из многих уложений и летописей конца XIV—XVII вв. О «суде и правде» говорил И. Пересветов в «По-

Названные в предыдущих главах «ультрафешенебли», среди которых вновь замелькали фигуры «наикраснейшего» А. В. Трубецкого и его «красных», на новом этапе только конкретизируют ситуацию до и после убийства Пушкина.

Таким образом, прибавление оказывается логическим развитием и завершением начала.

Что касается эпиграфа, то он не только не противоречит шестнадцати прибавленным строкам, но и расширяет смысл «Смерти поэта», и разделяет стихотворение на части, подчеркивая законченную самостоятельность каждой из частей.

И тогда окажется понятным, что Бенкендорф назовет первые строки «дерзкими» (как может младший офицер советовать самому справедливому судье быть еще справедливее!), а прибавление — «вольномудством более чем преступным». Император просто усомнится в рассудке Лермонтова. Не зря в свете ходило мнение, что стихи являются прямым «воззванием к революции».

Вот как вспоминал В. Стасов о народной реакции на появление стихов Лермонтова:

«Проникшее к нам в тот час, как и всюду тайком, в рукописи стихотворение «На смерть поэта» глубоко взволновало нас, и мы читали и декламировали его с беспредельным жаром в антрактах между классами. Хотя мы хорошенько и не знали, да и узнать не от кого было, про кого это речь шла в строфе: «А вы, толпою жадною стоящие у трона» и т. д., но все-таки мы волновались, приходили на кого-то в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненные геройским воодушевлением, готовые, пожалуй, на что угодно, — так нас подымала сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Навряд ли когда-нибудь в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление».

В 1863 году дальний родственник Лермонтова — Лонгинов, комментируя второе издание собрания сочинений Лермонтова, записал:

хвале «...благочестивому царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси», пользуется этим термином в своих посланиях Грозному Сильвестр. Интерес Лермонтова к фольклору, ко времени Грозного известен, достаточно вспомнить «Песню про купца Калашникова...», написанную в том же 1837 г.

«Эпиграф к стихотворению на смерть Пушкина, помещенный на стр. 474, тома 2, взят из прекрасного перевода старинной трагедии Ротру «Венцеслав», исполненного в двадцатые годы А. Жандром. Мы помним, что он находился в рукописях стихотворения Лермонтова при самом его появлении в Петербурге в начале февраля 1837 года, а потому очень может быть, что эпиграф этот был поставлен самим поэтом».

В 1891 году П. А. Висковатов в книге «М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество» писал об эпиграфе:

«Долгое время эпиграф этот выкидывался из изданий, как прибавленный к стихотворению чьей-то досужей рукой, а не самим поэтом (изд. 1863 г., т. 2, с. 474. То же и в издании 1873 года). Лонгинов говорит, что эпиграф этот взят из трагедии Ротру «Венцеслав первый», в 20-х годах переведенной А. Жандром. Я не успел проверить справедливость показания. А. П. Шан-Гирей уверял меня, что это слова из какой-то трагедии, написанной самим Лермонтовым, но не законченной или же только задуманной им, причем было сделано несколько набросков».

Попробуем решить, почему Лермонтов, используя текст французского классика, не захотел называть ни автора, ни трагедии?

Известно, что А. Жандр сумел опубликовать в «Русской Талии» за 1825 год только первое действие своего перевода «Венцеслава». А. Жандр готовил перевод для бенефиса Каратыгина, но пьеса была запрещена цензурой. Полный перевод Жандра не был известен.

И все же о содержании перевода мы можем судить по статье А. Одоевского, пересказавшего пьесу. Оказывается, трагедия из пятиактной была превращена в четырехактную, был совершенно изменен ее смысл.

Попытаемся предположить, каким текстом мог пользоваться Лермонтов: переводом Жандра или подлинником Ротру? Другими словами, соответствует ли перевод Жандра той задаче, которая могла возникнуть у Лермонтова сразу же после написанного им прибавления? Или к мысли поэта ближе подлинник Ротру?

У Ротру король Венцеслав имеет двух сыновей. Младший, Александр, любим Кассандрой. Старший, Владислав, — самовлюбленный, властный, ревнивый.

Владислав, мучимый ревностью, убивает младшего брата. И Кассандра, уверенная в преднамеренности

убийства, приносит королю нож, обгаренный кровью младшего сына.

Король готов наказать Владислава, но народ все же верит в честность старшего брата, опрокидывает эшафот, требует свободу Владиславу.

А. Жандр меняет характеристики персонажам. Убийца Владислав оказывается человеком честным. Убийство — случайность. Владислав потрясен смертью младшего брата, а Кассандра просит о помиловании — не наказывать! — убийцу. Таким образом, идея отмщения — главная мысль Лермонтова в эпиграфе — у А. Жандра отсутствует.

Т. Иванова, автор статьи об эпиграфе «Смерти поэта», отмечала, что «эпиграф написан с мастерством, которого вряд ли мог достигнуть такой средний драматург, как Жандр».

Остается посмотреть текст Ротру, тем более что в нашем распоряжении имеется (как и в распоряжении Лермонтова) подлинник трагедии. Приведу подстрочник:

«К а с с а н д р а (*рыдая у ног короля*): Великий король, августейший покровитель невинности, справедливо награждающий и наказывающий, образец чистой справедливости и правосудия, коим восхищается народ ныне и в потомстве, государь и в то же время отец, отомстите за меня, отомстите за себя, к жалости своей прибавьте свой гнев, оставьте в памяти потомства знак неумолимого судьи».

Сходство с эпиграфом очевидное, однако посмотрим, от чего отказывается поэт в своем эпиграфе.

Лермонтов решительно отбрасывает, мягко говоря, всю комплиментарную часть текста Ротру. Если бы Лермонтову эпиграф нужен был как уловка, то возможности монолога Кассандры избыточны. «Великий... августейший покровитель... образец» и пр.

Но в том-то и дело, что Лермонтову требуется иное, он не унижается перед государем, а настаивает, требует, напоминает о долге.

«Лермонтов... обращался к императору, *требуя* мщения», — писала графиня Ростопчина. «Требуя», но не прося.

Эпиграф — это совершенно новый, жесткий, освобожденный от комплиментарности текст, полностью соответствующий следующим пятидесяти шести строкам первой части стихотворения. Даже лермонтовское

«паду к ногам твоим» воспринимается не как выражение смирения, а как факт великого горя и боли.

Принципиальные разночтения оригинала и эпиграфа заставляют предположить, что строки эпиграфа были *написаны самим Лермонтовым*, приближены им к нужному смыслу. Если же говорить о «свободном» обращении Лермонтова со стихами, отобранными для эпиграфа, то известно, что эпиграфы и в «Кавказском пленнике» (1828), и в «Боярине Орше» (1835—1836), и в стихотворении «Не верь себе» (1839) были изменены по-этом.

По всей вероятности, именно такое глубокое и принципиальное расхождение с оригиналом и заставило Лермонтова отказаться от точного адресата,— текст, можно сказать, был сочинен заново.

Понимал ли Лермонтов всю опасность, которая ему грозила в связи с созданием «Смерти поэта»? Портрет Дубельта, который он рисует на полях рукописи, исчерпывающе отвечает на этот вопрос.

«Черты его имели что-то волчье и даже лисье, то есть выражали тонкую смышленость хищных зверей»,— писал Герцен.

26 января, накануне дуэли, Пушкин написал удивительные, пророческие строки генералу Толю: «... истина сильнее царя».

Через несколько дней Лермонтов словно бы повторил неведомую ему пушкинскую мысль в прибавленных строчках «Смерти поэта».

Истина действительно оказалась сильнее царя.

«Трагическая смерть Пушкина,— писал Иван Панаев,— пробудила Петербург от апатии <...>. Толпы народа и экипажи с утра до ночи осаждали дом <...>. Все классы петербургского народонаселения, даже люди безграмотные, считали как бы своим долгом поклониться телу поэта.

Это было похоже на народную манифестацию, на очнувшееся вдруг народное мнение. Университетская и литературная молодежь решила нести гроб на руках до церкви, стихи Лермонтова на смерть поэта переписывались в десятках тысяч экземпляров и выучивались наизусть всеми».

Стихотворение «Смерть поэта» несло в себе беспощадную правду. И правда обрела вечную жизнь.

Приложение к главе четвертой

ТАЙНА «КРАСНОГО ЧЕЛОВЕКА»

ПИСЬМА КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКОГО
ГРАФИНЕ Э. К. МУСИНОЙ-ПУШКИНОЙ

от 16 января 1837 г.
и от 17—24 января 1837 г.

1.

Санкт-Петербург, 16 января 1837 г.

Вы, мне кажется, выражали желание иметь саше для бумаги. Пока еще Ваша *belle sœur* достает их Вам, взгляните на эти, может быть, они Вам подойдут. А пока я написал в Париж, чтобы мне прислали все, что там найдут благоуханного и напоминающего райские ароматы. Вы видите, я ничем не пренебрегаю, чтобы быть Вам приятным.

Вот Вам последние новости: некий кавалергард по имени Трубецкой,— не знаю, заметили ли Вы его во время своего последнего пребывания в Петербурге?— так сильно наступил на ногу юной Барятинской, танцую с ней на балу у французского посланника, что весь чулок у нее был залит кровью и ей пришлось покинуть бал. Меня всегда поражала неуклюжесть этого человека.

Наш вчерашний бал, несмотря на то, что он был одновременно с балом у Белосельской, в общем удался. К счастью, на нем не было «раздавителя ног». Но Натали Строганова у нас была, и мне этого было достаточно. Это решительно моя пассия.

Ваш муж танцевал и почти волочился. Что касается меня, то я скомпрометировал вашу *belle sœur* Софи своими ухаживаниями, и жена моя это заметила. Вы ведь знаете, как проницательны женщины, когда речь заходит об их мужьях.

Нынче вечером бал в Благородном собрании. Я буду там, чтобы поглядеть, не танцуете ли Вы мазурку с Пьером Урусовым и не поручите ли вы мне разузнать о

причинах отсутствия отдельных лиц. Во всяком случае, я буду неослабно бдителен в отношении Пьера Урусова, я буду с ним неразлучен, как с собственной тенью. Увы, то, что я буду искать подле него, тоже всего лишь тень!

Морозы крепчают, и мой кашель увеличивается. Впрочем, меня не так удручают здешние холода, как тот мороз, что свирепствует на большой дороге. Вот что меня мучает. Впрочем, обострение моей простуды приносит мне даже известное чувство удовлетворения. Я не простил бы себе, если бы чувствовал себя хорошо, в то время как Вы чувствуете себя плохо. Кашляя, я думаю о том, что Вы тоже рискуете схватить простуду. И говорю себе: «Это объединяет нас и тем самым почти соединяет».

А теперь поговорим серьезно: прошу Вас не забывать, что я здесь Ваш корреспондент, Ваш поверенный в делах, Ваш комиссионер. Если мне когда-нибудь станет известно, что Вы пользуетесь еще кем-либо для исполнения приказаний, то я никогда Вам этого не прошу.

Колбасы, кильки, предметы туалета, книги и всякие новости о красных, синих, черных, всех цветных и не цветных людях,— одним словом, все, что может усладить Ваше нёбо, Ваш ум, Ваше сердце,— за всем этим прошу обращаться ко мне. Уверяю Вас, что на расстоянии я представляю бóльшую ценность, чем когда я рядом. Если в конце концов мои письма наскучат Вам, Вы вольны их не читать, но имейте тогда милосердие предупредить меня об этом. Мне необходимо это знать, но даже и в этом случае я буду продолжать писать Вам. Это моя потребность, это непреодолимо. Будете ли Вы отвечать мне или нет, я уже не могу остановиться.

Я надеялся передать Вам через Вашего мужа подарок, который доставил бы Вам удовольствие, но придется отложить это до другого раза.

Прощайте, сударыня.

Кстати, о «сударыне». Я просил у Булгакова ноты, которые он должен был Вам поднести, но он уже не помнит, о чем идет речь.

Прикажите мне, и я поищу в другом месте.

Что до романа «Сударыня», который пел Виельгорский, вы получите его в ближайшие дни.

А бедному Володеньке как было холодно! Скажите ему, что я очень сожалею, что не согласился занять

место, которое он предложил мне подле Филиппа. Я предпочел бы это место трону другого Филиппа и всем тронам мира.

Кончаю, дабы поспешить в собрание. Предчувствую, что Вы уже танцуете с Урусовым.

Ваш очень покорный и очень преданный
Незабудка.

Дневник-отчет

17 января. Праздник у графини Голицыной, столетний юбилей ее усов. Вечер продолжается недолго, а длится целую вечность. Княгиня Голицына-Балк появилась впервые после своего возвращения из Парижа. Красивая женщина, очень красочная, может быть, даже слишком, несколько напоминает краснокожих из романа Фенимора Купера, но это ничему не мешает. Красный ведь очень хороший цвет, почему бы не любить сафьян! Парижские враги (обе сестры) там встретились, но все прошло мирным образом.

18 января. Вечером я отправился к графине Мари в надежде встретить у нее графиню Эмилию. Она действительно там оказалась, сидела в уголке софы, бледная, молчаливая, напоминающая не то букет белых лилий, не то пучок лунных лучей, отражающихся в зеркале прозрачных вод. И во всем ее молчании, во всем выражении ее лица была благосклонность, что не всегда ей свойственно, ибо иногда в ее молчании бывает нечто парализующее, враждебное, сквозь него так и чувствуется то, о чем она молчит.

Я оставался там до полуночи, а в полночь поехал к Люцероде, которые устроили вечер для молодых Геккернов. Вечер был довольно обычный, народу было мало.

Трубецкой по-прежнему пруссак.

Как можно быть пруссаком, когда нужно быть финляндцем?

Как можно не быть финляндцем, когда у тебя есть глаза, сердце и ты на плечах своих можешь носить не-

сколько аршин красного сукна? Боже мой, будь у меня какое-либо право на красное сукно, уж как бы я этим воспользовался!

19 января. Начало вечера провел у графини Мари с Люцероде.

Графини Эмилии там не было, но было съедено много чернослива в ее честь.

Графиня Мари хотела угостить меня мороженым, это напомнило мне то расположение, которого я дождался на вечере у госпожи Хитрово от графини Эмилии: она осыпала меня тогда своими милостями, то бишь мороженым, это единственная награда, которой я удостоился за свою преданную ей службу, за время пребывания ее в Петербурге. Но зато мороженое, благословенной горячей памяти, не тает в моих воспоминаниях и превратило сердце мое в ледник, и я теперь никогда не ем мороженого без того, чтобы не вспоминать о ней, ибо, надо сознаться, хожу на балы лишь затем, чтобы есть его, и никогда не меньше шести порций. У меня здесь один соперник по этой части, граф Литта.

Затем мы отправились на бал к Салтыковым, мороженое там довольно скверное, да и общество в тот вечер было не лучшее. Из блистательных дам не было никого, они готовятся к завтрашнему вечеру.

20 января. Бал у госпожи Синявиной. Элегантность, изящество, изысканность, великолепная мебель, торжество хорошего вкуса, щегольство, аромат кокетства, электризирующего, кружащего, раздражающего чувства, все сливки общества, весь цвет его (но не было Незабудки, отчего букет был не полон и недостаточно ароматен) — все это придавало балу характер феерический. Поэтому возбуждение было всеобщим. Самые малококетливые женщины поддавались всеобщему настроению. Сама графиня Эмилия — эта противоположность кокетству — не могла бы устоять. То была словно эпидемия, словно лихорадка, взрыв сладострастных чувств.

Княгиня Элен Б. танцевала с Кочубеем, и роман их должен был продвинуться еще на несколько глав вперед...

Карликовый желто-зеленый цветок, в котором скрывается неразрешимая загадка, меня любит. (Вы поняли меня? Но это еще не та эпиграмма, которую я вынашиваю в своей груди.) М. не танцевала, но роман от этого ничего не потерял. Х. танцевал мазурку с ее подругой,

«карликовым бледным и уродливым цветком», то есть с Хребтович, и правда лишь яснее вылезала под этим грубым обманом.

Красный человек, как и подобает, танцевал с пруссачкой, а на следующий день презренный протанцевал целое попури с госпожой Фредерикс на бале у Фикельмонов. Вы покраснели от негодования на него или от гнева на меня? Кстати, госпожа Марченко в тот вечер была в красном платье. Но моей краснокожей, той, чьим поклонником меня заставляют теперь быть, там не было. А посему я сидел без дела, и если бы не клубничное мороженое, мои уста оставались бы герметически закрытыми на ночь. Бал длился до четырех утра.

Мать всего красного, или Красное море, если Вам так больше нравится, успокоилась только с последним взмахом смычка.

Знаете ли Вы, что она очень энергично кокетничает с человеком, который не танцевал, но, как видно, подшвы у нее горят сильнее, чем сердце. Госпожа Элиза Хитрово очень возмущена этим и говорит, что эта сорокалетняя баба ведет себя как девчонка.

Я тоже так считаю, что у всего этого семейства нет сердца, а есть одни только ноги, притом весьма неуклюжие, потому что они наступают на ноги другим.

Княгиня Нарышкина все еще страдает от нанесенной ей раны и с тех пор не появлялась на балу.

Вы видите, что все, что в моем отчете относится до кровавого, я пишу красными чернилами.

21 января. Большой бал у госпожи Фикельмон. Блестящее, оживленное общество, более четырехсот гостей. Глаза разбегались в толпе, и невозможно было внимательно рассмотреть отдельных людей.

Сегодня я в удрученном состоянии. Перед своим отъездом на бал я получил письмо от Булгакова, датированное восемнадцатым, в котором он сообщает, что графиня Эмилия еще не приехала. Уехала она двенадцатого, уж не заболела ли она дорогой, не случилось ли какой беды? Ей следовало прибыть в Москву пятнадцатого или самое позднее шестнадцатого. Вот что занимало мои мысли на бале, вот чем объяснялось мое молчание, что можно было прочесть на моем лице, если бы кому-нибудь пришла охота сделать это и он обладал бы при этом той же прозорливостью, какая свойственна мне.

22 января. Пятница у Сухозанетов. День был неудачен, так как пришлось между четвергом Фикельмонов и субботой Воронцовых. Народу было мало, только постоянные обязательные посетители всякого бала, блестящих гостей не было никого.

Явился я туда уже после полуночи, после того как был с визитом у графини Мари. Мы были с ней вдвоем или, точнее, втроем, ибо был между нами некто третий, отсутствующий, но всегда присутствующий. И через час я уже покинул бал, который проходил вяло и глупо, танцевал под какую-то жалкую мазурку.

23 января. Бал у «карликового желто-зеленого цветка». Так как я, разумеется, туда не поехал, то, разумеется, был у графини Мари с компанией. Там я встречался с княгиней Шаховской, которая сообщила мне о прибытии в Москву госпожи Эмили с компанией. Слава богу, Булгаков меня зря напугал!

24 января. Великий день, прекрасный день! Как я благодарен Вам, добрая и милая графиня, за Ваше письмо, к которому не могу прибавить даже подходящего эпитета, такое доставило оно мне удовольствие и таким сделало меня счастливым, что сами эти слова — «удовольствие», «счастливый» — ровно ничего не значат. Все это выражения стертые, увядшие, опошленные постоянным употреблением.

Чувства же мои невозможно выразить словами. Это не фраза, это правда, которую исторгает мое сердце, исполненное преданности и симпатии к Вам, сердце, которое так Вами дорожит и не может себе простить, что не знало или, вернее, не распознало Вас раньше.

Как горько я наказан за то, что поздно Вас открыл! Все это очень банально, но я благословляю небо за эту банальность. Это чувство сожаления, возникающее при воспоминании о той, кого суждено было узнать лишь затем, чтобы острее ощутить пустоту, образующуюся в ее отсутствие, — неисчерпаемая сокровищница для сердца, способного любить. Ибо это отсутствие — не смерть любви, а, напротив, — новая жизнь.

Все это я растолкую Вам в другой раз, а сейчас вынужден кончать.

Рекомендую Вам подателя сего письма господина Кузи, майора на службе сардинского короля. Он должен отвезти Вам Ваше боа, которое княгиня Шаховская со-

биралась послать мне, но боюсь, уже не успеет этого сделать.

Пока посылаю несколько пачек красной бумаги, самой красной, которую мне удалось здесь найти.

Я только что написал в Париж, чтобы мне прислали пунцовую по образчику кавалергардского сукна, который я туда послал.

Собирался Вам отправить целое множество краснот, но, к сожалению, ничего еще не готово. А в будущем буду Вам писать на десятирублевых ассигнациях, чтобы мои глупости приобрели в Ваших глазах хотя какую-то цену.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предупреждение первое	3
Глава первая	
Строгановы и Пушкин	13
Глава вторая	
«Дело» Идалии Полетики	52
Глава третья	
Парижская находка	98
Предупреждение второе	127
Глава четвертая	
Тайна «красного человека»	130
Глава пятая	
«Надменные потомки». Кто они?	210
Приложение к главе четвертой	247

Литературно-художественное издание

Ласкин Семен Борисович

ВОКРУГ ДУЭЛИ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Зав. редакцией *Т. Н. Орлова*

Редактор *Н. И. Зисман*

Художник *Г. С. Семенов*

Технический редактор *К. И. Жилина*

Корректор *В. В. Багрий*

н/к

Подписано в печать с готовых диапозитивов 04.12.92.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офс. Гарнитура литератур-
ная. Печать офс. Усл. печ. л. 13,44+вкл. 1,68. Усл. кр-
отт. 16,91. Уч.-изд. л. 13,65+вкл. 1,27. Тираж 50 000 экз.
Заказ № 211.

Отделение ордена Трудового Красного Знамени издатель-
ства «Просвещение» Министерства печати и информации
Российской Федерации.

191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 28.

Отпечатано в типографии им. Володарского Лениздата,
191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 57.

